

**ЗАГАДКА
УРАЛЬСКОГО
ИЗУМРУДА**

История Урала — часть истории нашей Родины. И как всякая история, она по-своему интересна. В истории Урала еще много «белых пятен». Да, собственно, законченной истории быть и не может. Каждое новое поколение постоянно возвращается к событиям и людям прошлого и по-новому их осмысливает.

Автор этой книги давно уже «заразился» историей Урала. У него свой круг исторических интересов. Его привлекают события и личности, окутанные дымкой загадочности. Свои попытки проникнуть в некоторые тайны уральской истории автор и предлагает читателю.

Вы познакомитесь в книге с первым горным начальником уральских заводов — Василием Никитичем Татищевым; приоткроете одну из тайн легендарной Невьянской башни и узнаете историю создания знаменитым Карлом Брюлловым портретов А. К. Демидовой и А. Н. Демидова; перед вами пройдут страницы странной трагической жизни «гения камня» художника-камнереза Якова Коковина, имя которого связывали с похищением уникального изумруда.

Автор очерков свердловский журналист И. М. Шакинко знаком читателю по книгам «Подпольная кличка — Михаил», «Завод «Русские самоцветы» и публикациям в журналах «Урал» и «Уральский следопыт».

Рецензировали рукопись кандидат исторических наук В. В. Баженов, кандидат географических наук Н. П. Архипова.

ИГОРЬ ШАКИНКО

ЗАГАДКА УРАЛЬСКОГО ИЗУМРУДА

Исторические очерки

СВЕРДЛОВСК

Средне-Уральское книжное издательство

1980

9(C17)
Ш17

Ш 20904—047
М158(03)—80

© Средне-Уральское
книжное издательство, 1980

Горный начальник



ПРОЛОГ

*Как можно познать самого себя? Только
путем действия, но никогда — путем
 созерцания. Попытайся выполнить свой
 долг, и ты узнаешь, что в тебе есть.
 Но что такое долг?
 Требование дня.*

Гете

Есть исторические фигуры, значение которых признано всеми достаточно ясно и определенно. Они, эти фигуры, прочно стоят на своих пьедесталах, не вызывая никаких сомнений. Споры же о Василии Никитиче Татищеве начались еще при его жизни и продолжаются вот уже третье столетие, то затихая, то вновь разгораясь. Вместе с признанием его несомненных заслуг и как ученого, и как практического деятеля, и как человека Татищева часто обвиняли в самых разных грехах и недостатках, высказывали о нем самые противоречивые мнения.

Крайние оценки порождались не только азартом спора (бывало и такое), но отражали и противоречивость самого Татищева. Его жизнь и творчество сложны и неоднозначны.словно актер древнегреческой трагедии, он появляется перед нами в разных масках. Иногда кажется, что он сочетает в себе несоединимое. То он предстает человеком, далеко опередившим свое время, то его действия и суждения не выходят за рамки самых элементарных предрассудков тогдашней эпохи. Одни видят в нем гуманиста и убедительно аргументируют это, другие, считая его жестоким, даже для той суровой эпохи, администратором, приводят не менее серьезные доказательства. Его взгляды часто не выстраиваются в стройную схему — бывает, что Татищев противоречит сам себе.

И все-таки при всей противоречивости его поступков и мыслей в нем чувствуется внутренняя цельность, определяющая его поведение и взгляды. Татищев — человек оп-

ределенных жизненных убеждений, выработанных при самостоятельном осмыслении мира, анализе своих действий, поступков. Они достались ему нелегко, и в этой нелегкости причина их прочности.

Василия Татищева сформировала Петровская эпоха — время бурных и мучительных поисков, время надежд и разочарований, побед и поражений. Переломное, сложное, противоречивое время. Деятельная жизнь Татищева началась вместе с восемнадцатым веком, который бурей ворвался в Россию. Новый век срывал старые одежды и бороды, ломал древние обычаи и предрассудки, рушил привычные формы государственной и частной жизни, будоражил умы новыми идеями и знаниями... Появились беспокойные люди, которыми овладела жажда переделки этого несовершенного мира. Среди этих людей был и Василий Никитич Татищев. Он жил идеями своего времени и почти всегда находился на самом важном и шумном перекрестке жизни...

Среди «птенцов гнезда Петрова» Татищев по духу — один из самых близких царю-преобразователю. Вокруг Петра I много сподвижников, имена которых прочно вошли в русскую историю. Но даже самый деятельный из них — князь Александр Меншиков — всего лишь талантливый исполнитель замыслов Петра. На Татищеве тоже петровский отблеск, но он светит и собственным светом, он творчески самостоятелен. Татищев не только актер, но и автор собственной драмы. Его жизненная драма была далеко не личной — в биографии Василия Никитича очень мало камерного. Он был общественным человеком, сознательно взвалившим на себя ответственность времени.

Основное содержание его жизни — работа, работа и работа. Женщины, охота, карты и все другое, что отвлекает от работы его современников, — почти исключено из жизни Татищева. Он никогда не знал отдыха, никогда не ездил специально лечиться, хотя часто и тяжело болел. С постоянным напряжением ума и всех своих сил он тру-

дился и при благоприятных условиях, и в самые критические дни жизни, когда над ним нависала почти смертельная опасность. Для Татищева неестественно, нецелесообразно тратить время на пустые развлечения или толковать в ничего неделании. Он даже требовал (совсем в духе царя Петра) телесного наказания за «беспутную» трату времени.

Татищев никогда не был бесребреником, не чурался чинов, активно их добивался, ему были приятны литавры славы. Но над всем этим властвовала более сильная страсть, которая все подчиняла себе.

За свою жизнь Татищев успел сделать немало. Однако судьба его трагична. Тогдашняя эпоха не приняла многое из того, что давал этот человек. Ни один из его главных научных трудов, за исключением небольшой статьи, не был опубликован при его жизни, хотя с рукописями знакомились многие современники. Многие татищевские проекты, касавшиеся важнейших проблем России, не были осуществлены своевременно...

И несмотря на это, Татищев заметно повлиял на свою эпоху и вышел за ее рамки. По сравнению с предшественниками он сделал шаг вперед, причем зачастую шаг, начинающий новую дорогу во многих областях: истории, философии, географии, горном деле...

Творчество и деяния Татищева изучают самые разные специалисты. По выражению одного из исследователей его научного наследства С. Н. Валка, появилась целая наука «татищеведение».

И все-таки и научная и практическая деятельность Татищева изучена еще недостаточно.

Полная биография Татищева, раскрывающая многогранность его натуры и деяний,— дело будущего. Настоящее же повествование рассказывает о нем как о горном деятеле и только иногда касается других сторон его жизни, которые помогают лучше понять деятельность Татищева на Урале.

Предлагаемые читателю страницы жизнеописания Татищева — результат многолетней работы автора над опубликованными источниками и архивными документами. Жанр исторической биографии бесконечно разнообразен. В данном случае — это обыкновенная документальная хроника с некоторыми размышлениями. В ней нет вымышленных фактов и эпизодов. Поэтому каждый раз, когда делается попытка реконструировать на основе документов внутренний мир героя, автор оговаривает это.

Понять человека, который жил почти три века назад, нелегко. Каждый, кто знакомится с историческими материалами о человеке и его эпохе, может прочесть их по-разному. Автор дает свое толкование героя, иногда не совпадающее с мнением других исследователей жизни и творчества Татищева. Читатель вправе не согласиться и с отбором биографических фактов, и с их пониманием. Но ведь каждый биограф, не имея права на произвол в обращении с историческими фактами, может иметь свою точку зрения.

«КРОВАВАЯ ШКОЛА»

Это будет случаться с ним не раз: едва Василий Татищев настроятся на избранное им самим или порученное ему дело, выберет дорогу, по которой собирается идти далеко и долго, как судьба его делает неожиданный поворот...

Так было и в самом начале 1720 года. Всего несколько месяцев назад царь Петр с интересом выслушал идею артиллерийского капитан-поручика Татищева о размежевании земель в России. Ведь земельные споры, приводившие к острым конфликтам, выросли до проблемы национального бедствия. Кроме того, отсутствие четких внутренних границ в стране чрезвычайно затрудняло многие преобразования. И Петр, не любивший откладывать дела в долгий ящик, тут же поручил офицеру, к которому

он уже давно приглядывался, подать «представление». 18 марта 1719 года Татищев передал царю записку о своем оригинальном способе «как ландкарты или чертежи земель сочинять с объявлением угодий» и брался осуществить это сам с помощью 400 человек¹.

К этой теме они возвращались не раз, и постепенно вопрос межевания перерос в проблему географического описания России, проблему, безусловно, сложную и требующую для ее разрешения немалой «учености». Недаром еще несколько лет назад Петр поручил составить российскую географию самому просвещенному своему сподвижнику Якову Вилимовичу Брюсу, который и привлек к этому делу офицера Василия Татищева.

Убедившись, что ученик Брюса вполне сможет заменить здесь своего учителя, занятого другими важнейшими делами, Петр определил Татищева «к землемерию всего государства и сочинению обстоятельной Российской географии с ландкартами» и поручил ему «главное заведывание» всеми работами², т. е., по существу, назначил его главным географом страны.

С увлечением взялся артиллерийский офицер за эту работу. Со всей обстоятельностью своей натуры собирает он книги и старинные карты, набрасывает план будущих трудов, подбирает нужных людей... Наконец-то большое, самостоятельное, интересное дело! С ним собирался он связать свою судьбу на многие годы, может быть, даже на всю жизнь...

Но в первые же дни 1720 года — новое повеление царя Петра: капитан-поручику Василию Татищеву ехать на далекий Урал и строить там заводы... География могла еще подождать, горное дело — нет!

Мир со шведами еще не заключен, но Петр переключился в основном на внутренние дела страны и для их решения часто направлял своих лучших военных. Ведь Северная война, эта, по выражению царя, «троевременная кровавая и весьма опасная школа», заканчивалась. Почему

«троевременная»? Петр объяснял это так: «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно, но наша школа троекратное время была».

Сполна прошел эту «кровавую школу» и Василий Татищев.

В детстве ему — отпрыску хоть и обедневшего, но старинного дворянского рода — была уготовлена служба при дворе. Но царю Петру нужны были не придворные, а солдаты. И в 1704 году восемнадцатилетний стольник Василий Татищев вместе с братом Иваном попал в драгунский полк. Отец их, Никита Алексеевич, по старому русскому обычаю благословил своих сыновей и, провожая на военную службу, напутствовал, чтобы они ни от какого дела «не отрицались и ни на что сами не назывались». Отцовский завет, особенно его первую часть; Василий Никитич запомнил на всю жизнь. И не просто запомнил, а руководствовался им, хотя это часто и нарушало его жизненные планы. Много лет спустя он передаст этот же завет своему сыну, прибавив при этом: «...когда я оное сохранял совершенно и в тягчайших трудностях благополучие видел, а когда чего прилежно искал или отрекался, всегда о том сожалел; равно и над другими видел»³.

Драгун Василий Татищев показал себя хорошим солдатом. Уже через год, в 1705-м он внесен в списки молодых дворян, посылаемых за границу для обучения военному искусству. Причем в списке он уже назван офицером Азовского драгунского полка. Наверняка столь быстрое повышение Татищев получил не зря.

Но за границу на этот раз он не попал — незадолго до намеченного отъезда умер отец. Три брата и сестра остались сиротами (мать умерла еще раньше). Теперь Василий Татищев должен стоять на собственных ногах без родительской поддержки.

Отныне мы редко увидим его в кругу семьи. В родительский дом в Москве, где жили брат-калека Никифор, мачеха и другие родственники, он лишь изредка будет на-

езжать. Появятся со временем своя семья и свои дома в Петербурге и Москве, но его основная жизнь пройдет вне их. Месяцами, а часто и годами он оторван от семьи военными походами, командировками в Европу, на Урал, в Астрахань... Считанные дни, скорее гость, чем хозяин, проведет он под крышей семейного дома. Гораздо чаще ему придется ночевать в походных палатках, на постоянных дворах, во временных казенных квартирах. Только последние годы, уже стариком, проживет он безвыездно в своей Болдинской усадьбе под Москвой, да и то не по своей воле.

Атмосфера петровских преобразований пришлась Татищеву по вкусу. Далеко не все выдерживали темп, заданный Петром. Молодого поручика Азовского полка заметно выделяет среди других офицеров исполнительность, смекалка, расторопность.

Полковой командир посылает его со специальными поручениями то в Польшу, то в Москву, то в Киев... Во время этих разъездов с разных сторон видит он встревоженную Петром Россию. Он общается с людьми из окружения царя, заражается их настроением. Ему нравится постоянная деловая спешка, дух веселой озабоченности. В центре всех этих забот, этой бурлящей жизни он видит царя Петра и вскоре лично с ним знакомится. Произошло это, вероятно, в 1706 году в Москве...

Поручик Василий Татищев участвует в главных кампаниях и сражениях Северной войны, в том числе и в Полтавской баталии.

Позднее он вспоминал: «Счастлив для меня был тот день, когда на поле Полтавском я ранен был подле государя, который сам все распоряжал под ядрами и пулями, и когда по обыкновению своему он поцеловал меня в лоб, поздравляя раненым за отечество. Счастлив был тот день...»⁴

Последним ратным делом поручика Татищева стал Прутский поход. Когда турки разорвали мирный договор

с Россией, Петр двинул к молдавским границам драгунские полки. В их авангарде был и Татищев. Командуя тремя сотнями всадников, он, выполняя особое задание, прошел через Киев, побывал у Азова, устья Днепра, в Крыму, на Дунае и Пруте.

Во время Прутского похода произошла встреча Татищева с человеком, которому суждено было сыграть в его судьбе важную роль.

Яков Брюс был потомком шотландских королей. Его отец еще при Кромвеле бежал в Россию и дослужился в русской армии до полковника. Здесь, в Москве, и родился Яков Вилимович. Россия стала его родиной не только по месту рождения. Он был почти единственным из многочисленного иноземного окружения царя, кого русские не считали иностранцем и кто пользовался особым расположением Петра.

В тридцать пять лет Брюс получил один из высших чинов русской армии — генерал-фельдцейхмейстера, что-то вроде современного маршала артиллерии и инженерных войск.

Но Яков Брюс был не только талантливым военачальником. Пушкин, назвав его русским Фаустом, прозорливо увидел в нем главное — фаустовскую страсть к познанию мира.

Вся жизнь Брюса была связана с армией, бесконечными походами и сражениями. Он ходил в Крымский и Азовский походы, участвовал во всех крупнейших баталиях Северной войны, но всегда, даже в самых неудобных условиях, не оставлял своих ученых занятий. Его кабинетом была походная палатка, его лабораторией — купол неба над головой.

В перерывах между боями или после тяжелых маршей, когда солдаты спали мертвым сном, их генерал, покинув палатку с походной постелью, часами смотрел в странные трубы на далекие звезды. Когда же небо закрывали тучи, он зажигал в палатке свечи и чертил на бу-

мажных листах какие-то фигуры и формулы или склонялся над толстыми фолиантами...

Брюса никогда не покидала ненасытная жажда знаний, неистребимое стремление постигнуть «вселенной-внутреннюю связь», разгадать тайны мироздания, понять суть жизни и смерти. Его имя прочно вошло в историю многих наук: астрономии, математики, механики, географии... Он с блеском владел многими специальностями, свободно читал и писал на восьми языках. Он переводил на русский язык книги по астрономии и фортификации, трактаты по механике и математике, составлял словари, писал предисловия и редактировал переводы ученых трудов по самым разным наукам. Почти в каждом письме Петру вместе с донесениями военного характера мы встречаем сообщения о его научных занятиях: то он пишет о подготовке к печати первого русского учебника по геометрии, то о переводе «Книги мироздания» голландского физика и астронома Христиана Гюйгенса, то о своей популярной книге, излагающей учение Коперника...

Во время поездок за границу Брюс посещал университеты, библиотеки, лаборатории, встречался с видными учеными Европы. Он лично был знаком с Ньютоном, много лет переписывался с Лейбницем.

Мы не знаем, при каких обстоятельствах сблизились поручик Татищев и фельдмаршал Брюс, но так или иначе эта встреча была удачей для первого. Брюс стал его учителем и покровителем.

Вместе с Брюсом весной 1712 года Татищев едет «за моря... для смотрения тамошнего военного обхождения». И поскольку Брюс собирается перевести его в артиллерию, то он должен учиться в Европе и «инженерному искусству»⁵.

Поездка была недолгой — всего два месяца. Но уже на следующий, 1713 год Татищев снова отправляется за

границу. И опять с Брюсом. На этот раз почти четыре года путешествует он по европейским странам, лишь иногда возвращаясь в Россию.

Данциг... Берлин... Бреславль... Дрезден... Татищев не только осваивает военное дело, но и соприкасается с миром европейской науки. И двери в этот мир перед ним распахнул Брюс.

В один из своих приездов из Европы в Москву, летом 1714 года, Татищев женился на молодой генеральской вдове Авдотье Васильевне Реткиной (урожденной Андреевской). Мы почти ничего не знаем об этой женщине. Наверное, она была красива и обаятельна, если так быстро вскружила голову молодому офицеру.

Эта скоропалительная женитьба не вяжется с характером Василия Татищева и как бы выпадает из других его жизненных действий. Обычно он принимает решение, тщательно взвесив все обстоятельства. Но у любви свои законы и своя логика. Через двадцать лет Татищев запишет в «Духовной сыну»: «Любовь часто так помрачает ум наш, что мы иногда наше благополучие, здравие и погибель презираем».

Забегая вперед, скажем, что брак этот не был счастливым.

* * *

В марте 1716 года Василий Татищев, окончив наконец свое заграничное путешествие, возвращается в Россию. Как и всякий, кого Петр посылал на учебу в Европу, он должен подвергнуться испытанию. Успешно выдержав экзамен, Татищев был «написан» поручиком артиллерии и стал служить под началом Брюса в Петербурге. Еще в 1712 году Татищева отправляли за границу капитаном драгунского полка, но поскольку повышение в спешке не оформили, то он, перейдя в другой род войск, начал новую службу в чине артиллерийского поручика.

Сразу же после приезда из Европы Василий Никитич окунулся в деловую атмосферу Петербурга. Новая столица России жила в лихорадочной спешке. Вместо земляных стен Петропавловской крепости возводились каменные с бастionsами, уже уперлись в небо стропила колокольных собора. На главной площади появились Троицкая церковь и мазанковые здания сената и гостинного двора. Застроивались дворцами набережные Невы. И все-таки московская знать при каждом удобном случае пыталась ударить из проклятого «парадиза». Петр упрямо возвращал бежавших вельмож под конвоем драгун. Одна за другой вырастали новые слободки. В Артиллерийской слободе, что около Литейного двора, неподалеку от дома Брюса отвели участок и артиллерийскому поручику Василию Татищеву. Здесь он срубил себе жилой дом с пристройками.

Петр по-прежнему не давал никому покоя, начиная все новые и новые дела. Как всегда, не хватало людей. И хотя поручик Татищев находился в полку Главной полевой артиллерии, но фактически был чем-то вроде офицера для особых поручений при Брюсе. По его заданию он составляет практическую планиметрию, работает над книгой по машиноведению, руководит строительством Оружейного двора...

Обстановка в Европе оставалась напряженной, и Петр продолжал держать за границей русские войска. Оторванные от баз снабжения, солдаты и офицеры обносились, мундиры их превратились в лохмотья. Разбитые на ухабах дорог пушки вышли из строя.

Нужен был надежный человек, который сумел бы на месте организовать ремонт артиллерии, помог обууть и одеть артиллеристов. Выбор Брюса пал на Татищева.

Оставив в новом петербургском доме двухлетнюю дочь и беременную жену, Татищев едет за сотни верст.

Прибыв в Кенигсберг, где ему поручено сделать первые заказы, он знакомится с мастерскими, ищет сукна для мундиров. Все делает с отменной добросовестностью,

с дотошностью расчетливого хозяина, вникая в каждую мелочь. Знакомится с пушечным мастером Витверком и приглашает его на работу в Петербург. До тонкостей изучает литейное дело, посылая Брюсу подробнейшие отчеты о новых приемах литья пушек.

Покончив с заказами, Татищев спешит к русским войскам и переезжает в Тарунь, где расквартирован штаб русской армии и дивизия Репнина.

Наконец через семь недель работа закончена. Генерал Репнин восторженно сообщает Брюсу: «...присланный от Вашего превосходительства поручик Татищев человек добрый и дело свое в моей дивизии изрядно исправил. Истинно никогда так не было, за что благодарствуем и желаю, дабы и всегда здесь при нас таковы ж были, а не такие, какие были и ныне есть»⁶.

В октябре 1717 года Татищев возвращается в Петербург. Брюс доволен своим офицером, еще больше приближает его к себе. Сразу же после приезда Татищев представлен к следующему чину и, блестяще сдав экзамен, переведен в капитан-поручики с жалованьем 15 рублей в месяц.

В начале января 1718 года Татищев вслед за Брюсом уезжает на Аландские острова, где должны начаться мирные переговоры со шведами. По поручению своего патрона, назначенного главой русской делегации, Татищев выбирает место для переговоров.

Во время Аландского конгресса Татищев был офицером связи между Брюсом и царем. Поскольку Петр, как всегда, не сидел на одном месте, то Татищеву приходилось гоняться за ним повсюду. Они встречались то в Петербурге, то на Олонецких водах, то на кораблях в Балтийском море.

Эти встречи, как мы уже знаем, закончились посылкой Василия Никитича на Урал. Но прежде чем последовать вместе с ним на Каменный Пояс, сделаем небольшое отступление, касающееся отношения Татищева к Петру I.

К Петру нельзя было относиться равнодушно: его или ненавидели и боялись, или восторгались и боготворили. Новая Россия рождалась в жестоких муках. Царь Петр повел русскую нацию вперед в бешеном темпе, поощряя идущих с ним в ногу, подгоняя батогом ленивых и вздерживая на дыбу противящихся. Среди тех, кому было по пути с царем-преобразователем, находился и Василий Татищев.

Образ необыкновенного царя заслонял для него, как и для многих других современников, все остальные творческие силы страны. Именно Петра, и только его, считали они творцом всего, что совершалось вокруг них. Татищев преклонялся перед царем-реформатором. Петр для него — «отец отечества», «премудрый в свете государь», «бессмертной славы и пользы российской умножитель», монарх, достойный «вечного от России благодарения»... Василий Никитич всегда с гордостью вспоминал о встречах и совместной работе с «великим монархом». «Все, что имею,— писал Татищев незадолго до смерти,— чины, честь, имение и, главное над всем, разум — единственно все по милости его величества имею, ибо если бы он меня в чужие края не посылал, к делам знатым не употреблял, а милостию не ободрял, то бы я не мог ничего того получить»⁷.

До самого смертного часа Петр был для Татищева мерилом всех дел и поступков, человеком, который оказывал на него самое глубокое влияние. Не учитывать этого влияния — значит, многого не понять ни в характере, ни в деяниях Татищева...

НА КАМЕННОМ ПОЯСЕ

Российское государство пред многими иными землями произобилует и потребным металлами, и минералами благовословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого прилежания исканы, паче же не так употреблены были, как принадлежит.

Из указа Петра I от 10 декабря 1719 года

Уральские горы суть знатнейшие во всей империи...

В. Н. Татищев

В. О. Ключевский называл Урал «открытием Петра». На рудные богатства Урала царь посматривал давно — еще с конца семнадцатого столетия. А вместе с первыми баталиями против шведов начался и штурм уральских недр. На далеком и полудиком Каменном Поясе уже в самом начале нового века задымили первые доменные заводы, которые, как писал глава Сибирского приказа Андрей Виниус, «у таких построены добрых руд, каковы по всей вселенной лучше быть невозможно».

Это было событие! Первый номер петровских «Ведомостей» с гордостью сообщал: «В Верхотурском уезде из новообретенной железной руды много пушек налито. И железа велми много сделано. И такого мягкого и доброго железа из шведские земли не привозили для того, что у них такого нет...»⁸

Но богатые руды лежали за тысячи верст, а металл для войны нужен был сейчас, незамедлительно, ибо «время яко смерть», говаривал Петр. И тогда спешно настроили горных заводов на Олонце: руды там победнее, да и мало их, зато рядом с театром войны.

Про Урал не то что забыли, но внимания особого не было. А потому только Невьянский завод, переданный

Никите Демидову, набирал силу, казенные же — Каменский, Уктусский и Алапаевский — дымили понемножку, с перебоями и остановками.

Но когда исход войны со шведами определился, а олоонецкие руды поистощились, Петр вновь повернул свой взор на восток — «встреч солнца» — туда, где распростерлись огромные земли, такие огромные, что неизвестно было, где они кончались, да и кончались ли вообще.

Начался новый штурм железного и медного Урала.

10 декабря 1719 года опубликовали Берг-привилегию, которая взывала «ко всем и каждому» и призывала «искать, плавить, варить и чистить всякие металлы...», обещая всяческую помощь и поддержку. Берг-привилегия кончалась угрозой: «Против же того тем, которые изобретенные руды утаят и доносить об них не будут или другим в сыскании, устройении и разширении тех заводов запрещать и мешать будут, объявляется наш жестокий гнев, неотложное телесное наказание и смертная казнь и лишение всех имений, яко непокорливому и презирателю нашей воли и врагу общенародные пользы, дабы мог всяк того страшися»⁹.

Но призывами, обещаниями и угрозами царь Петр не ограничился. Он потребовал от Якова Брюса, поставленного во главе только что созданной Берг-коллегии, самых энергичных мер по развитию горного дела.

В самом начале 1720 года решили послать на Урал группу горных специалистов. Во главе ее нужно было поставить надежного человека. Выбор Брюса пал на Татищева.

9 марта Василию Татищеву объявили указ Берг-коллегии: ехать ему в «Сибирскую губернию на Кунгур и в прочие места для осмотра рудных мест и строения заводов»¹⁰. И верный завету отца ни от какого дела «не отрицаться», он добросовестно берется за новое поручение. Он готовится к поездке на Урал с самой тщательной основательностью. Его не удовлетворяет инструкция

Берг-коллегии, и он вносит свои предложения, причем настолько толковые, как будто не впервые берется за горные дела.

В Москве, куда Татищев выехал для завершения подготовки к отъезду на Урал, он встречается с сибирским губернатором князем Алексеем Михайловичем Черкасским, знакомится с рудознатцами, которые привезли из Сибири образцы руд, дотошно расспрашивает всех, кто знаком с горным делом и уральским краем.

Наконец, кажется, все готово. Подобраны люди, получены прогонные на дорогу и пять тысяч рублей «на строение заводов и рудное дело», погружено снаряжение и оружие.

26 мая 1720 года Татищев вместе с берг-мейстером И. Ф. Блиером, берг-штейгером Иваном Патрушевым, несколькими рудознатцами, четырьмя артиллерийскими учениками отправляется из Москвы в путь — по воде на стругах.

И забегая вперед, скажем: эти люди, которых было тогда так мало, несмотря на все трудности и неудачи, оставляют заметный след в истории горнозаводского Урала.

За время своей военной службы Василий Татищев исколесил север, запад и юг России. Теперь он впервые ехал на восток, в край, с которым будет связана значительная часть его жизни.

Многих биографов Татищева удивляет тот факт, что, приехав на Урал, он не просто осуществлял «общее руководство», но действовал как хороший знаток горного дела. Некоторые предполагают, что он приобрел эти знания во время заграничного путешествия. Конечно, Татищев мог видеть в Европе рудники и металлургические заводы, «будучи за морем, выучился инженерному и артиллерийскому делу», среди книг, привезенных им из-за границы, был труд и по геологии. И все-таки, пожалуй, секрет в удивительном его умении учиться делу в ходе самого дела.

Новоиспеченный горный начальник учится горному делу у всех — у простых рудознатцев и чванливых иностранных специалистов. Даже по дороге на Урал он не теряет времени даром: словно губка, он впитывает все полезное, что рассказывают ему Иоганн Блиер, Иван Патрушев, сибирские рудознатцы.

В пути Татищев почти ежедневно пишет Брюсу, докладывает о делах, просит совета. В Казани отыскивает пленного шведа Берглина, знакомого с горным делом, и забирает его с собой, ибо швед оказался «не без ума и трудолюбив».

30 июля наконец прибыли в Кунгур. Приняли у подьячего, ведавшего горными делами, канцелярские бумаги.

Сам город произвел на Татищева удручающее впечатление. Он писал вятскому воеводе 8 августа: «А здесь город (т. е. крепостная стена.— *И. Ш.*) так худ, что никакие надежды к спасению от нападения (башкир) иметь не можем... Город деревянный, весьма ветх и обвалился весь... Извольте комиссару о строении города указом определить; и я, сколько время допустит, в оном помогать буду...»¹¹

Не порадовал и Кунгурский медный завод. Он бездействовал, плавильные печи потрескались, работники разбежались. На всем печать запустения.

Местные воеводы и коменданты, которым от рудников и заводов одна морока, чинили разные «противности»: ловили рудоискателей, садили их в караульную избу, били плетью, запрещая искать руду. С уже открытых месторождений вместо хороших кусков руды посылали на пробу пустую породу. Запуганное население боялось горной работы как чумы.

Татищева и его помощников ждали сразу тысячи дел. Просматривая документы, относящиеся к этому времени,

удивляешься упорству и трудолюбию Татищева. Кажется, что все это не под силу одному человеку, да еще впервые взявшемуся за горное дело. Даже по сухим официальным документам мы чувствуем его энергию. Капитан Татищев работал по четко продуманному плану.

Прежде всего нужны люди.

Татищев приободрил обиженных рудоискателей, выдал им по два рубля «за их усердие, паче же для прикладу (примера) другим», принял на службу, положив плату — 90 копеек в месяц, чем рудоискатели остались довольны.

По приказу Татищева каждый базарный день на главной площади Кунгура читалась Берг-привилегия: отныне не только разрешалось, но и поощрялось искать руды каждому, кто пожелает. Здесь же громогласно объявлялись и указы Татищева о найме на горные работы. И оплата по договору. Но, несмотря на трехкратную «публикацию», почти никто не явился к новому горному начальнику. Напуганное злоупотреблениями казенных людей, местное население не хотело иметь с ними дела.

Правда, новый начальник не похож на воевод и комендантов. Поступает по справедливости: не было случая, чтобы, наняв для развозов лошадей, он не заплатил прогонных — обычай редкий в этих местах. И вообще никакого обмана от него не видно. А все-таки нужно подождать, присмотреться...

Люди, люди, люди — вот что нужно прежде всего, чтобы освоить уральские богатства. Татищев ищет их всюду: среди шведских пленных, для которых он добивается у синода разрешения жениться на русских девушках и вдовах, среди ссыльных, разбросанных по уральским и сибирским городам. Он не побоялся даже просить за Федора Еварлакова, сосланного по делу царевича Алексея. Просит разрешить определить Еварлакова к заводам, так как он «человек умный и в Саксонии не малое время был и ездив по заводам, нарочно присмотреться мог, к тому

же уменьем языков латинского и немецкого немаловажную помощь подать может».

Горный начальник успевает заниматься и другими делами, которые, кажется, и не входят в его прямые обязанности. Жалуется вятскому архиерею на кунгурского попа, что тот плохо несет службу. Затекает в Кунгуре школу, а в слободах велит обучать детей дьячкам, определив за это вознаграждение.

Наладив горные дела в Предуралье, Татищев отправляется дальше на восточный склон Уральских гор.

В ночь на 30 декабря 1720 года обоз горного начальника добрался до Уктусского казенного завода. Здесь решил Татищев основать свою резиденцию. Сюда и привез из Кунгура горную канцелярию.

Но и Уктусский завод разочаровал его.

Мертвой стоит доменная печь. Два года назад башкиры сожгли завод. Его наскоро отремонтировали, но следы пожара видны всюду. Можно, конечно, отстроить. Но не лежала душа горного начальника к Уктусскому заводу. Из расспросов понял, что даже летом речка Уктуска не дает нужной силы заводу.

И в новогоднюю ночь рождается главный замысел Татищева, замысел, который оставил самый крупный и самый значительный его след на Урале.

В первый же день нового 1721 года собирает горный начальник русских мастеров да пленных шведов, знавших толк в горных делах, на совет. Решили — строить новый завод, а для него приискать хорошее место.

И уже 2 января послал Татищев комиссара Тимофея Бурцева — управителя Уктусского завода — на поиски места для того завода. Вскоре Бурцев доложил, что рассмотрены три места на соседней реке Исети.

Не утерпел горный начальник — сразу же сам поехал на Исеть. «Ездил по оной реке месты осматривать, — сообщал Василий Никитич в Берг-коллегию, — и хотя за зимнюю погоду основания земли видеть не можно, одна-

ко ж обрели отсюда разстоянием в шести верстах место положением берегов и довольством лесов весьма удобно, також и руда ближе, нежели здесь, а по разсуждению мастеров возможно на оном месте построить четыре домны и сорок молотов...»¹².

Может, день был солнечный с легким морозцем. Или просто хорошее настроение. Но к деловой удаче прибавилось еще что-то: приросло сердце Татищева к исетским берегам.

И чем бы ни занимался теперь горный начальник, куда бы ни уезжал — на Алапаевский ли завод или на Ирбитскую ярмарку, — не выходило у него из головы приветное место на Исети...

Целый месяц вынашивает он свой план. Обдумывает. Рассчитывает. Он уже видит этот завод — самый крупный в России. И не завод даже, а целый комбинат — сказали бы мы сегодня. Огромные домны, плавильни, молоты, а рядом цехи с разными ремеслами — стальным, проволочным, жестяным, токарным... Искусные мастера станут делать и часы — стенные, башенные, они будут отсчитывать новое время Урала. Камнерезы и гранильщики откроют красоту узорчатых камней...

И не просто завод появится на берегах Исети, а главный город Каменного Пояса, город, который свяжет в один узел рассыпанные по всему горному краю заводы. Место как раз для горной столицы — в самом центре рудных богатств.

И большая дорога в Сибирь теперь должна идти не через Верхотурье, а через новый Исетский завод. И ярмарку сюда же перевести из Ирбита — совсем там зачала. Купцы будут довольны. Вот только Берг-коллегию убедить...

«А весною отсюда, — писал Татищев в Петербург, — во всю Сибирь Исетью, в Казань — Чусовою и вниз Камою, к городу Архангельску — Камою вверх и потом Килтмою в Вычегду и Двину — весьма купечеству путь

способный». А потому самое здесь место для большой ярмарки.

«И ежели б сие (т. е. ярмарка) учинилось,— продолжал Татищев,— великий и купечеству прибыток явить можно; к тому же и нам (т. е. казне, государству), когда размножится железо, способно можно к городу отпускать». Нет, мысль о ярмарке явно нравилась Татищеву, и он еще раз убеждает Берг-коллегию: «Сие я не без великия потребности народа и великаго государственного прибытка представляю»¹³.

Отменный город будет на берегах Исети.

Не только с торговой точки зрения смотрит Татищев на ярмарку при новом Исетском заводе: «Наипаче же, что купечество приезжее увидят здесь множество разных ремесел и, уведомясь о прибытках и обстоятельствах горных, возмимеют охоту сами в том прибытка искать станут.

Государственной же коллегии прибыток, что мастеров при таком месте за малое жалованье содержать можем, ибо они от постоя и торгу довольны будут. Еще же и сие мною не бесприбыточно, что из Персиды шелковый торг открыт будет»¹⁴.

Это был даже не план строительства одного завода, а целая программа преобразования огромного и богатого края.

И все это не просто мечты. Каждое свое предложение Татищев солидно аргументирует, экономически обосновывает; скрупулезно подсчитывает, сколько и когда казна получит прибыли от осуществления того или иного мероприятия.

Татищев отправляет пакет с донесением в Петербург не почтой, а специальным курьером — так будет быстрее.

Не дожидаясь ответа от Берг-коллегии, он рассылает драгун по соседним слободам для найма работников на стройку, велит расчистить берега Исети от леса, готовить

инструмент... И с нетерпением ждет весны, чтобы размахнуться по-настоящему.

В конце февраля он снова шлет донесение в Петербург, на этот раз с чертежами завода и подробной сметой.

Но кончились февральские вьюги, март запах весной — Берг-коллегия молчала.

Апрельское солнце уже согнало снега, очистилась ото льда Исеть, окрасился майской зеленью лес — Берг-коллегия молчала...

Работа же на исетских берегах шла полным ходом: вырастали штабеля леса и камня, появились первые свежерубленные избы...

Татищев пользовался каждой возможностью, чтобы заглянуть на Исеть, радовался стуку топоров и оживлению на берегах...

В конце мая 1721 года пришел наконец ответ из Берг-коллегии. И ответ неожиданный: «Железных заводов вновь до указа строить не велеть, а производить те, кои до сего времени толко были. А паче же производить ныне и старатца всеми мерами серебряные, и медные, и серные, и квасцовые заводы, которых в России нет, а железных везде довольно. Також опасно в том месте железные заводы заводить, чтоб медных дровами не оскудить»¹⁵.

Целую неделю всегда исполнительный Татищев не отдавал приказа прекратить работы на берегах Исети...

Сегодняшние историки, изучая этот конфликт Татищева с Берг-коллегией, решительно становятся на сторону первого. Так, московский историк А. И. Юхт, анализируя майский указ Берг-коллегии, пишет:

«Коллегия руководствовалась текущими, «сиюминутными» потребностями казны, нуждавшейся в меди и серебре для чеканки монет. Надо учитывать и то обстоятельство, что монетное дело до 1727 года находилось в ведении Берг-коллегии и это в свою очередь заставляло ее заботиться о расширении источников сырья, необходимого

для денежного передела. Опасения коллегии, что строительство новых доменных и железоделательных заводов на Урале может отрицательно сказаться на развитии цветной металлургии, были результатом незнания природных условий Урала. Никто из членов Берг-коллегии там никогда не был и не имел отчетливого представления о запасах разных руд и о лесных богатствах.

Коллегия, не имея прямого указания от Петра или сената об увеличении производства железа, ставила в 1720—1721 годах перед Татищевым ограниченную задачу — развивать главным образом медеплавильную промышленность. Оценивая позицию Берг-коллегии, можно сказать, что она была недальновидной и не учитывала ни благоприятной конъюнктуры на внешнем рынке, предъявлявшем большой спрос на железо, ни перспектив расширения торговли с западноевропейскими странами, которые открывались перед Россией в связи с завоеванием выхода в Балтийское море.

Татищев, понимая важность увеличения выплавки меди, в то же время считал, что основной путь наиболее быстрого роста доходов казны — это расширение объема производства железа, которое можно выгодно сбывать и на внутреннем и на внешнем рынке. По его расчетам (вполне реальным, как оказалось впоследствии), стоимость пуда железа могла обойтись казне в 15—20 копеек, местная же цена составляла 40 копеек. В Петербурге и Архангельске железо можно было продать по 60—65 копеек за пуд, а доставка его в столицу обходилась в 15—16 копеек. Имея в виду огромные запасы железной руды и ее высокое качество (из 1000 пудов руды, как писал впоследствии Геннин, выходило до 500 пудов чугуна), Татищев обещал Берг-коллегии по истечении трех-пяти лет после начала строительства завода значительно увеличить производство железа («повсягодно на пристань поставлять доброго полосового, бутового и связного железа по меньшей мере 200 тысяч пудов»).

Татищев верно определил перспективы развития металлургии на Урале... В ноябре 1723 года в связи с ростом спроса на внешних рынках Берг-коллегия приняла решение: на «сибирских государевых заводах всякого железа... велеть как возможно заготавливать пред прежними годами со умножением»¹⁶.

СХВАТКА С ДЕМИДОВЫМИ

Поднимая казенное горное дело, горный начальник неизбежно должен был столкнуться с Демидовыми: не ужиться двум медведям в одной берлоге, даже такой просторной, как Урал...

Крепко ухватились Никита Демидов и сын его Акинфий за Каменный Пояс. Первыми осваивали они дикий край, а первым всегда трудно. Правда, царь Петр, передав Никите Демидову Невьянский завод, добавил такие привилегии, каких не имел никто. Но привилегии давались не даром. По указу царя за поставку негодных ружей мастеру полагалась смертная казнь, а хозяину плети... Ни разу не оплошал Никита Демидов.

Сам старик Никита на Урале бывал редко. Хозяином здесь его старший сын Акинфий — пожалуй, самая яркая фигура в демидовской династии. Почти двадцать лет до приезда Татищева демидовские люди искали руду, ставили заводы, мостили дороги — обживали пустынные земли. Акинфий сам работал как каторжный и других умел заставить — у работных людей трещали спины на горной и огненной работе. Акинфию Демидову тесны были рамки тогдашних законов. Как и отец, он смело играл с законом, ходил по острию, лавировал, постоянно рисковал головой...

Все сходило с рук Демидовым. Стране нужен был металл, и они давали его. Давали больше, чем все хилые казенные заводы, а о качестве и говорить не приходилось.

Потому и награждал царь Демидовых новыми привилегиями. Воеводы не имели права вмешиваться в их дела. Некоронованные короли Урала, они сами вершили суд на своих заводах. Даже имели своих солдат и пушки для охраны.

Никого не хотели допускать Демидовы до уральских недр. Если новые горнопромышленники не понимали предупреждений, Акинфий Демидов шел на прямое насилие: его люди силой выбрасывали с новых рудников чужих работников, ломали заводские строения.

Демидовы теснили с Урала не только частных промышленников, но и казну. Еще до приезда Татищева Акинфий пытался забрать в свои руки Алапаевский и Каменский казенные заводы, добирался до земель по рекам Пышме, Чусовой, Тавде, Полевой — тогда бы в демидовских руках оказался почти весь Средний Урал.

Но не успели Демидовы. Приехал капитан Татищев и оставил за казной примеченные земли. И стал энергично поднимать старые казенные заводы, начал на Исети новый, наметил стройки в других местах. Действия горного начальника, конечно, не понравились Демидовым. Они, правда, вначале не особенно опасались: сколько уж раз брались за казенные заводы — и все пустые хлопоты...

Через своих людей Демидовы намекнули капитану, чтобы он не особенно торопился со строительством новых заводов и закрывал глаза на кое-какие демидовские дела. За это Татищев, по его собственному выражению, «видел и слышал себе довольные обещания».

Но горный начальник взятку «презрел». И тогда-то Акинфий Демидов начал против Татищева настоящую войну. Начал с полной уверенностью, что останется победителем. Держись, капитан!

Борьба между Демидовыми и Татищевым разгорелась прежде всего из-за людей. Демидовы доставали рабочие руки для своих заводов, в основном обходя законные пути.

Каждый год со всех концов России стекались на демидовские заводы опальные стрельцы, волжская вольница, дезертиры, спасавшиеся от рекрутчины, раскольники, бежавшие от гонений за веру, пленные шведы, беглые крестьяне и каторжники — люди дерзкие духом и крепкие телом. Всех принимали Демидовы, не спрашивая, кто и откуда, и прятали от закона в потайных местах. А когда зарастали бритые лбы и вытравливались воровские клейма, определяли к горной и огненной работе.

Вся притесняемая и находящаяся вне закона Русь знала, что, когда придется совсем туго, она найдет пристанище на Урале, что Демидовы не выдадут ни закону, ни церкви. Татищев в одном из своих донесений в Берг-коллегию сообщал, что у Демидова «выдачи беглых не бывает». А упрятав пришельцев от закона, Демидовы держали их в полной своей власти — теперь искать заступничества было негде.

Выигрыш от этого для демидовских заводов был огромный — не нужно тратить деньги на покупку крепостных крестьян. Платили же Демидовы за работу больше, чем на казенных заводах, — и оттуда переходили к Демидовым работники. Уже при Татищеве Акинфий сманил высокой оплатой лучших мастеров с Уктусского и Алапаевского заводов.

Потому и хирели казенные заводы, потухали домны, смолкал стук молотов, в то время как на демидовских заводах работа шла полным ходом.

«От Демидова нам остановка, — писал Татищев Берг-коллегии, — что работникам прибавливает за работу над потребностью, чего ради мы не можем здесь никакого доброго порядка учредить... Здешние (т. е. уктусские) многие хотят к нему итти, а другие и ушли, понеже нигде принимать не смеют, а ему откуда такая вольность дана, не знаю».

На каждом шагу сталкивается горный начальник с «противностями» Акинфия Демидова.

Демидовские заставы ловили рудознатцев и запрещали искать руду для казны, грозя «пометать в домны».

Демидовские люди сгоняли уктусских работников с казенного рудника и увозили добытую ими руду к себе.

Демидовские солдаты «били плетьюми и кнутом смертельно» крестьян, нанятых по приказу горного начальника для сопровождения железного каравана по Чусовой. Били, приговаривая: «Не наймовайся на государевы коломенки, а плавай на демидовских».

Демидовская стража выгоняла с невьянских земель посланных Татищевым геодезистов...

Напрасно шлет горный начальник на Невьянский завод указ за указом — в ответ или оскорбительное молчание, или дерзкие слова. Слова разные, но смысл один: не суй нос, капитан, в демидовские дела. Причем сам Акинфий Демидов с татищевскими посланцами не разговаривал, допускали их только до приказчиков. А те вели себя с людьми горного начальника с наглостью необыкновенной. Так, приказчик Балакин заявил на один из татищевских указов: «Ответа вам нет и впредь не будет, не посылайте к нам ни за чем. Мы капитану не послушны, дела до нас ему нет, и впредь бы он к нам указов от себя не посылал, а приезжал бы сам, а его посыльщиков с указами будем держать скованными в тюрьме до хозяина».

Иногда кажется, что Акинфий Демидов дерзит и оскорбляет капитана Татищева просто из озорства, не преследуя никакой практической цели. Многие его поступки как будто бы лишены всякого смысла.

Он останавливает казенные подводы, проезжающие мимо Невьянска, приказывает сбросить с них груз, а сопровождающего подьячего высечь, чтобы не ездил по его, демидовской, дороге.

Он запрещает крестьянам, живущим на казенных землях, давать лошадей во время разъездов горного начальника по Уралу.

Он грозит разными карами крестьянам Курьинской

пристани, если они сдадут избу горному начальнику, собирающемуся сюда приехать на время отправки железных караванов.

Он специально для передачи Татищеву говорит разным людям оскорбительные для горного начальника слова.

Что это? Злые шутки сильного человека? Может быть, он лишний раз хочет подчеркнуть, что хозяева Урала — они, Демидовы, что на Каменном Поясе все в их власти? Наверное, это. Но не только это.

Акинфий рассчитывал, что самолюбие горного начальника не выдержит, что обида ослепит его разум, что он взорвется и в запальчивости наделает глупостей, используя в борьбе то же оружие, которым сражается его противник, применит какой-нибудь незаконный прием. И тогда конец Татищеву. То, что сходит с рук Демидовым, не простится капитану.

Но расчеты хитрого промышленника не оправдались. Ни разу не сорвался Василий Татищев, ни разу не изменила ему выдержка. С изумительным хладнокровием отвечал он на дерзкие выходки Демидова, ни разу не преступил закон, основывая все свои действия на указах и инструкциях.

Но и ни одной «противности» Демидовых не оставил он без внимания. По поводу каждой он организовывал розыск, снимал допросы, заводя на любое демидовское беззаконие дело, оформленное по всем правилам тогдашней юридической науки. И почти к каждому своему донесению в Берг-коллегию горный начальник прилагал обличающие документы — когда дело дойдет до суда, горнопромышленникам не отвертеться.

Правда, далеко не все эти документы доходили до Петербурга. Где-то на пути между Уралом и столицей они бесследно терялись. Причем исчезали иногда вместе с курьером. Чей-то тайный и зоркий глаз постоянно держал под контролем переписку горного начальника с Петербургом.

Это была то явная, то скрытая, но всегда напряжен-

ная и яростная схватка двух умных и стойких людей с сильным характером. И в этой борьбе решался вопрос: кто же будет хозяином на Урале? —

Акинфий Демидов вначале недооценил своего противника. Сколько соперников и конкурентов он сравнительно легко убрал со своей дороги, а здесь нашла коса на камень.

Медленно, но упорно добивается Татищев власти как горный начальник. И также медленно, хотя и очень неохотно, уступают ему Демидовы. Уступают далеко не во всем: по-прежнему упрямо отстаивают они свою самостоятельность в заводских делах. И все-таки вынуждены признать, что кроме их, демидовского Урала, есть Урал казенный во главе с горным начальником Татищевым, с которым нельзя не считаться и которому нужно иногда и подчиняться.

Началось с мелочей. Как-то Татищеву пожаловались, что демидовские люди сгоняют с карьера, в котором добывают доменный камень, казенных работников, чинят им обиды и захватывают лучшие места для добычи камня. Карьер был единственным в округе и принадлежал казне. После этой жалобы Татищев устанавливает на карьере новый порядок: доменный камень добывает теперь только казна и отпускает по потребности всем заводам — и казенным и частным. Для получения камня каждый заводчик должен написать доношение на имя горного начальника. Без доменного камня не обойтись, и Акинфий вынужден впервые писать Татищеву. Но написал не по форме — не доношение, а простую записку. Горный начальник отправляет записку назад, требуя доношения. Заводчик оказался в трудном положении. Взять камень с карьера силой теперь невозможно — он охраняется драгунами. Напасть на солдат — это государственное преступление, которое не простят даже Демидовым. И в то же время Акинфий слишком деловой человек, чтобы из-за самолюбия и каприза остановить свои заводы. А потому

вынужден писать Татищеву в форме доношения. Но пишет, иронизируя над горным начальником:

«Доношение благородному господину капитану Василию Татищеву. Комиссар Акинфий Демидов челом бью...— И излагая суть дела, заканчивает: — Просим Вашего Величества о рассмотрении той обиды о ломке доменного. Что повелишь?»

Сдержанно и строго отвечает ему горный начальник, подчеркивая свое право и власть представителя государства, и как школьнику указывает гордому промышленнику на неуместность иронии и шутки в обращении к нему: «Что же вы меня в оном браните неприличною честью, что принадлежит токмо великим государям, и оно я уступаю, полагая на незнание ваше. Упоминаю же, дабы впредь так не дерзали»¹⁷.

Пришлось Демидову обращаться по форме, тем более что горный начальник добился решения Берг-коллегии: «Демидовым быть послушным указам Татищева и писать ему доношениями и впредь особых себе указов из Берг-коллегии не ожидать»¹⁸.

Хотя и не совсем четко, Берг-коллегия определила и права Татищева: «В рудных делах на государственных заводах и Демидову и прочим промышленникам быть во всем послушным Татищеву, яко горному начальнику в Сибирской губернии».

Когда старик Никита Демидов узнал, что его сын заварился в борьбе с Татищевым, он поспешил приехать из Тулы на Урал, чтобы сгладить остроту отношений с горным начальником. Старший Демидов, встретившись с Татищевым, наверняка пытался дать ему взятку, но, судя по всему, безуспешно.

Татищев твердо продолжал свою прежнюю политику, но в то же время не пытался несправедливо мстить за прошлые обиды.

Однако перемирие, по крайней мере внешнее, все-таки наступило. Переменился и тон переписки Демидовых с

Татищевым. В сентябре 1721 года в письме Никита и Акинфий пишут уже так:

«Государь мой Василий Никитич! Здравие твое и благоденствие и счастливого твоего пребывания всегда желаю!

Изволил ты ко мне писать, чтоб прислал до вашей милости на Уктус шведских плотников. И оных плотников до вашей милости отправляю...»¹⁹

Казалось, Демидовы отказались от своей дерзкой идеи быть единственными и полновластными хозяевами Каменного Пояса и примирились с тем, что на Урале появился еще один законный властелин — представитель государства горный начальник Василий Татищев, человек умный и сильный, способный внушить к себе если не симпатию, то по крайней мере уважение.

Казалось, Демидовы смирились с этим неизбежным фактом. Но так только казалось...

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УРАЛА

Да недовольна любовь простая и бездейственная.

В. Н. Татищев

Татищев был послан на Урал «для осмотра рудных мест и строения заводов». Конкретизируя эту формулировку, Берг-коллегия требовала от него только одного: увеличить выплавку меди, а если сыщется, то начать добычу и плавку серебра. Как мы уже знаем, Берг-коллегия запрещала первому горному начальнику выходить за рамки этой задачи.

Но Василий Татищев недаром был одним из самых достойных учеников Петра I. В его уральских делах мы явственно чувствуем дух царя-преобразователя, петровский размах, петровскую страсть, горячую петровскую заинтересованность в работе, наконец, петровские средства и

способы действия. Татищев ведет себя на Урале не как чиновник, пусть даже усердный и исполнительный, а как представитель государства, которому до всего есть дело. Василий Никитич полностью следует первой части отцовского завета — он не «отрицается» ни от какого дела, но зато явно нарушает вторую половину завета — он сам «называется» на многие дела.

Урал поразил его своими возможностями, он увидел его будущее и решил связать себя с этим краем надолго. А потому именно здесь, на Урале, Татищев все больше формируется как разносторонний государственный деятель и как ученый-энциклопедист.

Как горный начальник Татищев должен строить заводы и давать металл. Он смотрит на свои обязанности гораздо шире.

Чтобы искать руды, строить новые заводы, плавить металл, нужны специалисты, а для начала просто грамотные люди. И горный начальник заводит школы — сначала в Кунгуре, потом в Уктусе и Алапаевском заводе, позднее в Екатеринбурге, где впервые создает горнозаводскую школу, сочетавшую теоретические занятия с работой на рудниках и заводах. «Это, — как утверждает исследователь горных школ на Урале, — несомненно являлось новшеством для начала XVIII столетия не только в России, но и для европейских стран»²⁰.

С первых же дней горный начальник испытывает неудобства от несовершенства почтовой связи с Петербургом, Тобольском и другими городами: на согласование самых простых вопросов уходят месяцы. Татищев разрабатывает проект нового типа почт и начинает его осуществление.

Старые дороги плохи и неудобны, что тоже сказывается на развитии горного дела. Татищев предлагает новые трассы дорог.

Горный начальник занимается ярмарками, горными законами, новыми ремеслами, богадельнями и т. д. и т. д.

Круг его административных интересов и забот необычайно широк для горного начальника, ибо он сам взвалил на себя обязанности и воеводы, и губернатора, и судьи...

И вот что еще удивительно. Формально Татищев только «производственник», его главная обязанность «размножать» рудники и заводы. Но именно он первым подал свой голос в защиту уральской природы. Еще не нависла реальная угроза истощения природных ресурсов Урала, но горный начальник заглядывает на десятилетия вперед и заранее бьет тревогу. Вот одна из записей в его дневнике при объезде заводов: «Усмотрено, что во всех этих местах... леса на дрова без надлежащей бережи рубят... Дело дойдет до того, что лесов ни в пятьдесят лет дожидаться надежды нет». Уже в 1721 году он с беспокойством доносит Берг-коллегии: «Меня ничто так не страшит, как непорядочные поступки с лесом и великое небрежение...»²¹

Уже тогда, в первый свой приезд на Урал, Татищев, разрабатывая проект обязанностей горного начальства, вписал в него требование положить конец хищническому использованию природных ресурсов горнопромышленниками. Одна из десяти глав его «Наказа» комиссару Бурцеву называлась «О хранении лесов». Он требовал от Берг-коллегии права контроля над частными заводчиками и для того, чтобы установить, «в добром ли порядке и по достоинству ли они размножены», и если необходимо, то нужно даже «принудить» заводчика сократить производство, так как «множество молотов и нехранение лесов государству не прибыль приносит, а вред»²².

Пользуясь своей властью горного начальника, он написал грозный указ, запрещающий под страхом смертной казни вырубать леса в окрестностях Екатеринбурга.

Владельцы же Невьянского завода Демидовы, а потом и Яковлевы продолжали в течение двух с лишним столетий «скармливать» своим прожорливым доменным печам леса.

Очень скоро Татищев понял: чтобы изменить что-то в судьбе Урала, нужно его хорошо знать. И он превратил свои деловые разъезды по краю в своего рода научные экспедиции, во время которых он изучал природу, быт, обычаи, языки местных народов, собирал коллекции минералов и растений, тщательно осмотрел Кунгурскую пещеру, интересовался минеральными источниками. Будучи в Тобольске, он снял копию с ремезовской «Книги Большому Чертежу» — одной из первых русских карт Урала и Сибири. Разослал из Уктуса во все концы геодезистов — составлять новые карты. Организовал систематический поиск полезных ископаемых, требуя, чтобы рудознатцы не только приносили образцы руд, но и составляли чертеж места, где они найдены, и его «обстоятельное описание»²³.

Не забыл Татищев и о наказе Петра заниматься географией. Но вскоре пришел к выводу, что нельзя составить хорошего географического описания, не познав прошлого, не занявшись историей. Именно здесь, на Урале, в 1721 году начал Татищев работать как историк и как географ²⁴.

Тогда же зарождались и экономические взгляды Татищева, отразившиеся в разнообразных проектах развития горной промышленности. Татищев-ученый рождался не в кабинетной тиши, его научные труды созревали на почве практических нужд тогдашней дворянской империи.

Далеко не все свои планы удалось осуществить первому горному начальнику. И причин тому было немало.

Тормозила дело нерасторопность, а иногда и некомпетентность Берг-коллегии. Ее президент Брюс — покровитель Татищева — почти весь 1721 год горными делами не занимался: по заданию Петра он вел длительные переговоры о мире со шведами. Остальные члены коллегии не имели достаточно опыта и смелости, чтобы быстро решать сложные и острые вопросы, которые ставил уральский горный начальник. Многие его замыслы разбивались о нерешительность и неповоротливость коллегии.

Не получал серьезной помощи горный начальник и от

сибирского губернатора князя Алексея Михайловича Черкасского, к которому Татищев приезжал дважды в Тобольск.

Почти в каждом татищевском доношении коллегии звучала одна и та же просьба, требование, вопль — пришлите людей, людей, людей... Ибо домны стоят «от незнания мастеров», медеплавильные печи дают брак, некому строить цехи и плотины... Но Берг-коллегия бессильна — она не располагала специалистами.

Берг-мейстер Блиер и берг-штейгер Патрушев, с которыми Татищев приехал на Урал и работал очень дружно, успевали не все. К тому же оба были уже в преклонном возрасте и часто болели.

Несмотря на то что Берг-коллегия запретила строительство нового железоделательного завода на Исети, Татищев продолжал настаивать на своем проекте, правда, предлагая на этот раз построить всего две домны и четыре молота. Он доказывал вновь и вновь, что руда и лес рядом, что возведение плотины обойдется дешево, что воды в любое время года хватит для работы десяти молотов. Тут же он сообщал, что заготовленный лес для стройки приказал собрать и положить на сухие места, что начатые на Исети избы велел дорубить и оставить в срубах, что кирпичей наготовят 100 тысяч штук и на этом пока ограничатся...

Берг-коллегия на этот раз согласилась с доводами Татищева, но разрешила начать стройку только после приезда из Петербурга саксонского берграта Михаэлиса, т. е. фактически отдавала судьбу завода на Исети в его руки.

С осени 1721 года Татищев добивается санкции Берг-коллегии на приезд в Петербург для решения «нужных дел». Коллегия молчит: без президента Брюса она не решается дать своего согласия.

Татищев ждет приезда Михаэлиса, который еще в марте выехал из столицы и должен уже прибыть на Урал, но лишь в начале августа стало известно, что берграт застрял

в Казани и не может выехать, так как сидит без денег, хотя коллегия выдала ему прогонные на весь путь. Пришлось выручать. Татищев написал казанскому губернатору, чтобы Михаэлису выдали под расписку 300 рублей, но губернатор отказал. Тогда Татищев обратился к знакомому казанскому купцу, который и дал немцу деньги под вексель. Михаэлис добрался до Кунгура только в последних числах декабря. Надо думать, что только за одну эту медлительность Татищев возненавидел его. Михаэлис оказался вздорным и бестолковым стариком с непомерно раздутым самомнением. Претендуя на чин «директора всех Российских заводов», он был малосведущ в заводских делах, не знал условий Урала и не собирался вникать в его специфику. К тому же он ни слова не понимал по-русски. Собственно, Берг-коллегия послала Михаэлиса на Урал, чтобы избавиться от него в Петербурге, где он всем надоед своим склочным характером.

Вся деятельность Михаэлиса на Урале состояла в том, что он сочинял на немецком языке многословные проекты и инструкции, в которых трудно было добраться до смысла и которые состояли в основном из общих мест. Единственное конкретное дело, за которое он взялся уже после отъезда Татищева, показало полную несостоятельность чванливого саксонца. Забрав место, выбранное Татищевым на Исети для нового завода, Михаэлис начал строить завод на речке Уктуске, но возведенную под его руководством плотину в первое же половодье снесло внешними водами.

Едва Михаэлис приехал, Татищев заторопился с отъездом в столицу — надо успеть вернуться на Урал к весне, и вернуться не одному, а с мастерами, и начать ставить по уральским рекам новые плотины и заводы.

А пока он будет решать в Берг-коллегии «нужные дела» и выколачивать мастеров, здесь, на Урале, не должно пропадать без дела ни одного дня. И Татищев садится за инструкции заводским комиссарам и «Наказы» горной

канцелярии на время своего отсутствия. В «Наказах» даются конкретные задания (начать добычу медной руды на речке Полевой, «отворить» дорогу через Уктус, «учинить» торжище, т. е. ярмарку, и т. д.) и излагается широкая программа промышленного развития Урала.

Татищев снова, но на этот раз более обстоятельно, предлагает завести на Исети новые фабрики, где «мастера стальные, проволошные, жестяные, часовые большого дела, бумажных мельниц, стеклянных, от которой каждой по особливости государю и государству немалую пользу принести могут...». И хотя подобные его предложения в свое время не были приняты Берг-коллегией во внимание, он снова и снова настаивает на них. И солидно аргументирует все преимущества заведения именно на Урале разных отраслей промышленности, использующих местное железо, которое «олонецкого и других в доброте превосходит, в цене дешевле, множеством изобилует».

Татищев мыслит не только в уральском масштабе, он ясно видит будущую роль Урала для страны в целом.

Вот как оценивают современные ученые «Наказы» Татищева, намеченные им в январе 1722 года. «Для Татищева характерен широкий государственный подход к проблемам промышленного развития страны». И еще: «Татищев первый среди русских экономистов обосновал экономическую целесообразность развития здесь (на Урале.— И. Ш.) не только горнозаводской, но и других отраслей промышленности»²⁵.

Оформив свой отъезд решением горной канцелярии, 22 января 1722 года Татищев выехал из Кунгура в Петербург. Но по дороге он узнает, что Петр, все сенаторы, в том числе и Брюс, а также «весь Петербург» уехали в Москву на торжества по случаю долгожданного мира со шведами. И он тоже поворачивает в старую столицу...

Но Петра в Москве Татищев уже не застал — в начале февраля царь отправился на Олонецкие воды. Это очень огорчило горного начальника — ему непременно

хотелось поговорить с императором об уральских делах...

Поскольку Берг-коллегия тоже временно переехала в Москву, Татищев сразу же начинает деловые хлопоты. Он вносит на рассмотрение коллегии свои предложения о нуждах уральских заводов, подает проект управления горными делами, подбирает мастеров.

Одновременно он знакомит Брюса и ученого епископа Феофана Прокоповича со своей рукописью по истории России, объявляя «намерение» продолжить ее, просит снабдить его древними летописями и книгами...

И вдруг — удар в спину...

Никита Демидов подал на него самому «Отцу Отечества, императору Всероссийскому Петру Великому» (так с октября 1721 года по решению сената стали титуловать Петра) жалобу о том, что Татищев чинит обиды и «разорение» демидовским заводам.

Старик Демидов выбрал удачный момент. Не так давно он еще раз заслужил похвалу Петра за великолепное качество металла, выплавленного на Невьянском заводе. Царь специальным указом запретил употреблять в кораблестроении и для особо важных военных нужд железо всех других заводов, кроме демидовского. А совсем недавно Демидов выполнил еще одно крупное поручение Адмиралтейства, и выполнил блестяще. Как-то Петр упрекнул адмирала Апраксина за то, что расходы на лес для флота чрезвычайно велики. Адмирал вызвал к себе Никиту Демидова, и тот взялся за подряд дуба для кораблей, причем согласился ставить лес гораздо дешевле, чем прежние поставщики. И выполнил свой договор раньше срока, поставив дубового леса не на три корабля, как обещал, а на шесть, да еще на пять галер.

Петр, который питал к кораблям особую слабость, остался очень доволен: кругом молодец Демидов! Не оплошал и здесь.

Адмирал Апраксин, докладывая Петру о демидовских успехах, высказался:

— Хорошо, если бы у тебя было десятка два таких помощников, как Демидов.

— Я счастлив бы себя почел, — ответил царь, — если бы имел таких пять, шесть или меньше.

В удачное для себя время пожаловался Никита Демидов на капитана Татищева. И Петр, который совсем недавно специальным указом запретил под угрозой наказания и крупного штрафа подавать челобитные и жалобы на царское имя, принял демидовскую жалобу и обещал разобраться.

По-видимому, из-за этой жалобы Петр велел задержать Татищева в Москве до своего возвращения с Олонецких вод. Царь прибыл в Москву 13 марта 1722 года, и вскоре состоялась его встреча с Татищевым. О чем они тогда говорили, неизвестно...

А между тем Берг-коллегия, поддержав на этот раз многие проекты Татищева, торопит с возвращением на Урал, ибо опасается, что Михаэлис не сумеет отправить весенний караван с железом в Петербург. Но доносом Демидова на Татищева занимается сам император, а потому Брюс письмом просит кабинет-секретаря узнать у Петра, могут ли они вскоре отправить Татищева на Урал, так как если он не выедет в ближайшие дни, то придется «ему воды ждать», ибо сухим путем ехать уже невозможно будет»²⁶. Очевидно, ответ был отрицательный, так как Татищев остался в Москве.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

Вот уже третье столетие стоит на Василии Никитиче Татищеве клеймо взяточника. И современники, и почти все историки, и биографы, говоря о его заслугах и достоинствах, с сожалением и негодованием отмечают, что он не был лишен этого крупного порока.

Появлению этого клейма мы обязаны... самому Татищеву. В его «Духовной» есть такое место: «Мне случилось в ответе против доноса Никиты Демидова в 722 году на вопрос о взятках произнести апостольское слово: делающему мзда не по благодати, а по долгу...» Далее следуют размышления о мзде за труд и о лихоимстве.

В известном труде И. И. Голикова «Деяния Петра Великого», появившемся во второй половине XVIII века, эти строки превратились в такой эпизод. Голиков приводит разговор Петра I с Татищевым, происходивший в связи с демидовским обвинением последнего во взятках. Вот как об этом рассказывается:

«Он (Петр I) призывает его (Татищева) к себе и спрашивает: правду ли объявляет на него Демидов?»

— Правду, Государь,— отвечает сей муж,— я беру...»²⁷ И далее, ссылаясь на слова апостола, развивает теорию, якобы оправдывающую взятки.

Таким образом, у Голикова получилось, что Татищев сам признался во взятках. И это «признание» десятки раз повторяется самыми разными авторами, не подвергаясь никакому сомнению, тем более что в будущем Татищева еще дважды обвинят в подобном же грехе.

С середины прошлого века биографы Татищева пытались найти в архивах материалы следствия, проведенного Генниным, но безуспешно. Следственное дело удалось обнаружить в ЦГАДА только в 1973 году*. Правда, не подлинник, а копию, списанную для Берг-коллегии. Она так и называется: «Государственной Берг-коллегии выписка обстоятельная из дела, что розыскано между Демидовым и капитаном Татищевым, и о деле Татищева в Сибири»²⁸. Именно это дело позволило по-новому взглянуть на укоренившуюся легенду о Татищеве как о взяточнике.

* Первым это следственное дело нашел московский историк А. И. Юхт, который и сообщил об этом автору.

Знакомство со следственным делом окончательно подтвердило, что все обвинения Демидовых, в том числе и о взятках, были ложными. Что же касается взяток, то оказалось: Демидов давал взятку, но Татищев не взял. «Понеже,— писал Геннин Петру I,— и деньгами он (Демидов) не мог Татищева укупить, чтоб вашего величества заводом не быть»²⁹.

Причина демидовской клеветы ясна: Татищев мешал Демидову по-своему хозяйничать на Урале, а потому заводчик «искал, как бы его (Татищева) от своего рубежа выжить». Не имея против горного начальника никаких реальных обвинений, Никита Демидов надеялся, что ему поверят, а уж в ходе следствия обязательно выявятся какие-нибудь оплошности Татищева. Был Демидов уверен и в том, что у других-то горный начальник наверняка берет взятки, как это делают все казенные люди. Но расчет Демидова не оправдался и здесь — Татищев оказался редким исключением.

В начале 1724 года Высший суд, на котором присутствовал сам Петр I, полностью оправдал Татищева. О Никите же Демидове суд постановил: за то, что «он не бил челом о своей обиде на Татищева у надлежащего суда, но, презирая указы, дерзнул его величество в неправом деле словесным прошением утруждать, вместо наказания взять штраф 30000 рублей». Демидовы должны были заплатить штраф и Татищеву.

Сумма штрафа была огромна даже для Демидовых, и потому Петр, не желая обижать своего любимца и отпугнуть других «охочих» к заводам людей, указал отложить окончательное решение о штрафе до приезда Геннина с Урала и выслушать его мнение...

Штраф в пользу казны так и не был взят, но Татищеву Демидов вынужден был оплатить все убытки, понесенные Василием Никитичем во время следствия.

Так почему же появился «голиковский разговор»? Попробуем разобраться.

Петр I, который принимал участие в разборе конфликта между Татищевым и Демидовыми, был рад, что обвинения против горного начальника не подтвердились и что он оказался не только энергичным и умным, но и честным работником. Случай для того времени уникальный. Редкий из важнейших петровских помощников, редкий из сенаторов избежал суда или подозрения в нечистых делах. Самые близкие к царю люди — Меншиков, Апраксин, Шафиров — были виновны в крупных злоупотреблениях. Дубинка Петра была уже бессильна, и он перешел к более жестоким мерам.

За несколько недель до суда по делу Татищева и Демидовых перед зданием сената вывели на эшафот восемнадцать преступников — в основном это были люди, занимавшие крупные посты. И среди них сам обер-фискал Нестеров — человек, пользовавшийся особым доверием царя, человек, в обязанность которого входило выискивать и искоренять нарушения закона, в том числе мздоимство и казнокрадство. Поэтому Нестерову не просто отрубили голову, как другим, а присудили к страшной казни — колесованию. По указу Петра на казни должны были присутствовать члены всех коллегий, от президентов до писцов...

Но воровать не перестали. Вскоре Петр опять слушал в сенате новые дела о хищениях. Взмешенный, он повелел обнародовать именной указ: кто украдет у казны столько, сколько стоит веревка для виселицы, — будет повешен. Генерал-прокурор Ягужинский возразил Петру: «Разве, ваше величество, хотите остаться императором один, без подданных?» Петр не издал указа. Но прощать казнокрадство не собирался. Когда назначенный вместо Нестерова обер-фискал Мякитин, докладывая о новых злоупотреблениях, спросил царя: «Обрубить ли только сучья или положить топор на самые корни?», Петр ответил: «Руби все дотла». Смерть Петра помешала осуществить это намерение.

Разговор с Петром I, который приводит Голиков, мог происходить или в 1722 году, вскоре после доноса Демидова, или в 1724-м, когда Татищев, вернувшись из Екатеринбурга, жил в Петербурге. Сам Татищев дважды в своих сочинениях называет последний год.

Именно в это время Татищев был особенно близок к Петру. Последние годы своей жизни царь все больше задумывался о судьбах своих преобразований. Сделано много. Еще больше начато. Россия была похожа, по выражению Меншикова, на «недостроенную храмину». Кто будет достраивать?

С неудовольствием оглядывал Петр ряды своих приближенных. Многие, кого он долгие годы натаскивал, приучал к большим делам, не оправдали его доверия. Одни состарились, устали и думали теперь о покое. Другие, по выражению Ключевского, «не столько поддерживали ее (реформу.— И. Ш.), сколько сами за нее держались». Третьи, тот же адмирал Апраксин — «цепной слуга преобразователя», бесконечно преданный лично царю, был в то же время затаенным противником его преобразований.

Петр I усиленно искал новых людей, которые продолжали бы его дело. Такого человека он увидел в Татищеве и после суда оставил его при себе, начал приобщать к крупным государственным делам, вводить в круг своих главных забот и идей.

Не было, пожалуй, ни одной крупной проблемы, о которой император не говорил бы с Татищевым в 1724 году. В продолжение целой четверти века после смерти Петра I Татищев, занимаясь самыми разными делами, которые продолжали петровские замыслы, постоянно будет ссылаться на свои личные разговоры с Петром I и в подавляющем большинстве случаев датирует их 1724 годом³⁰.

А теперь вернемся к разговору Петра I с Татищевым, с которого мы начали главу. Разговор этот мог возникнуть не столько в связи с обвинением последнего во взятках, сколько потому, что это была слишком злободневная тема

того времени. Донос Демидова дал только повод для начала разговора о важной проблеме...

Итак, Татищев отвечает: «Я беру, но в том ни перед богом, ни пред Вашим величеством не прегрешаю». И приводит слова апостола Павла: «Делающему мзда не по благодати, а по долгу».

Царь потребовал объяснения, и Татищев развил целую теорию: лихоимство есть неправо взятое, а мзда за труд не есть грех. «Если я,— рассуждает Татищев,— и ничего не взяв, противу закона сделаю— повинен. А если из мзды к законопреступлению присоединится лихоимство, должен сугубого наказания. Когда же право и порядочно сделал и от правого возблагодарение приму, ничем осужден быть не могу.

Если мзду за труд почтешь во мздоимство, то, конечно, более вреда государству и разорения подданным последует, ибо должен я за полученное жалованье работать только до полудня, в которое мне, конечно, времени на решение всех нужных просьб не достанет, а после обеда трудиться моей должности нет...

Дела в канцеляриях должны решаться по регистрам порядком; и случается то, что несколько дел весьма ненужных впереди, а последнему по регистру такая нужда, что если ему дни два решение продолжится, то может несколько тысяч убытку понести, что купечеству нередко случается. И от такого правого порядку может более вреда быть. Если я вижу, что мой труд не в туне будет, то я не токмо после обеда, но и ночью потружуся: игры, карты, собаки и беседы или прочие увеселения оставляю и, несмотря на регистр, нужнейшие прежде ненужного решу, чем как себе, так и просителю пользу принесу, а за взятую мзду от бога и вашего величества по правде сужден быть не могу»³¹.

Он здесь рассуждает как деловой человек. Осуждая лихоимство и взятку и требуя за них наказания, Татищев предлагает официально разрешить дополнительную опла-

ту за труд. Причем речь идет не о нем лично, хотя Татищев и развивает свою теорию от первого лица. В данном случае это литературный прием. Свои рассуждения Татищев ведет на примере судьи, а этой должности он никогда не занимал.

Вспомним обстановку того времени в государственных учреждениях. Лихоимство во многом порождалось бюрократизмом и неповоротливостью коллегий и разных канцелярий. В то время не только на местах, но и в высшем органе — сенате скопилось 16 тысяч нерешенных дел! Государственный аппарат попросту не успевал решать многие вопросы, что и приводило к злоупотреблениям. Татищев и предлагал свой выход из этого положения: ввести дополнительную оплату от частных лиц.

Кстати, сам Петр I уже пользовался подобной практикой. Когда подьячие секретного стола сенатской канцелярии попросили у царя прибавки жалованья, ссылаясь на «великое оскудение и нищету», то он принял довольно оригинальное решение: прибавил подьячим не жалованья, а ...работы, определив им «ведать» строгановские и другие дела.

Петр I, выслушав Татищева, высказал сомнение: здесь ловкие люди могут найти лазейку для злоупотреблений и есть опасность, «чтоб под видом доброхотных подарков не стали принужденно вымогать»³². Тем не менее, как вспоминает Татищев, в 1724 году Петр I «намерен был указом изъяснить» разницу между взяткой и мздой за труд, «токмо знатно время и другие дела воспрепятствовали»³³.

Можно соглашаться или не соглашаться с «теорией» Татищева, с его способом решения государственной проблемы. Это одно дело. Но Голиков связал два факта: обвинение Демидовыми Татищева во взятках и разговор на эту тему последнего с Петром I. Связал и по-своему подал и интерпретировал. И пошло гулять по свету «признание» самого Татищева во взятках.

Очевидно, при мартовской встрече с Петром Татищев рассказал ему о своем конфликте с Демидовыми и в чем-то убедил его. Поверил в правоту Татищева и Яков Брюс. 24 января 1722 года, когда Василий Никитич находился еще на пути в Москву, Брюс писал Никите Демидову:

«Господин Демидов! Известен я, что вы жалобу приносите на капитана от артиллерии Татищева, будто он вам некоторые обиды кажет. И вы в том оберегитесь, чтоб было не напрасно. А паче как ты будешь здесь, то мы вас можем развести (т. е. примирить.— И. Ш.)»³⁴.

Петр, выслушав другую сторону, хотя и не принял определенного решения, но не видел в Татищеве человека безусловно виновного. В противном случае едва ли бы он разговаривал с ним на другие темы.

А говорили они еще о географии и истории России. Татищев показал царю древнюю копию летописи Нестора, которую он нашел у раскольников на Урале. Петр заинтересовался летописью и даже взял ее с собой в Персидский поход. После разговора с Татищевым и появился указ Петра, повелевавший собирать в монастырях летописи исторических хроник и снимать с них копии.

Разобрать конфликт Татищева с Демидовыми царь поручил генералу Геннину.

Виллим Геннин, которого Петр вывез из Голландии еще в конце прошлого века, был усердным и честным служакой. По заданию царя он поднимал Олонецкие заводы, строил суда, лил пушки. Петр, часто бывавший на Олонце, был доволен им и даже удостоил его своей «персоной» — миниатюрным портретом, которым он награждал только за особые отличия. Геннин гордился доверием царя, и потому в предстоящем розыске можно было надеяться, что генерал не будет подвержен каким-либо другим влияниям.

В апреле 1722 года Петр вручил Геннину свою инструкцию, а сам отправился в Персидский поход. По этой инструкции Геннин направлялся на Урал для «исправления железных и медных заводов». И, кроме того, в ней был специальный пункт: «Розыскать между Демидовым и Татищевым, также и о всем деле Татищева, не маня ни для кого, и писать о том в сенат, также в Берг-коллегию и Нам».

И хотя Татищев не чувствовал за собой вины, его тогдашнее волнение являлось естественным. Ведь Геннин должен оценить его полуторагодовую работу на Урале, в которой, как и во всяком новом и сложном деле, могли быть ошибки. Ошибки, к которым теперь, после доноса Демидова, могли отнестись иначе, чем при других обстоятельствах.

А между тем слух о доносе Демидова на Татищева уже обошел Москву. И многие были уверены, что теперь Василий Татищев конченный человек — не устоять капитану против заводчика, имеющего таких могущественных покровителей, как князь Меншиков и генерал Апраксин³⁵.

Положение Татищева было неопределенным. Находясь под розыском, он в то же время оставался горным начальником, Берг-коллегия продолжала обсуждать с ним уральские горные дела. Больше того. Поскольку Геннин, по поручению Петра, занимался тогда проектом канала Москва — Волга, все хлопоты по подготовке к отъезду на Урал пали на Татищева. Он принимает мастеров, прибывших с Олонца по вызову Геннина, получает припасы и инструменты, распоряжается погрузкой стругов...

Наступает день отъезда. Так в каком же качестве он едет на Урал? Эта неопределенность тяготит Татищева, любящего во всем порядок. И перед тем как взойти на струг, он посылает в Берг-коллегию доношение, где просит «отрешить» его от горного начальства до окончания розыска. И коллегия вынуждена уже в догонку стругам послать об этом указ: «Капитану В. Татищеву быть в Си-

бири при розыске с Демидовым у генерал-майора Геннина, а у горного начальства дел ему до окончания того дела быть не надлежит»³⁶.

И опять долгий путь по воде: сначала по Оке, потом по Волге и Каме. В самом конце сентября поднялись из Камы в Чусовую, доплыли по ней до села Троицкого, а оттуда сухим путем 2 октября добрались до Кунгура. Зима запаздывала, и осень остатками лихого разноцветья продолжала еще праздновать. Что-то дрогнуло в душе Татищева при виде знакомых уральских увалов — ведь со всем этим уже связана часть его самого. И горькое чувство шевельнулось в нем — сколько времени зря пропало из-за этого дурацкого доноса...

Почти весь октябрь и ноябрь Геннин с Татищевым и Блиером осматривали медные рудники в Кунгурском уезде, побывали в Соликамске.

Горные дела на Урале не порадовали Татищева. Еще в мае берг-штейгер Патрушев писал ему в Москву: «О себе доносим: еще живы, только в печалях, что у нас не так, как было при вашем благородии... Ежели его (Михаэлиса.— И. Ш.) журнал и писание о заводском погрешении изволишь читать, то весьма познаешь, что нам не дивно его нраву дивиться. Просим помощи Божией и дарования вам здравия, дабы благоволил Бог вашему благородию к нам прибыти...»³⁷

А теперь и сам все видел и расстраивался. «Здесь горного начальства дела,— писал Татищев Брюсу в начале ноября,—с сожалением смотрю, ибо многие указы и дела, решения и исполнения требующие, лежат и исполнять некому. ...И хотя мне дела до того не было, однакож, опасаясь большого неурядка, не мог удержаться, чтоб Вашему Сиятельству не донести, дабы заблаговременно определением доброго управителя вредам предлагающим предупредить соизволили»³⁸.

Осмотрев рудные места на западном склоне Урала, Геннин, теперь уже без Татищева, отправился на Невьян-

ский завод к Демидовым — начинать розыск. Но старик Никита отказался излагать свои жалобы письменно и заявил, что желает мириться с Татищевым. На что Геннин ответил, что «без воли Его величества» он мировой челобитной принять не может, поскольку послан не мирить, а «учинить розыск». Однако убедить Демидова не удалось — упрямый Никита стоял на своем. Геннину пришлось уехать из Невьянска ни с чем.

Вскоре генерал послал на Невьянский завод сержанта Украинцева, через которого повторил свое требование, но заметил при этом, что если Демидов будет отказываться от письменной жалобы, «то всяк будет мнить, что он виноват» и «на Татищева жалобу приносил напрасно».

Никите Демидову ничего не оставалось, как написать «доношение», в котором он указал две свои обиды на Татищева: что горный начальник поставил на дорогах заставы и не пропускал на демидовские заводы подводы с хлебом и что отобрал у них пристань на реке Чусовой.

Геннин начал обстоятельнейшее расследование...

Еще по дороге на Урал Татищев «заразил» генерал-майора своим проектом завода на реке Исети и убедил его не теряя времени приняться за его строительство. С первых же дней, как отметил Мамин-Сибиряк, Геннин отдавал Татищеву «надлежащее уважение, скажем больше — он подчинялся ему, где обстоятельства требовали широкого взгляда, общих соображений и смелой творческой руки». Все первые указы нового руководителя о заводе на Исети повторяли прежние распоряжения бывшего горного начальника и даже ссылались на него: сделать «по росписи Татищева»...

Последние годы среди историков Екатеринбурга — Свердловска утвердилось мнение, что Геннин построил завод на Исети совсем не на том месте, которое выбрали Татищев и уктусские мастера, а на другом. Но вот что

рассказало недавно найденное донесение Геннина в Берг-коллегию.

Сначала Геннин пишет о том, что Михаэлис, забрав «от капитана Татищева на Исети обретенное, удобное к строению завода место», перевез приготовленный им лес на речку Уктуску «выше старого Уктусского завода версты три» и начал строить там плотину. Но построить за одно лето 1722 года не успел. «И не соверша и не укрепя оную пред зимою, как надлежало, оставил». Вешние воды на следующий год снесли плотину. «А хотя бы ея,— продолжает Геннин,— и не промыло, пользы в ней не было для того, что руды, лесов и воды недостаток».

«И мню,— размышляет Геннин о причинах таких поступков чрезмерно честолюбивого Михаэлиса,— что он учинил то, хотя себя показать, что он велел делать новый завод, а на Исети место того ради оставил, что Татищев сперва нашел, расчистил и лесов наготовил, такоже и леса (Михаэлис) свозил, чтоб впредь тем Татищеву славы не допустить; но я, прибыв, осмотрел, что оное место весьма к строению удобное, призрев собственную непристойную гордость, начал зимою в марте месяце на оном месте вновь готовить и возможные работы закладывать, видя то, что хотя мужик нашел, сказал: в том моему труду и чести помешательства нет и надеются, что и яко Татищев за его доброе желание, тако и я за мой неусыпный труд и совершение онаго милости его величества не лишимся»³⁹.

Надо сказать, что на этот раз генералу Геннину и в самом деле удалось «призреть собственную непристойную гордость», что удавалось ему далеко не всегда. Н. Чупин, В. Рѣжков и многие современные исследователи отмечают, что в своих посланиях Петру, Екатерине и Берг-коллегии генерал присваивал одному себе заслуги не только тогда, когда они что-то совершали вместе с Татищевым, но и в тех случаях, если бывший горный начальник делал что-то один или с другими горными специалистами. Так, выбор места не только для Екатеринбургского, но и для Полев-

ского и Егошихинского заводов тоже сделан Татищевым вместе с уральскими мастерами, но Геннин, санкционировав их выбор, писал и говорил в этих случаях только о себе. Составлением всех горных проектов в 1723 году, устава горного начальства, инструкции заводским комиссарам, штатов Екатеринбургского и других заводов также занимался Татищев. Н. Чупин, хорошо знакомый с архивом Уральского горного правления, свидетельствует, что черновики подобных документов написаны рукою Татищева, на беловых же копиях, отправленных в Петербург, всегда стоит подпись одного Геннина. Особенно проявилось «яканье» генерала в его знаменитом «Описании уральских и сибирских заводов», завершеном уже в то время, когда он находился во враждебных с Татищевым отношениях. Но в 1722—1723 годах Геннин не только высоко ценил Татищева как организатора и специалиста, но испытывал к нему искреннюю симпатию.

Поскольку у Геннина было много других дел, а в Татищеве он видел человека надежного, на которого можно полностью положиться, тем более в деле, к которому он пристрастен, то строительство нового горного завода генерал почти целиком переложил на его плечи. Уже в середине декабря 1722 года Геннин писал Брюсу, что хотя «о капитане Татищеве прислан сюда... указ, чтоб ему до окончания с Демидовым (розыска) у прежнего дела не быть», но «понеже здесь людей, способных к строению заводов не имею», а Татищев «здесь о всем известен и к строению заводов, и вижу его в том радение и искусство, того ради определил я его к тому делу по указу... Однако ж я только у строения велел быть, а не в Берг-амте сидеть...»⁴⁰.

Таким образом, бывший горный начальник, находящийся под следствием, стал, выражаясь современной терминологией, чем-то вроде начальника строительства, а также, как видно из круга его забот, и главным инжене-

ром и главным архитектором строящихся на Исети завода и крепости.

Торопится, нагоняет время Василий Татищев. Днем пропадает на заснеженных берегах Исети, по вечерам сидит на Уктусе вместе с артиллерийскими учениками Клеопиным и Гордеевым над проектными чертежами плотины, заводских цехов и крепости. В январе 1723 года он уезжает в Тобольск за мастерами и материалами, договаривается о присылке на Исеть солдат...

В марте оживились многолюдьем речные берега...

«Представьте себе совершенно пустынные берега реки Исети, покрытые лесом. Весной 1723 года явились солдаты из Тобольска, крестьяне приписных слобод, нанятые мастера, и кругом все ожило, как по щучьему велению в сказке. Ронили лес, готовили место под плотину, клали доменные печи, поднимали крепостной вал, ставили казармы и дома для начальства»⁴¹.

Так писал о рождении Екатеринбурга Мамин-Сибиряк.

Нет, не по щучьему велению возникали на Исети новый завод и крепость. Рождение Екатеринбурга вовсе не походило на сказку...

Мартовская стужа сквозь легкие солдатские мундиры добиралась до костей. Командир Тобольского полка Иван Королевич доносил, что солдатам «быть на работе весьма скудно, потому что босы и наги». Не хватало жилья, хлеба, лекарств... Быстрее, чем первые избы, росли на берегах Исети ряды могил... Будущая горная столица Урала начиналась с кладбища...

Но Татищев был и упрям, и жесток, требовал выполнения намеченных уроков во что бы то ни стало. Снисхождения он не знал. Бывший горный начальник понимал, что главным его оправданием перед царем Петром будет построенный завод. И не жалел ни себя, ни других. Чтобы установить жесткий контроль за строителями, он неделями не возвращался в Уктус, ночуя вместе с солдатами в промерзлых срубах, по утрам вскакивал раньше

всех, поднимая вместе с офицерами солдат на работу... Его фанатизм был страшен, казалось, он вытравил из себя малейшую жалость...

Уже в марте начались побегі солдат и приписных крестьян. Пойманных били батогами. Не помогало. Вскоре Геннин сообщал в Петербург, что зачинщиков побегов он приказал повесить, а если «не перестанут бегать, то и жесточе буду поступать». Бегать не перестали. В очередном донесении Геннин писал: «Собран был Тобольский полк на экзекуцию и учинена против вешения описанного, а именно: четырех человек вместо смертной казни гоняли шпицрутенами 6 раз, а ноздри не пороты. Василий Жеревцов колесован, живым поднят на колесо и в то время голова отсечена и постановлена на спицу, а Широков и Колесников повешены, а Федор бит кнутом на площади и вырваны ноздри и уши отрезаны, сослан на галеру»⁴².

Еще в феврале Геннин закончил розыскное дело и доносил Петру: «Когда Татищев здешние заводы и дистрикты не ведал и о заставах не доносил, то свободно было тайными дорогами с заповедными товары и с прочими съестными припасы без выписей и не заплатя пошлин на Демидовы заводы приезжать, как и ныне явилось; а как пресекалось, то стало тем мужикам Досадно, и жаловались Демидову иное вправде, а более лгали, чтоб таким крепким заставам не быть; а Демидов мужик упрям, видя, что ему другие стали в карты смотреть, не справясь, поверя мужицкой злобе, жаловался для того; до сего времени никто не смел ему, бояся его, слова выговорить; и он здесь поворачивал как хотел.

Ему не очень мило, что вашего величества заводы stannoт здесь цвеств, для того, что он мог больше своего железа продавать и цену наложить как хотел, и работники бвольные все к нему на заводы шли, а не на ваши; а понеже Татищев по приезде своем начал прибавливать или стараться, чтоб вновь строить вашего величества заводы, и

хотел по горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевать рудные места порядочно: и то ему також было досадно и не хотел того видеть, кто б ему о том указывал.

И хотя прежь сего, до Татищева вашего величества заводы были, но комиссары, которые оные ведали, бездельничали много, и от заводов плода почитай не было; а мужики от гагаринских комиссаров раззорились, и Демидову от них помешательства не было и противится ему не могли, а Демидов делал, что он желал, и, чаю, ему любо было, что на заводах вашего величества мало работы было и опустели.

Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтоб вашего величества заводам не быть.

Ему же досадно было, что Татищев стал с его спрашивать от железа десятую долю.

Ваше величество изволили мне дать от гвардииержанта Украинцева, чтоб без бытности моей быть ему над всеми заводами директором, и хотя он человек добрый, но не смыслит сего дела, и десятеро в Украинцева меру не смыслят. Того ради вашему величеству от радетельного и верного моего сердца, как отцу своему, объявляю: к тому делу лучше не сыскать, как капитана Татищева, и надеюся, что ваше величество изволите мне в том поверить, что я оного Татищева представляю без пристрастия, не из любви или какой интриги, или б чьей ради просьбы, я и сам его рожу калмыцкой не люблю, но видя его в том деле весьма права и к строению заводов смысленна, рассудительна и прилежна; и хотя я ему о том представлял, но он мне отговаривается, что ему у того дела быть нельзя: первое, что ваше величество имеет на него гнев и подозрение, которого опасаясь, смело, как надлежит (действовать), не посмеет и чрез то дело исправно не будет; також ежели он не увидит вашей к себе милости, то нет надежды уповать за труд награждения, и особливо в таком отдалении,

где и великого труда видеть не можно, ежели не через представительство других получить. Третье, ежели на Демидова управы учинено за оболгание не будет и убытки его награждены не будут, то и впредь с ним будет во вражде и беспокойстве, чрез что пользе вашего величества не без вреда быть может и сих ради причин он, Татищев, быть здесь охоты не имеет. Пожалуй, не имей на него, Татищева, гневу и выведи его из печали и прикажи ему здесь быть обер-директором или обер-советником»⁴³.

Геннин полностью оправдал Татищева, несмотря на то что Демидов и его покровитель адмирал Апраксин ожидали обратного. А ведь адмирал был старым другом самого Геннина. Последний всегда обращался к нему в затруднительном положении, жаловался на свои беды, выпрашивал через него награды и подарки и обязан был адмиралу многим. А тут вдруг Геннин сообщил Апраксину: «Демидова розыск на Татищева закончился. А что он на Татищева доносил, на оном розыск не доказал или Татищев умел концы схоронить (последнее выражение явно уступка Апраксину). И, чаю, тем не мог угодить Демидову... не всем и Христос угодил. Однако я делаю правду перед богом и его величеством»⁴⁴.

Но Апраксин обиделся на Геннина и перестал отвечать на его письма...

Окончательное решение по делу должен был вынести Высший суд, а пока Татищев распоряжением Петра был оставлен при Геннине.

Между тем на Исети возводилась крепость, а в ней горная канцелярия, церковь и другие строения. Летом здесь работало уже несколько тысяч человек. Пожалуй, после Петербурга не было в России стройки крупнее. Недаром Геннин просил назвать новостроящийся город и завод именем императрицы и получил на то разрешение.

В июле всех людей бросили только на плотину — ее обязательно нужно было закончить до наступления зимы.

7 сентября Геннин уже доносил Петру: «Против при-
сланного чертежа крепость Екатеринбург достроена, а в
ней упомянутые заводы, фабрики и мануфактуры и мед-
ная плавильная... хотя многие строения надеюсь нынеш-
ней зимой привести в действие, а прошедшей недели, с по-
мощью божей и твоим счастьем, такую великую плотину
заперли и вода в пруд пущена; изрядно устояла»⁴⁵.

Когда стройка на Исети набрала нужный темп, Геннин
послал Татищева на речку Егошиху «заводить» новый
медный завод — будущую Пермь⁴⁶.

10 июня Татищев выехал из Уктуса. По дороге не
утерпел — стал, как всегда, вмешиваться в разные дела.
В Уткинской слободе распорядился начать добычу мрамора.
Убеждал татар и черемис построить на кунгурской
дороге избы для проезжающих и содержать перевоз через
реку Бисерть. В Кунгуре, обнаружив, что из школы раз-
бежалось много учеников, послал солдат вернуть прогуль-
щиков. Узнав, что церковные служители не хотят отда-
вать своих детей в школу, написал гневное письмо кун-
гурскому протопопу...

Наконец, знакомое место на Каме, там, где в нее впа-
дает речка Егошиха. Еще в 1720 году Татищев с Блиером
наметил поставить здесь медеплавильный завод, велел ко-
пать на Мулянке руду. Осенью 1722 года Геннин одобрил
их выбор, и тогда же в Кунгуре под барабанный бой при-
зывали всех желающих для нового завода «кирпичи и
уголь ставить и анбары строить подрядом».

В марте 1723 года крестьяне уже расчищали устье
Егошихи до «места, где будет строиться завод». Когда
сошел снег, принялись за плотину.

Татищев нашел, что стройка ведется «весьма непоря-
дочно». Он обнаружил недостатки в устройстве вешняка и
в креплении свай. Особенно рассердило его то, что плоти-
ну заложили не в том месте, которое наметили они с Бли-

ером, а там, где «для строения весьма узко» и берега неровны, поэтому «много гор с обеих сторон окапывали и тою землею неровности наполнили».

Василий Никитич сам снял план местности и сделал чертежи будущему заводу и строениям. Через месяц он уже писал Геннину, что стройка идет полным ходом.

В конце июля Татищев выехал из Егосихи под Соликамск — достраивать Пыскорский медный завод, который никак не мог закончить Михаэлис. Геннин разрешил Татищеву вести стройку «по своему усмотрению, как наилучше».

На Пыскорском заводе Татищев получил радостную для себя весть. Геннин выслал ему копию письма-указа царя Петра:

«Господин генерал-майор.

Письма твои до нас исправно дошли, по которым уведомилась о состоянии новых медных и железных заводов, и за труды ваши вам благодарствуем. А что по се время на те ваши письма не ответствовали и то случилось за нашими недосугами. Что же пишете о сержанте Украинцеве, что при тех заводских делах быть незабычен и чтоб у того дела быть по прежнему Татищеву, ибо он по делу с Демидовым явился прав, того для онаго Татищева определили к тем делам...

Петр.

В 16 день июля с корабля Екатерины от Регервика»⁴⁷.

20 сентября Татищев выехал из Пыскорского завода в Екатеринбург, но по дороге еще раз свернул на Егосиху, сделав там некоторые распоряжения. Здесь уже успели закончить плотину, поставили плавильню с шестью печами, амбары для руд и припасов, заводскую контору и для приезжих начальников две светлицы, да семь квартир для служителей и мастеровых. На угоре сверкала свежими бревнами крепость с четырьмя бастионами...

С начала октября Татищев снова в Екатеринбурге. Теперь он уже как полноправный член Сибирского обербергамта (так Геннин стал называть горную канцелярию) составляет заводские штаты, «Наказ» управителю нового Екатеринбургского завода, хлопочет на пуске первых молотовых...

И одновременно готовится к отъезду в Москву для решения уральских дел. Кроме того, ведь должен состояться Высший суд...

24 ноября 1723 года в день именин царицы Екатерины Алексеевны праздновали и именины новорожденного города Екатеринбурга. С бастионов палили пушки. Прямо на площадь выкатили бочки с вином. Платил за всех Василий Татищев.

Сразу же после праздничных торжеств он выехал в Москву.

В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ

С присущим ему усердием и деловитостью занимается Татищев уральскими делами и в старой и в новой столице. Он атакует Берг-коллегию все новыми и новыми требованиями. Докладывает о заводских нуждах самому императору, передает ему просьбы Геннина, вносит свои предложения. Петр слушает его внимательно — последнее время горное дело все чаще в центре его забот.

Вскоре Петр сделал Берг-коллегию самостоятельной, отделив от нее Коммерц-коллегию, он часто встречается с горным президентом Брюсом, отвечает на многочисленные и многословные письма Геннина, не оставляя без внимания ни одну его просьбу, одновременно подгоняя его. На что добросовестный генерал вынужден был ответить: «...хотя я в трудах разорвуся, однако заводы новые, железные и медные, не могу скорее строить» — и ссылаясь на недостаток «искусных людей в горном заводском деле»⁴⁸.

Татищев знал об этом не хуже Геннина и в феврале 1724 года во время поездки с царем на Олонецкие заводы и Марциальные воды предложил ему привлечь к освоению рудных богатств Урала новых промышленников.

Как позднее писал сам Татищев, царь «принял за благо» его проект.

Василий Никитич забрасывает сенат и Берг-коллегию и другими проектами: об организации почты, об «учинении фабрики инструментов» и других ремесел на Урале. Он едет на Олонецкие заводы и подбирает там мастеров для уральских рудников и заводов.

В конце мая 1724 года сенат принимает указ, который гласит, что по повелению императора «от артиллерии капитану Василию Татищеву быть советником от Берг-коллегии в Сибирском горном начальстве»⁴⁹.

Но на Урал Татищев на этот раз так и не вернулся. Он снова попадет туда только через десять лет, и хотя все это время он занимался самыми разными делами, но постоянно был связан с уральскими делами и заботами.

Почему же, несмотря на указ сената, Татищев не уехал на Урал?

Виноват в этом был сам император.

Как мы уже говорили, после суда Петр I приблизил к себе Татищева, увидев в нем человека, который хорошо понимал его замыслы и был способен их осуществлять. Поэтому и не отпустил вопреки сенатскому указу на Урал, а стал вводить в круг своих главных идей и начинаний.

О чем только не говорили они в последний год жизни императора! Об Академии наук и о промышленности, о монетном деле и торговле...

Одной из частых тем их разговоров была русская история и география. Петр сам интересовался прошлым России, заботился о собирании и сохранении исторических рукописей и памятников, мечтал увидеть «полную историю России». Он не раз расспрашивал Татищева о его

исторических изысканиях, и Василий Никитич обещал императору возобновить прерванные занятия. Он старательно собирал исторические документы и книги, намереваясь взять их с собой на Урал, где, как он говорил Петру, «могу удобнее сочинить, ибо прежде времени никто сведать и злостию превреждать не может».

Ученые занятия сблизили Татищева с архиепископом Феофаном Прокоповичем. Феофан тоже занимался историей, составил каталог великих князей и царей русских от Рюрика до Петра с кратким описанием их значительных дел. Перед Персидским походом Петр поручил Прокоповичу написать историю своего царствования. У архиепископа была богатейшая библиотека книг и рукописей.

Их сблизила не только история. Они оказались единомышленниками, и прежде всего по отношению к реформам Петра. Оба относились к самым искренним его помощникам.

Конечно, они во многом были и не схожи. Но их тянуло друг к другу и желание поспорить, возможность интеллектуального фехтования.

Деятельность Феофана Прокоповича выходила за церковные рамки. По поручению Петра он пишет не только богословские трактаты, но и светские сочинения, предисловия к разным переводным книгам, иллюстрирует указы царя примерами из истории.

Феофан чутко прислушивался к жизни и смело шел на изменение старых церковных догматов. Когда Татищев сообщил с Урала, что пленным шведам, которые работают на рудниках и заводах, не разрешают жениться на русских женщинах из-за разности веры, то Прокопович провел через синод закон, который разрешал брак православных с иноверцами, причем для его обоснования написал целый научный трактат с примерами из истории и с ссылками на учения апостолов и святых отцов.

Нередко бывая в доме архиепископа, Татищев ввязывался в светские и богословские дискуссии, высказывая

порой довольно смелые для того времени мысли. И. Голиков приводит эпизод, который, возможно, произошел в доме Феофана Татищева, «будучи в одной компании, говорил слишком вольно насчет преданий церковных, относя оное к вымыслам корыстного духовенства, причем касался в ироническом тоне и неких мест святого писания».

Петру немедленно донесли об этом, и он на следующий же день призвал Татищева к себе для объяснений. Вольнодумец, очевидно, не только не стал оправдываться, но начал защищать свое мнение, чем и вывел императора из себя. Схватив свою знаменитую дубинку, Петр стал колотить Татищева, приговаривая: «Не соблазняй верующих честных душ, не заводи вольнодумства, пагубного благоустройству. Не на тот конец старался я тебя выучить, чтоб ты был врагом общества и церкви!»

Петра не интересовала суть вольнодумных мыслей Татищева. Он упрекал его не за «ложность» взглядов, а за то, что «ослаблял струну, которая составляла гармонию всего тона», за то, что разрывает «цепь, все в устройстве содержащую», соблазняет своим вольнодумством других верующих.

И как ни парадоксально, эпизод с дубинкой лишний раз подтверждает хорошее отношение Петра к Татищеву. Далеко не каждый из окружения удостоивался царской дубинки — это был знак близости и доверия к наказуемому. В последние годы Петр все меньше наказывал лично, стараясь поднять авторитет своих судебных органов. И его дубинка опускалась только на того, кем он особенно дорожил. Поэтому побитые царем вспоминали об этом не только без горечи, но как об особой милости даже тогда, когда считали себя наказанными незаслуженно.

Среди своих научных и прочих занятий Татищев не забывал и об Урале. 7 сентября 1724 года он подает в Берг-коллегию новый план — «ведомость» о нуждах уральских заводов. Кроме всего прочего он предлагает пригласить на Каменный Пояс шведских горных мастеров и од-

новременно послать в Швецию «для обучения горным делам из русских молодых людей, знающих геометрию»⁵⁰.

Предложение Татищева заинтересовало Петра, а потому дело пошло быстро. Уже на следующий день — 8 сентября — Берг-коллегия обратилась в сенат, чтобы для посылки в Швецию выделили адмиралтейских и артиллерийских учеников.

1 октября появился указ Петра сенату о посылке в Швецию советника Берг-коллегии Татищева.

Казалось бы, при остром дефиците толковых работников целесообразнее было пристроить Татищева сразу к делу. Но у Петра был дальний прицел — подготовить из Татищева государственного деятеля, причем деятеля широкого профиля и высокого ранга, ибо цель поездки не просто «повышение квалификации узкого специалиста». Об этом говорит инструкция, данная самим Петром.

В Швеции Татищев должен был ознакомиться с горными промыслами, денежным делом и «прочими мануфактурами», т. е. со всей шведской промышленностью; нанять для работы в России шведских мастеров и устроить для обучения русских учеников; познакомиться с работой королевской Академии и библиотек. И, кроме того, были «секретные дела»: «смотреть и уведомиться о политическом состоянии, явных поступках и скрытых намерениях оного государства». Причем «сие его величества повеление было словесное», — писал потом Татищев⁵¹.

Подготовка к отъезду была, как всегда, обстоятельная. Татищев проводит смотр учеников артиллерийской и инженерной школ, посещает Морскую академию.

Петр через сенат торопит русского посланника в Швеции Михаила Бестужева, чтобы тот успел к приезду Татищева договориться обо всем со шведским правительством, требуя, чтобы посланник оказывал горному советнику всяческую помощь в порученной ему «комиссии».

Царь торопит и Татищева — среди «секретных дел» было и еще одно. Петр собирался выдать свою дочь Анну

Петровну за сына старшей сестры Карла XII — голштинского герцога Карла Фридриха, который мог претендовать на шведскую корону. И Татищев должен был содействовать этому, связавшись с голштинской партией в Швеции.

В начале ноября Татищев выехал из Петербурга, захватив с собой только одного ученика — своего родственника Андрея Татищева.

ШВЕДСКИЙ ВОЯЖ

Официальный Стокгольм встретил Татищева неприязненно. Правда, шведские министры, с которыми его познакомил Бестужев, были любезны и изысканны, много обещали, но он чувствовал, что все это пустые слова. Министры явно боялись (и не напрасно), что очень скоро Россия может вытеснить шведское железо с европейского рынка. Поэтому они под разными предлогами откладывали решение вопроса о мастерах и учениках.

Но Татищев не терял времени даром. С более искренним доброжелательством его встретили в королевской Академии. И в этом немало помог Филипп Страленберг, с которым Василий Никитич познакомился еще в Тобольске в 1721 году. Находясь в плену, Страленберг с увлечением занимался сибирской историей, этнографией и географией и теперь писал книгу о Сибири. Он ввел Татищева в круг шведских ученых — Генрика Бреннера, Эрика Бенцелиуса, Эрика Биорнера...

Уже через десять дней после приезда в Стокгольм Татищев сообщал секретарю царя Черкасову, что в Упсальской королевской библиотеке «множество российских древних гисторий и протчих полезных книг обретается». «И ежели б его величеству угодно явилось, — писал он дальше, — я надеюсь такова человека сыскать, который

бы оное собрал в порядок, ибо имею приятелей из знатнейших здешних профессоров и гисториков»⁵².

Удачи перемешивались с неудачами. К неприятностям со шведскими министрами добавилась еще и простуда. Василий Никитич занемог, хотя и не прекращал работы. Но среди хлопот, радостей и огорчений он совсем не представлял, какой страшный удар его ожидает.

И этим ударом была смерть Петра 28 января 1725 года.

Несмотря на то что было прервано всякое почтовое сообщение, известие о смерти русского императора молниеносно облетело шведскую столицу.

Для Татищева эта весть была потрясением. Горе подкосило его. Ослабленный болезнью, Татищев надолго слег в постель. Может быть, единственный раз за свою жизнь он забыл о делах. Несколько недель он совершенно ничего не делает, не шлет официальных донесений и не пишет частных писем. Все чувства, все мысли сосредоточены только на Петре. Ни о чем другом он не мог больше думать. Он сравнивает его со всеми смертными мира и никого не может поставить рядом с ним.

И теперь Петра нет. Не стало человека, с делами и планами которого Татищев связывал свою настоящую и будущую жизнь.

Скоро из Петербурга пришла весть: на престоле жена Петра — императрица Екатерина I.

«В прошлое воскресенье, — доносил Екатерине Бестужев, — собрався в церковь со всеми здесь вашего величества Российского народа подданными, присягу учинили... Только один берграт Татищев в церкви подписывать не хотел и сказал мне, что он дома подпишет, а чего ради он в церкви подписывать не хотел, как все другие подписались, ведать того не могу. На другой день послал я к нему канцеляриста Мальцева, дабы (дал) он мне ту присягу для отсылки в коллегию иностранных дел, на что он ему отвечал, что он сам ту присягу в Берг-коллегию от-

правит. Я сим его ответом не удовольствовался, сам к нему ездил и оной присяги от него требовал, который насилиу с великим трудом обещал оную ко мне прислать, а сам тогда мне оной не отдал. Однакож третьего дня ко мне ту присягу прислал...»⁵³

Пожалуй, это один из самых загадочных поступков в жизни Татищева. Что заставило его решиться на такой дерзкий и опасный шаг, как отказ подписать присягу новой императрице?

Считал ли он свое одобрение воцарению Екатерины — женщины, не имевшей ни государственного ума, ни образования, ни характера, — изменой заветам Петра? И потому, безрассудно отдавшись во власть чувств, не взвешивая последствий своего поведения, отказался подписать присягу.

Или это было лишь расчетливое выжидание: ведь Екатерина не имела законного права на престол, а потому ее окончательное воцарение в ближайшее время могло и не состояться?

В марте 1725 года, оправившись от нервного потрясения и болезни, Татищев начинает знакомиться с горнозаводской промышленностью Швеции. Он целиком уходит в работу, совершенно не оставляя себе времени для горестных переживаний. Он посещает серебряные копи, медные и железные рудники, горные заводы, денежные дворы, осматривает каналы, шлюзы, верфи, встречается и беседует с крупными шведскими инженерами. Снимает чертежи с машин, вникает в технологию, изучает денежную систему, анализирует экономическую и торговую политику шведского правительства⁵⁴.

Татищев проводит настоящее социологическое исследование. По его многочисленным донесениям, письмам, «дневниковым записям» можно составить разностороннюю и глубокую характеристику шведской экономики того времени.

С присущей ему тщательностью вникает он во все де-

тали, стараясь ничего не пропустить. В Фалуне его настойчиво отговаривали от посещения рудников, где были часты обвалы с жертвами. Но он, выдав «письмо обязательное» в том, что его обо всем предупредили, все-таки спустился в шахту.

В ходе изучения он сразу же вносит практические предложения: купить у шведского механика «водоливную машину» для откачки воды на кораблях, организовать в Екатеринбурге производство медных плат, послать в Швецию механика Андрея Нартова...

Осмотрев Швецию, Татищев пишет в Берг-коллегию и Екатерине, что Петр перед отъездом советовал ему «для лучшего понятия и разсуждения осмотреть также саксонские заводы», и просит послать его в Саксонию⁵⁵. Но эта просьба, как, впрочем, и другие, не находит поддержки у Екатерины. Императрице не до горного советника — у нее другие заботы. Да и стоит ли прислушиваться к предложениям и просьбам человека, который отказывался ей присягнуть. И когда ей докладывают, что «обретающийся» в Швеции Татищев предлагает купить машины «весьма государству полезные», заказать чертежи заводов и шахт, приобрести книги и рукописи по истории России... она на все отвечает отказом. Только один раз дает императрица положительный ответ — на предложение Татищева наградить шведскую поэтессу Софию Бреннер за «вирши» о короновании.

Неоднократные и настойчивые предложения и просьбы Татищева нигде не находят поддержки. Даже на своего главного покровителя Брюса, который был «к пользе российской во всех обстоятельствах ревнивый рачитель», не может он теперь опереться. После смерти Петра его бывшие соратники, уже не чувствуя твердой объединяющей их руки, перегрызались между собой в борьбе за власть. Не желая участвовать в этой грязной придворной возне, Брюс отошел от дел, подал в отставку и уединился в усадьбе, предавшись своим научным занятиям.

Тогда Татищев обращается к Геннину на Урал, но вскоре узнает, что генерал в Петербурге. Он шлет ему в столицу письмо за письмом, умоляя о помощи и поддержке. «Во вспоможении мне для пользы государственной,— пишет он начальнику уральских заводов,— великую на вас надежду имею и прошу, дабы вы изволили и в коллегии напечатать, чтоб не медлили решением на мои доношения»⁵⁶.

Но Геннин и хотел бы помочь, да сам оказался в затруднительном положении. После смерти Петра на него тоже не обращали внимания в Петербурге.

Поскольку сама императрица не придает почти никакого значения миссии Татищева в Швеции и не реагирует на его просьбы и предложения, то меняет свой тон и Берг-коллегия, тем более что в ней уже нет Брюса. Василию Никитичу не только не отвечают на многие его доношения (а если и отвечают, то не по существу), но и задерживают деньги на деловые расходы. Даже жалованье, причем гораздо меньшее, чем было обещано при Петре, высылается крайне неаккуратно. Поэтому жалобы на безденежье полны все письма Татищева.

А деньги нужны на многое. Невозможно нанять мастеров «без довольных подарков», так как на это нет официального разрешения шведского правительства.

Деньги нужны на покупку чертежей машин, от которых Татищев прямо-таки в восторге («дивиться миру надобно») и которые, он считает, обязательно нужно «к великой корысти государственной в России употребить». «Ежели б я имел деньги оные купить, воистинно для пользы отечества... не жалел бы всего имения положить». И он все-таки покупает некоторые чертежи, хотя коллегия и отказывается утвердить эти расходы, торопит его с завершением всех дел и возвращением в Петербург «для отправления на Сибирские заводы, понеже обретающегося ныне в Пермском Берг-амте советника Михаэлиса указом сенатским повелено взять в Петербург»⁵⁷.

Но Татищев еще не закончил многих дел. И не по своей вине. Шведские министры, боясь, что русские, «обучаясь здесь, весьма их железный торг не повредили», всячески мешали миссии Татищева. В найме мастеров в Россию было категорически отказано. Только одного гранильного мастера Рефа удалось Татищеву отправить в Екатеринбург. Разрешения на обучение русских учеников пришлось добиваться у самого шведского короля. Когда ученики прибыли в Стокгольм, Татищев сразу же занялся их устройством по заводам и рудникам. Он ездит по городам Швеции, заключает контракты с мастерами, устраивает ученикам жилье, следит за их учебой.

Еще и еще раз приходится удивляться широте интересов Татищева. Ему узки рамки инструкции, и он с жадностью набрасывается на все, что находит полезным для России. Несмотря на то что Берг-коллегия не раз выражала недовольство его занятиями «посторонними» делами, это не охлаждает его страсть и он усиленно продолжает свои научные занятия. Он общается со шведскими академиками, устанавливает через них связь с берлинским филологом Леонардом Фришем, при посещении Копенгагена «имел случай со многими учеными разговаривать и потребные книги достать».

По собственной инициативе он составляет примечания ко всем статьям о России в «Лексиконе...» историка Гибнера. В этих примечаниях, как отмечал Страленберг, «очень много интересного; в словаре не осталось ни одной статьи, в которую Татищев не внес бы свои исправления»⁵⁸.

Татищев знакомится в Стокгольме с известной шведской поэтессой Софьей Бреннер и уговаривает ее написать поэму о Петре I. Он составляет для нее «Краткое изъятие из великих дел Петра Великого...» и рассказывает ей об императоре.

Он исследует шведские архивы и библиотеки в поисках материалов по русской истории, неоднократно предлагает

Кабинету императрицы приобрести книги и рукописи, относящиеся к России.

Здесь в Стокгольме Татищев пишет и публикует на латинском языке свою статью о мамонтовых костях, обнаруженных им в Кунгурской пещере на Урале. Это единственный научный труд, увидевший свет при его жизни, да и то не на родине и не на родном языке.

Татищев сделал в Швеции все, что мог сделать энергичный и добросовестный человек на его месте. Теперь можно выезжать в Россию. Тем более что Берг-коллегия еще в августе потребовала его возвращения, а в сентябре об этом же был указ из Кабинета императрицы русскому посланнику в Швеции, который должен присматривать за учениками вместо горного советника.

Но для того чтобы выехать из Стокгольма, нужно расплатиться по контрактам с мастерами и отдать личные долги. А денег нет ни копейки. Получил же он их из Берг-коллегии после многих просьб только через несколько месяцев.

12 мая 1726 года Василий Никитич покинул Стокгольм.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Россия, наконец-то! Снова Петербург — символ великих дел преобразователя...

Но чем больше всматривался Василий Татищев в придворную жизнь, тем сильнее его разочарование — всюду видел он развал петровских начинаний... Хотя Екатерина и заявила о продолжении дел Петра, но ни у нее, ни у окружающих престол людей не хватало уже ни сил, ни энергии. Все как бы расслабилось после большой напряженной работы. Предоставив правление страной Меншикову, сама Екатерина мало занималась делами, проводя дни и ночи в развлечениях.

Сразу же после приезда Татищев засел за отчет о поездке. Он приводит в порядок свои заграничные записи, тщательно продумывает предложения: все ценное, что он увидел в Швеции, должно появиться и в России. Он составляет сразу два отчета — один для Берг-коллегии, с упором на горные дела, другой для императрицы.

Кроме деловых были и личные заботы. И не из легких. Нужно было выйти из денежного кризиса и вернуть массу долгов. Берг-коллегия не оплатила многие его расходы и не собиралась этого делать. Его обоснованное прошение о доплате ему 1577 рублей больше года ходило по инстанциям, дошло до сената, но так и осталось без резолюции. Денег ему не выплатили. И не только потому, что не хотели, но и потому, что не могли — казна была пуста: за последний год своего царствования Екатерина истратила на свои личные причуды в сто раз больше годового расхода двора при Петре.

На доходы от имения тоже нельзя было рассчитывать. Собственно, имения не было. И виновата в этом была его жена.

Отношения с Авдотьей Васильевной осложнились у Василия Никитича еще перед отъездом в Швецию. Очаровательная красавица оказалась легкомысленной и совершенно чуждой ему женщиной, которая не проявляла никакого интереса к его делам и занятиям. Она родила ему дочь и сына, но это не сблизило их. Наоборот, чем дальше, тем отчужденнее становились супруги.

Вернувшись из Швеции, он узнал, что жена пристрастилась к вину. Ходили сплетни о ее любовных приключениях. Во время его отсутствия она продала многое из имущества, даже вещи его брата Ивана, хранившиеся в доме. Мало того, она продала без разрешения и имение, то самое, которым Татищев гарантировал оплату своих долгов русскому посланнику в Швеции!

Нужно было искать какой-то выход. И Василий Никитич вспомнил о Демидовых, о том, что они за свой лож-

ный донос должны оплатить все его потери за время следствия. Сам старик Никита умер в 1725 году, вскоре после Петра. Главным наследником стал Акинфий, который считался теперь одним из самых богатых людей России.

Татищеву было обидно — и он работал не хуже Акинфия Демидова, а оказался почти нищим. Нет, будет справедливо, если заводчик заплатит ему за убытки, понесенные им от доноса.

Вспомним, что по приговору Высшего суда Татищев был полностью оправдан, а на Никиту Демидова за ложный донос наложили огромный штраф в 30 000 рублей. Петр I, однако, приказал отложить окончательное решение о наказании заводчика до приезда с Урала Геннина. Генерал, прибывший в Петербург уже после отъезда Татищева за границу, был снисходителен к Демидовым и высказал мнение, что хотя уральские магнаты при их богатстве и могут выплатить такой «великий» штраф, но государству выгоднее, если они используют эти деньги на строительство новых заводов. От штрафа Демидовых освободили, но они должны были заплатить Татищеву за напрасную обиду.

Вспомнив об этом, Татищев в июне 1726 года подает на имя императрицы прошение, напоминая о решении Высшего суда...

Акинфий Демидов — князю Меншикову. 15 февраля 1727 года:

«Писали ко мне Санкт-Петербургские прикащики мои, что берг-советник Василий Татищев подал ее и. в-ству челобитную, возбуждая паки то дело, которое было со отцем моим Никитою Демидовичем в сущей нелицемерной нашей правде как предстати судищу Христову, отвращая от народного разорения и заводского опустения: токмо до ныне оной Василий Татищев желает со мной помиритца и

просит две тысячи рублей; но однакож, хотя совесть меня к тому и понуждает, понеже как вашей высококняжей светлости известно, что стал я одинок и здешних заводов положить не на кова, к тому ж я весьма к таким делам не заобычен, и ежели мне за приказными делами бродить, то, конечно, во всех моих заводских промыслах учинитца остановка и разорение; ибо заводы, яко детище малое, непрестанного требуют к себе доброго надзирания, токмо я под таким сомнением остаюсь, понеже который приговор до мнения господина генерал-майора Геннина в Вышнем суде и учинен и в том того не показано, чтоб ему, Василью Татищеву, какую награду учинить, но однакож в сем на высокое вашей княжей светлости отеческое милосердие полагаюсь, как ты, государь, о сем соизволишь, хотя ему что и дать — быть так, что нам от них терпеть, ибо на них и работаю, которое за благодарением бога моего и терпети понуждаюсь...»⁵⁹

Акинфий Демидов — князю Меншикову. 18 апреля 1727 года:

«В благодарении содетеля моего бога остаюсь, что с господином советником Татищевым в происшедшем между нами деле состоялся мир...»⁶⁰

С Демидовым Татищев наконец-то помирился, но его отношения с Берг-коллегией оставляют желать много лучшего...

Как мы уже знаем, еще при Петре Татищев указом сената направлялся снова на Урал. Он связывал с Уралом свою дальнейшую судьбу и добросовестно готовился к этой поездке. И в Петербурге и в Швеции он постоянно работал для Урала, заботился о горной и заводской технике, готовил людей, обдумывал и вынашивал свою программу освоения и изучения края. Поездка Геннина считалась временной, и Татищев наметил свой план организации горного дела на Урале.

Но Геннин, забытый и обиженный в начале царствования Екатерины, вскоре был обласкан, щедро награжден

и указом от 3 июня 1725 года снова отправлен на Урал. Теперь Татищев должен был ехать туда не главным горным начальником, а помощником Геннина.

Такой вариант не устраивал Василия Никитича. И не только из-за самолюбия. Он отлично понимал, что при Геннине он не сможет действовать самостоятельно и осуществлять свою программу, быть же только исполнителем приказов он не хотел.

Поэтому Татищев меняет свои планы. Он обращается к императрице через кабинет-секретаря Черкасова с письмом, в котором вспоминает о намерении Петра определить его к межеванию земель в государстве и к «сочинению обстоятельной Российской географии с ландкартами», и просит поручить ему эту работу теперь. Как всегда, он аргументирует и обосновывает свое предложение, доказывая, что исполнение намерения Петра принесет стране огромную пользу и потому «за великое дело почитаемо быть может».

Овета на свое предложение Татищев не получил.

А вскоре Берг-коллегия вновь приговорила: Татищеву «без продолжения времени» подать отчет о деятельности в Швеции и отбыть в Екатеринбург к Геннину.

Но к Геннину он ехать не хочет, а потому подает императрице новый проект. Проект о сибирских дорогах. Он не отказывается ехать на Урал и в Сибирь, но ищет себе самостоятельную работу.

«Повелено мне,— обращается он в прошении к Екатерине,— быть в Сибири. И понеже я, быв в оной губернии чрез четыре года, имел известия о разных рудах и минералах, також и о различных потребных каменьях, а особливо в провинции Даурской находятся медные весьма прибыточные руды, яшма светло и темно зеленые, которых горы великие суть. Находят же тамо по рекам и городам много число зеленой яшмы с красными крапинами куски не малые и знатно негде от гор падают; також красных и белых сердоликов, цветных агатов, кальцедониев и других

тому подобных твердых и узорчатых каменьев, которые б не токмо потребность вашего императорского величества ко украшению строений и всего русского народа употребления удовольствовать могли, но из государства возможно бы довольное число продавать...»⁶¹

О камнях Василий Никитич нарочно так расписал — знал, жадна Екатерина к украшениям. Да и о новом источнике дохода для двора тоже не зря намекнул — авось ухватятся. Добавил и о других, более «прозаических» богатствах сибирских недр — свинце, селитре и прочем, но все это «богатство остается тщетно», ибо дороги к ним «весьма в худом состоянии».

И предлагает императрице советник Василий Татищев.

Первое. Через озеро Байкал, «где путь в Китай и из Китая», товары возят в дощаниках и лодках, и им из-за ветров частые остановки, да и товары часто гибнут. А «ежели в. и. в. повелите послать туда мастеров и матрозов, чтоб сделать четыре домшонта для перецожа товаров и два бота или буера для нужных ездаков, то с охотою всяк с товаров от пуда по десяти, с человека по 20 копеек платить будет.

Для покоя же проезжающих на обоих устьях построить хорошие гостиницы и отдать на откуп, то уповаемо, что положенное иждивение в год или два возвратится, а купечеству и всем проезжающим великие трудности и убытки отъимутся».

Второе. «На реке Ангаре множество порогов, а между оными Падун и Симанский труднейшие, ибо для широты очень мелки и каменя валючего много, для которого из судов выбирая, все товары обносят берегом, а суды порожние с трудом проводят...

А ежели повелено будет из тех порогов вредительнейшие каменя выбрать и в тех местах реку неколико по прямизне теми же каменьями съюзить, а береги очистя, сделать добрые дороги и поставить гостиницы, где також положенные расходы наградятся вскоре».

Третье. Расчистить и вымостить Маковский волок от Енисейска до реки Кети.

Четвертое. От Кети до Тобольска вместо «досчаников» пустить эверсы — суда лучшей конструкции.

Пятое. «Сухой путь из России в Сибирь и чрез всю Сибирь так далек, что вдвое или более нежели ему быть можно». Татищев предлагает две новые трассы сибирских дорог и «чтоб по дороге верст по двадцати расстоянием стоялые дворы добрые были построены, а жители к таким дорогам, ежели токмо позволено будет, населятся самохотно в скорости, понеже оные пустые места для изрядных положений многие сибирские места превосходят».

«Токмо для того дела,— заканчивает Татищев свое письмо к императрице,— надобно определить человека особного с добрыми помощники, дабы без обиды обывателей и надмеренных расходов по надлежащему сделали...»⁶².

Татищев не предлагает прямо себя «для того дела», но надеется, что если проект одобрят, то исполнителем его будет автор.

Нет, не искал себе легкой жизни Василий Татищев. Хотя, сказать по правде, и «хитрил» немного: не только дороги собирался строить он в Сибири, но и писать сибирскую географию, раз не разрешили специально ею заниматься. А работать за двоих, за троих ему не впервые...

Но и этот проект постигла судьба предыдущих — его оставили без внимания.

Пока же Татищев ждал рассмотрения проекта, продолжал отбиваться от Берг-коллегии. И составил даже целое доношение, в котором доказывал, почему свою поездку в Екатеринбург «за неспособну находит».

Но члены коллегии, раздраженные его строптивостью и отговорками, в отместку за его упрямство и неподчинение приговорили послать его вместо Екатеринбурга на Нерчинские серебряные заводы и просили сенат утвердить их решение.

Такого поворота Татищев не ожидал. Новое назначение походило на ссылку и означало крах всех его планов.

И он начинает действовать.

Он шлет челобитную императрице, где перечисляет все свои «услуги государству» и просит не посылать его на Нерчинские заводы, «а определить к иному делу».

Он пускает в ход все свои связи с влиятельными людьми.

И через три месяца добивается своего — именным указом Екатерины 14 февраля 1727 года его посылают на Московский монетный двор.

Это была не только милость — это была и необходимость. Русская монетная система переживала кризис. Страна была полна обесцененных денег. Монеты одного и того же достоинства имели разный вес и пробу. На монетных дворах кража золота, серебра и инструмента для делания денег приобрела громадные размеры. Ходила по рукам фальшивая монета. Не помогало даже страшное варварское наказание — фальшивомонетчикам задиwали горло расплавленным металлом и они умирали в ужаснейших мучениях.

Для наведения порядка на Монетном дворе как нельзя лучше подходил Татищев, основательно изучивший денежное дело в Швеции и совсем недавно подавший свой проект о «переделе» медных и серебряных денег.

По указу императрицы монетные дворы были изъяты из ведения Берг-коллегии и подчинены Кабинету ее величества, а все монетное дело переводилось из Петербурга на старые московские монетные дворы, куда и посылался Татищев вместе с сенатором Волковым.

Московские монетные дворы они застали «истинно как после неприятельского или пожарного разорения, все инструменты разбросаны без всякого призрения, многие под снегом на дворах находятся, деревянное гнило, а железное перепорчено...»⁶³.

Татищев набрасывается на новую работу со свойствен-

ной ему энергией. И хотя вначале ему показалось, что в порядок монетные дворы «и в год привести было бы нельзя», уже через месяц он докладывает, что почти все исправлено⁶⁴.

Он ведет дело по всем правилам тогдашней финансовой науки. Он намерен вывести русскую монету на одно из первых мест на мировом рынке. Разрабатывает свой проект русской денежной системы, предлагает изъять из обращения все старые медные деньги и переделать их по новому образцу, собрать все серебряные копейки и чеканить из серебра только гривенники и более крупную монету, ввести десятичную систему мер веса и многое другое...

Но Верховному Тайному Совету и императрице не до коренных реформ — дай бог кое-как заштопать прорехи. А потому многие проекты Татищева оседают в архивах...

В начале мая 1727 года умирает Екатерина I. Русский престол достался двенадцатилетнему Великому князю Петру Алексеевичу. С новой силой разгорается борьба придворных партий. В сентябре пал всемогущий Меншиков.

В сентябре же появился именной указ: Монетной конторой по-прежнему «ведать действительному статскому советнику и московскому губернатору Алексею Плещееву, статскому советнику Платону Мусину-Пушкину да Берг-коллегии советнику Василию Татищеву».

В феврале 1728 года в Москве, в Успенском соборе, короновали Петра II. При коронации раздавали новые награды и чины. В наградном списке среди шести новых статских чиновников мы находим и имя Татищева.

Но, несмотря на новый чин, положение его становится все более незавидным — приверженцы Петра I теперь не в чести, ибо на престоле сын царевича Алексея. Как в калейдоскопе меняются вокруг престола лица: одних возвращают из ссылки, на их место водворяют других. Двор

из Петербурга переезжает в старую столицу, где живет и работает Татищев.

Но при дворе он теперь не бывает. Он добросовестно исполняет обязанности члена Монетной конторы, а в остальное время... Остальное время посвящает русской истории, погружается в нее, стараясь не видеть того, что происходит вокруг, ибо ему больно видеть, как предаются заветы его обожаемого императора, а помочь он ничем не может. Он редко выходит из дома — разве что на Спаский мост к книжным лавкам, где можно купить новую книгу или старинную рукопись.

Рушится и семейная жизнь Татищева. 1 мая 1728 года он подает в синод прошение о разводе. Слухи о неверности жены подтвердились — теперь он имеет неопровержимые доказательства. Формального развода Татищев так и не получил, но отныне он навсегда порвал с женой.

От семейных дразг и придворных интриг Татищев отдыхал в кругу близких друзей. Впрочем, «отдыхал» не то слово. Он жил среди них духовно, находя понимание и поддержку.

Он снова близко сходитя с Феофаном Прокоповичем. В доме архиепископа Василий Никитич встречается с самыми талантливыми и просвещенными людьми тогдашней России. Здесь вели философские споры, обменивались новостями европейской науки, смеялись над невежеством, обсуждали политические события. Здесь Татищев слушал блестящие притчи и остроумные афоризмы Прокоповича, здесь звучали первые сатиры юного Антиоха Кантемира. Здесь родилась знаменитая «Ученая дружина», центром которой и стали Прокопович, Татищев, молодой Кантемир. Это был кружок первых русских просветителей, почитателей Петра I и продолжателей его дела, тех, кто теперь «не в авантаже обретались».

Князья Долгоруковы, облепившие трон Петра II, выселяли из Москвы всех, кто казался им опасен. Летом

1728 года они попытались отправить в ссылку и Василия Татищева, но что-то этому помешало.

Дальнейшие события занимают в жизни Василия Никитича весьма важное место, но мы вынуждены лишь упомянуть о них, чтобы поскорее добраться до новых горных дел Татищева. Особенно значительным был для него 1730 год... Год, когда умер от оспы император-подросток Петр II, когда началась было «затейка» верховников, пытавшихся прибрать власть в свои руки, когда самодержавная власть оказалась у племянницы Петра I Анны Иоанновны, когда Василий Татищев впервые за много лет бросился в самую гущу политической борьбы...

Впервые после смерти Петра I Татищеву показалось, что наступило время, когда он сможет по-настоящему вернуться и осуществить свои планы. Ведь он близок к императрице, ибо помогал ее воцарению и к тому же приходится ей каким-то далеким-далеким родственником. И он забрасывает ее своими проектами.

Прежде всего он разрабатывает программу просвещения страны. Его «Записка об учащихся и расходах на просвещение России...», подготовленная для императрицы, представляет обширный план организации системы образования. Он предлагает создать 200 семинарий, четыре гимназии, два университета, Академию ремесел из четырех отделений: архитектуры, живописи, скульптуры и механики, кадетский корпус для дворянства...

Новая императрица одобряет его проекты и даже намерена сделать Татищева президентом Академии ремесел...

А пока он занял должность главного судьи Монетной конторы и уже в ноябре 1730 года подает в сенат свое «Мнение» о новой системе выделки денег — целый историко-экономический трактат с примерами из истории монетного дела России и Европы, обстоятельными расчетами о весе, количестве и ценности новой монеты. Он на-

мерен «всю нехорошую монету в пользу государства не-медля в лучшую переделать».

Но время идет, и надежды Василия Татищева начинают рушиться. Его положение становится все более неопределенным. Анна Иоанновна забыла свои обещания, данные русскому дворянству. Иностранцы теперь стали хозяевами страны и саму Россию превратили в орудие для достижения личных целей. Все русские, казавшиеся опасными императрице и ее фавориту Бирону, изгонялись или уничтожались. Тайная канцелярия работала без устали: тысячи людей пропадали без следа в бескрайней Сибири. Даже из знатных русских фамилий оставляли в покое только тех, кто был покорен и неопасен.

Хотя Анна и восстановила сенат, но он уже не имел той силы, что при Петре I. Вся власть оказалась в руках Кабинета министров, созданного императрицей из трех человек. В его состав вошли дряхлый, уже тяготившийся делами граф Г. И. Головкин, князь А. М. Черкасский — знатный, но бездеятельный и нерешительный, и барон А. И. Остерман, практически решавший все дела.

Остерман отлично знал, что от него хотят. Он видел, что двор и окружающие его люди сменили рабочие петровские костюмы на роскошные одежды для балов и празднеств, что императрицу и ее фаворита прежде всего интересуют расходы на развлечения и уже во вторую очередь на разные дела. А потому он холодно отнесся к проектам Татищева. Осуществить его планы — значит, сократить расходы на содержание двора и тем вызвать недовольствие императрицы и Бирона. И Остерман не столько «по некоей ненависти удержал», как думал Татищев, его проект об Академии ремесел, сколько отказался от него по расчету. А поскольку Василий Никитич продолжал настаивать на своих проектах, то отношения между ними испортились.

Натянутыми, а затем враждебными становились взаимоотношения Татищева с его прямым начальником — гра-

фом Михаилом Григорьевичем Головкиным, сыном министра. Назначенный при Анне директором Монетной канцелярии, граф самим монетным делом почти не занимался.

Но главным врагом Татищева стал обер-камергер Эрнест-Иоганн Бирон, который управлял Россией, не имея даже русского подданства. Бирон ненавидел русских и не только не скрывал этого, но даже подчеркивал. Трепеща за свою власть и влияние на императрицу, он отдалял от нее всех, кто мог воздействовать на нее, кто был опасен осуществлению его эгоистических планов, всех, в ком видел и чувствовал ум, силу души и характера. Бирон окружал себя людьми, которые умели сносить его капризы и оскорбления, людьми покорными и податливыми.

Василий Татищев не был и не мог быть среди этих людей. Нет, внешне он старался быть любезным с Бироном и не оказывал пока открытого сопротивления. Но фаворит императрицы чувствовал в нем человека, который таит в себе внутреннее сопротивление, человека, в котором он не может быть уверен.

Татищев был чужд Бирону и его окружению. Этот труженик стал укором праздным придворным, он портил им настроение, он мешал их беззаботным увеселениям. Одним словом, он был не ко двору.

Татищев чувствовал, как все выше и крепче вырастала вокруг него стена отчуждения, что он все меньше и меньше находит поддержку и понимание при дворе и у людей, которые стоят у власти...

Граф Головкин, который вначале предоставлял ему полную свободу и самостоятельность в монетном деле, почему-то предложил заменить компанейщиков, подобранных Татищевым для вымена старых денег у населения и для поставки золота и серебра для монетных дворов. Граф пропускал мимо ушей аргументы Татищева в защиту выбранных компанейщиков и продолжал странно настаивать на своем требовании.

Отношения между Головкиным и Татищевым постепенно накаляются. Граф уже открыто враждебен: он придирается по каждому поводу, его намеки полны скрытых угроз. Татищев чувствует, что над его головой собираются тучи, но продолжает стоять на своем.

И гром грянул. Граф Головкин подает Бирону доклад о злоупотреблениях Татищева...

Его обвиняют в том, что он подобрал плохих компанейщиков, которые якобы не имеют в наличии полной суммы денег, необходимых для вымена старой монеты. Его обвиняют в том, что он берет от компанейщиков взятки.

Это обвинение во взятках чрезвычайно запутано и неясно. Только скрупулезный анализ второго следственного дела Татищева, хранящегося в ЦГАДА, может подтвердить или опровергнуть его виновность.

Сам же Татищев виноватым себя не считал. Если же на этот раз он виновен, то каким лицемером надо быть, давая своему сыну в «Духовной» следующие советы:

«По вступлении в дело наипаче всего храни правосудие во всех делах твоих, не лъстяся ни на какую собственную пользу, помня то, что хотящие богатиться впадают в беды и напасти и что несправедное создание прах есть. И подлинно оным, хотя на малое время возвеселишися, но совестию всегда будешь мучиться, и оное богатство весьма непрочное». И повторяет уже известный нам тезис: «Лихоимство есть неправо взятое, а мзда принадлежит делающему по должности, яко письмо святое повелевает: делающему отдаждь мзду без умаления и достоин делатель мзды своя»⁶⁵.

Настоящая причина обвинений Татищева во взятках совсем в другом. И вовсе не из-за злоупотреблений был он отстранен от дел Монетной конторы. Настораживает прежде всего такое обстоятельство: доклад о «злоупотреблениях» Татищева был подан обер-камергеру Бирону. Почему? Ведь формально Бирон не имел никакого отношения к делам Монетной конторы, но он увидел, что на вы-

мене денег и на поставке золота и серебра можно неплохо нажить, и предложил своих компанейщиков. Но Татищев мешал — поэтому его и убрали. Фаворит уже привык, что все услужливо выполняли его малейшие желания, а потому не потерпел сопротивления. Не приходится сомневаться в том, что донос на Татищева был подан по инициативе самого Бирона.

Таким образом, Татищев был отстранен от Монетной конторы, а подобранные им компанейщики заменены другими во главе с неким Дудоровым.

Татищев в опале. Он отстранен от всех дел. Его даже не привлекли в созданную для решения горных дел комиссию. Дальнейшее сопротивление Бирону грозит еще более тяжкой участью.

Императрица не может не уступить своему фавориту. Но она понимает, что уже нельзя так легко разбрасываться людьми, причем людьми дельными и преданными ей. И императрица делает «великодушный» жест — она прощает «вины» Татищева и назначает его вместо Генни-на на уральские заводы.

Если Татищев и в самом деле не виновен, то положение его глупейшее. Теперь уже нет никакой возможности оправдаться. Объявить о своей невиновности после того, как даровано всемилоостивейшее прощение? Такого оскорбления ему не простят.

Татищев болен. Очень болен. Болен и душевно и физически. «Нахожусь в крайней слабости и без надежды долго жизнь мою соблюсти...» — записывает он в «Духовной» в конце 1733-го. Уже много недель он прикован к постели и никуда не выходит из дома. Но, несмотря на изнурительную болезнь, много размышляет, читает, пишет. Именно в это время Василий Никитич создает свои главные философские трактаты — «Разговор о пользе наук и училищ» и «Духовная моему сыну».

Пожалуй, впервые испытывает он такую настойчивую потребность осмыслить жизненный путь, ибо «во младо-

сти человека воля властвует над умом, и по апостолу Павлу дух его побежден плотью, ею же он водим. Егдаже человек приближается к старости или скорби, болезни, беды, напасти и другие горести умирят плоть его; тогда освобождается дух от порабощения, очистится ум его и примет власть над волею; тогда познает неистово и пороки юности своей, и начнет прилежать о приобретении истинного добра...»⁶⁶

«Я хотя вижу себя не великой старости достигша,— пишет он,— ибо ныне мне еще сорок восьмой год минул, но в болезнях, скорбях, печалях и гонениях невинном и от злодеев сильных изчезе плоть моя, и вся крепость моя изше, яко скудель...»⁶⁷

Размышляя о своем жизненном опыте, он дает сыну советы, как нужно поступать в тех или иных случаях, чем руководствоваться в предстоящей жизни. Многие из этих советов покажутся нам сегодня наивными, а над некоторыми бесполезно подумать и в наше время.

СНОВА НА УРАЛЕ

Пройдет совсем немного времени, и изменится Василий Татищев.

Опять возродятся его энергия, его необычайное трудолюбие. И возродятся с новой силой. Он настолько увлечется новыми горными деяниями, что почти не останется времени для тягостных переживаний. Как будто бы не было тяжелой драмы, безнадёжного отчаяния, предсмертной слабости. Впрочем, события последних лет наложили отпечаток на характер Татищева и на его поведение. Именно после этой драмы мы иногда не узнаем его. Несправедливая опала напугала Василия Никитича, и этот страх будет иногда прорываться в его поступках, которые не могут не вызвать по крайней мере недоумения. Хотя это будет случаться не так уж часто. Но все-таки будет...

Императрица почему-то поспешила не только «простить» опального подданного, но и «обласкать» его. Она беседует с Татищевым о горных делах в своей спальней—месте, куда допускались только избранные, она обещает ему покровительство.

Анна Иоанновна не хочет иметь лишних врагов — их и так у нее достаточно. Тайная канцелярия слишком часто доносит о разговорах, в которых обсуждают ее незаконное положение на русском престоле. И перепуганная Анна Иоанновна с болезненной жестокостью приказывает рубить головы или ссылать в Сибирь каждого, у кого вырывается неосторожное слово или сомнение в законности ее власти.

Она старается найти опору среди русского дворянства.

Конечно, Татищева уже нельзя оставить в Москве или столице, близко около двора, — этого не простит фаворит, которого она тоже боится потерять. Пусть лучше этот неуютный, беспокойный человек работает на далеком Урале. Тем более что для посылки его туда есть хороший предлог. Старик Гённин вот уже несколько лет умоляет отпустить его с заводов⁶⁸.

И императрица объявила Кабинету министров, чтобы Татищева «немедленно и с полной мочью» отправили на Урал, и повелела президенту Комерц-коллегии барону Шафирову, в ведении которого находилось тогда горное дело, сочинить для нового горного командира инструкцию.

Как и следовало ожидать, инструкция Шафирова не удовлетворила Татищева. Он слишком хорошо помнит свое бессилие во время предыдущих поездок на Урал, а потому добивается, чтобы быть теперь не под началом Комерц-коллегии, а под властью Кабинета министров и самой императрицы. Анна Иоанновна не возражает.

Татищев сам составил инструкцию, в которой оговорил свои права на Урале. Не только больших прав доби-

вается он, но взваливает на себя множество разных обязанностей, которых не было в шафировской инструкции.

Он обязывает себя не только «иметь старание вновь руды золотые, серебряные и прочих металей и минералей искать», не только строить новые заводы, увеличить выпуск металла и улучшить его качество, но и заводить новые горные школы (конечно, он не мог забыть о них), впервые выработать Горный устав — обширное горное законодательство, и так далее и так далее⁶⁹...

Он взваливает на себя не только горные дела, но и административное устройство края, организацию правосудия, почты и еще и еще...

Кажется, что этого уже более чем достаточно. Но и это еще не все. Татищев обязуется составить новую карту Урала и Сибири, их географическое описание, наметает и другие научные проблемы...

Вместе с подобранными им помощниками (на этот раз их немало) пускается Татищев в путь. В третий раз едет Василий Никитич по знакомому маршруту: Москва — Нижний Новгород — Казань — Урал. Мало веселого встречает он на этом пути. Он видит разоренную страну, мародерски ограбленную специальными налоговыми командами. К тому же сказался неурожай прошлого 1733 года...

Еще в Москве Татищев видел, как по улицам бродили голодные крестьяне с детьми, ушедшие из своих нищих деревень. Каждое утро солдаты собирали на этих улицах трупы умерших от голода...

Из Нижнего Новгорода Василий Никитич отправил министру Остерману письмо:

«Хотя вашему письму, мною, небезызвестно уже, в каком худом состоянии здешние уезды находятся, однако ж и я, что видел и слышал, то дерзаю донести.

От Москвы до Муром жита в полях как озимые, так

и яровые средние, и более надеяться можно, что невеликий недород будет, кроме того, что мало сеяно. А от Муroma до Нижнего я ни одного поля (где мне видеть случилось) не видел, чтоб все посеяно, а более таких, что наполовину и меньше рожью засеяно. Токмо и те посеянные редко которые за среднюю почестью может, но большая часть и семян не даст... Ныне многие к предбудущему севу земель не пашут... Сказывают, что крестьяне очень бегут, а куда, не знают...

Я, видя, что здесь и в других городах рожь и мука не в великой цене, удивлялся, что наперед сего гораздо дороже было, однакож такой скудости не было. Но слышу и можно разсудить, что оное от великой скудости в деньгах. И когда по городам спрашивал и уведомлялся, от чего такая скудость, то увидел, что купечество везде так ослабло, что, почитай, торгу никакого не имеет и крестьянских товаров ни за что не покупают, потому что, почитай, на всем купечестве великая недоимка показана, двory их и пожитки описаны...

Я ездил на Макарьевскую ярмарку и видел оную весьма перед прежним малу, чего ради многие купцы в накладе товары свои продать готовы, да купить некому...»⁷⁰

* * *

5 сентября 1734 года горный командир прибыл на Егошихинский завод, рожденный десять лет назад по его замыслу.

На бойком месте поставили Егошиху. Теперь здесь останавливаются караваны, идущие с солью, хлебом, металлом, купеческие обозы и суда. Здесь Россия встречается с Уралом. Через Егошиху же ведет и хорошо наезженная дорога — из России на Кунгур, а затем на большой Сибирский тракт. На Егошихе удобно переваливать на воду товары, привезенные сухим путем, и наоборот. Людно, оживленно теперь в Егошихинской слободе.

Окреп за прошедшие годы и Егошихинский медный завод.

Но Татищев уже смóтрит вперед, в будущее этого горного городка. Вскоре он переведет сюда из Соликамска Пермское горное начальство, ибо вокруг Егошихи появились уже другие заводы: Суксунский, Юговский, Пыскорский, Висимский, Курашимский... Откроет горную школу, заведет почтовых лошадей, госпиталь, гостинный двор, прикажет построить рядом еще один медеплавильный завод — будущую Мотовилиху. А через несколько десятилетий Егошихинский завод признают удобным «для учреждения в нем губернского города» и назовут его Пермью.

В Екатеринбург, где его нетерпеливо дожидается Геннин, Татищев пока не спешит — сначала надо посмотреть Урал своими глазами. Уже давно складывался в его голове план нового освоения этого края. Он вынашивал этот план вместе с императором Петром I и потом в Швеции, бывая на тамошних рудниках и заводах, все лучшее примеривал к Каменному Поясу... И вот теперь настала пора воплощения замыслов. А для этого нужно увидеть все самому и действовать со знанием дела, все взвесив и рассчитав.

В Татищеве сочетаются и расчетливость и оперативность. Он не любит ничего делать, не продумав, но не любит и откладывать в долгий ящик, он умеет быстро принимать решение и сразу же браться за его осуществление. А ведь уже нет молодости, прежней ловкости, силы и выносливости. Он уже не розовощекий капитан: исчезла округлость его породистого лица и впали щеки, стало тело от болезней. Ему еще нет и пятидесяти, но уже сказывается постоянное нервное и физическое напряжение многих лет. Он, проповедующий благоразумный образ жизни, практически никогда не щадил себя, всегда выкладывался полностью, не оставляя сил про запас.

И, кроме того, он болен, болен почти постоянно, однако не позволяет себе расслабиться...

После Егошихи он поднимается вверх по Каме, осматривает Пыскорские заводы, а также медные заводы Строгановых и Турчанинова, выбирает места для новых заводов. «Токмо я с великим трудом ходил сам в некоторые копи, а всё за тогдашнюю мою слабостию и великою трудностию», — сообщал Василий Никитич в одном из своих писем...

1 октября 1734 года Татищев приехал в Екатеринбург. За его отсутствие город возмужал, ему уже тесно в крепостных стенах, слободы вылезли за их пределы, стройными рядами аккуратных домиков разбежались по берегам пруда и реки Исети. Многого и не узнать. Блестит белой жемчужной шатер Екатерининской церкви, Московские крепостные ворота отделаны «архитектурою по эмблемам», на западной стороне расположились торговые ряды. Дымят домны, размеренно крутятся огромные водяные колеса, стучат молотовые...

Надо отдать должное генералу Геннину — Екатеринбург являлся для него предметом особых забот.

Василию Никитичу была приятна встреча со своим главным уральским детищем. Теперь воочию увидел он претворение своих замыслов, выношенных в январские ночи 1721 года на Уктусе. Многие строения заложены по его чертежам и под его руководством весной и летом 1723 года. Да и то, что появилось после его отъезда, тоже создано не без его участия. Многие машины на фабриках сооружены по присланным им шведским чертежам, Платный двор и гранильная мастерская появились благодаря его идеям и заботам.

Неплохо потрудились старик Геннин. И все-таки Татищев был недоволен. Объезжая прикамские заводы, он увидел много прорех и небрежностей, которые возмутили его...

Геннин торопился, старался как можно быстрее сдать дела новому хозяину и вырваться с надоевшего ему Урала. Он старчески хвастал, ждал похвал, но Татищев был

сдержан на восторги. Конечно, генерал сильно двинул горное дело — настроил новых заводов, завел машины... Но сколько недоделано или сделано на его, татищевский, взгляд плохо. К тому же Геннин совершенно запустил управление и учет.

Больше всего, пожалуй, Татищева возмутило то, что Геннин пытался скрыть следы своих огрехов. «О щетах вижу,— писал Василий Никитич Остерману,— что великие были плутни и для того здесь, получа известие о моем прибытии, многие прежние и непорядком дел (документы) сослали в коллегию, где их, чаю, разобрать не могут».

Эта махинация Геннина, окончательно запутавшая всю горную документацию, так разозлила нового командира, что они поссорились... Поручив принимать дела у генерала своему помощнику советнику Андрею Хрущеву, не прожив и десяти дней в Екатеринбурге, уехал на заводы, расположенные по восточному склону Уральских гор.

Объезжая знакомые ранее места, Василий Никитич радовался переменам. Оживленнее стал Каменный Пояс, многолюднее. Со всех концов России стягивался сюда народ, хотя часто и не по своей воле. Рудознатоцы отыскивали новые рудные кладовые. В диких, прежде пустынных местах уже тянуло дымом и гарью от домен и медеплавильных печей. Одиннадцать казенных заводов поднялось на Урале, да демидовских насчитывалось десятка полтора. Появились новые горнопромышленники — Турчаниновы, Осокины, Тряпицыны.

Промышленным краем стал Урал. Многим его заводам завидовала сама Европа... Реки покрылись пристанями, от которых плыли в Россию и европейские страны караваны коломенок, груженные дарами уральских недр...

Много уже сделано на Урале, но можно сделать еще больше. Поездка по заводам взволновала Татищева. Богатый край — есть где размахнуться по-настоящему.

Надо только навести порядок. Между заводчиками бесконечные конфликты и споры, которые отнимают много времени и сил. Нужны специальные горные законы. Давно уже вынашивал Татищев свой Горный устав и теперь, заново знакомясь с уральским заводским делом, окончательно завершал его.

В этом уставе Татищев проявляется не только как горный деятель, но и как политик и философ. Он по-петровски смотрит на государство, как на магическую силу, организующую все. Татищева коробили демидовские методы хозяйничания на Урале, которые хотя и давали быстрые результаты, но часто вредили общим интересам казны и других заводчиков. А потому он считал, что государство должно контролировать и жестко регламентировать все действия частных промышленников. Но в то же время и помогать им...

Итак, все, в том числе и горное дело, управляется, по Татищеву, сверху, но для того чтобы избежать ошибок, нужна и коллегиальность — это тоже одна из петровских заповедей. Поэтому, открывая 12 декабря 1734 года в Екатеринбурге совещание промышленников для обсуждения Горного устава, горный командир в своей вступительной речи провозгласил:

«Всяк имеет волю свое мнение объявить, колико ему Бог в том знание уделил, и при том остаться, доколе или тот или другой, познав лучшую истину, первое переменить; я же вам всем по моей должности и по крайнему разумению служить и моим советом помогать желаю...»⁷¹

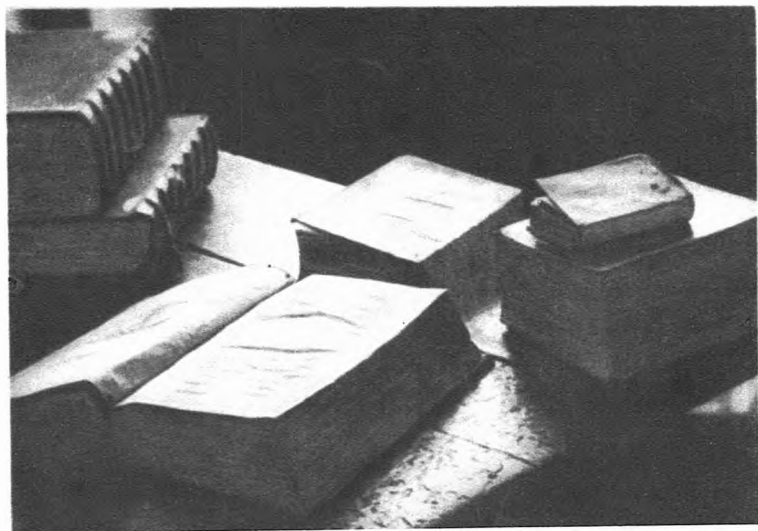
Обсуждение Горного устава затянулось на несколько месяцев.

Татищев же не теряя времени взялся за осуществление своего плана: сорок новых заводов собирался поставить он на Каменном Поясе...

И Урал, словно идя навстречу его желаниям, раскрыл перед ним одно из самых великих своих сокровищ...



Петр I. Гравюра



*Библиотека В. Н. Татищева.
Свердловский областной краеведческий музей*



*Одна из книг с автографом В. Н. Татищева.
Печать горного начальника Уральских и Сибирских заводов*



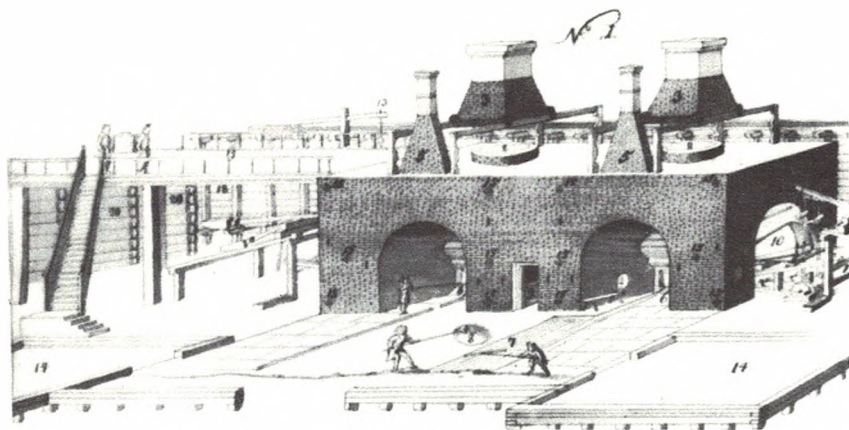
В. Н. Татищев



*Президент Берг-коллегии
Я. В. Брюс.
Гравюра*



*В. И. Геннин.
Гравюра*



№ 1. Здание Екатеринбургской городской думы. Здание это построено из кирпича и имеет три этажа. В первом этаже находятся комнаты для заседаний. Во втором этаже находятся комнаты для заседаний. В третьем этаже находятся комнаты для заседаний.

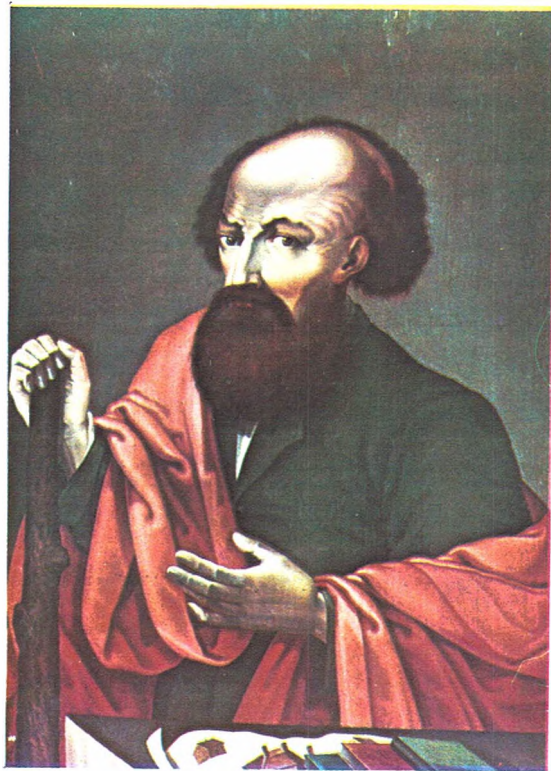
№ 2. Здание Екатеринбургской городской думы. Здание это построено из кирпича и имеет три этажа. В первом этаже находятся комнаты для заседаний. Во втором этаже находятся комнаты для заседаний. В третьем этаже находятся комнаты для заседаний.

№ 3. Здание Екатеринбургской городской думы. Здание это построено из кирпича и имеет три этажа. В первом этаже находятся комнаты для заседаний. Во втором этаже находятся комнаты для заседаний. В третьем этаже находятся комнаты для заседаний.

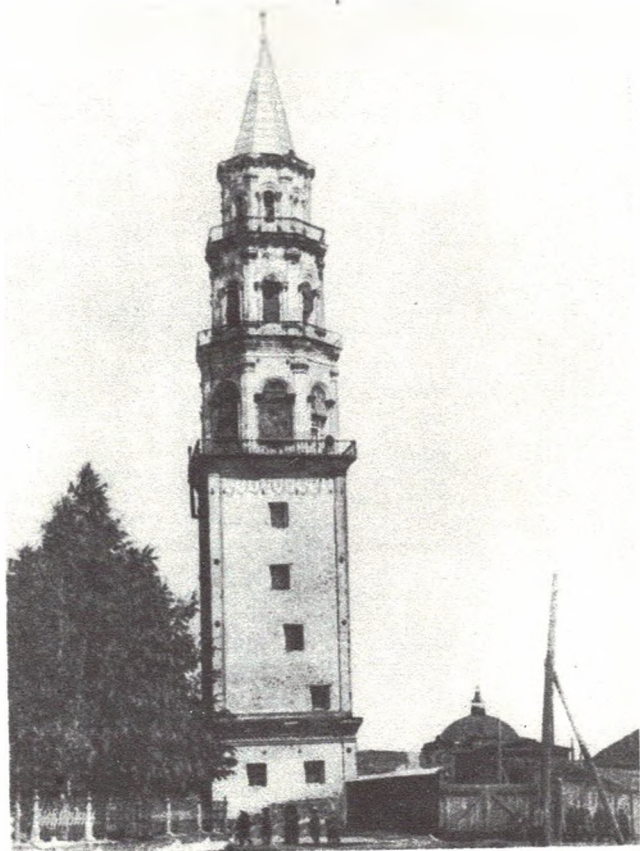
Екатеринбургская дума.
Гравюра



1. 1714 г. 10-го числа
 2. 1714 г. 10-го числа
 3. 1714 г. 10-го числа
 4. 1714 г. 10-го числа
 5. 1714 г. 10-го числа
 6. 1714 г. 10-го числа
 7. 1714 г. 10-го числа
 8. 1714 г. 10-го числа
 9. 1714 г. 10-го числа
 10. 1714 г. 10-го числа



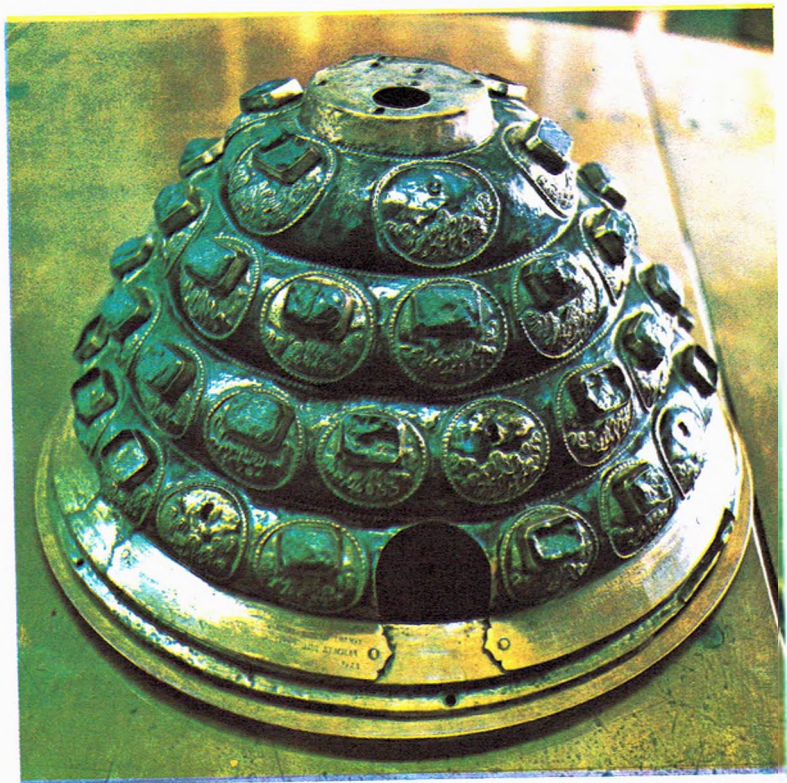
Никита Демидов.
 Портрет неизвестного художника.
 Нижнетагильский краеведческий музей



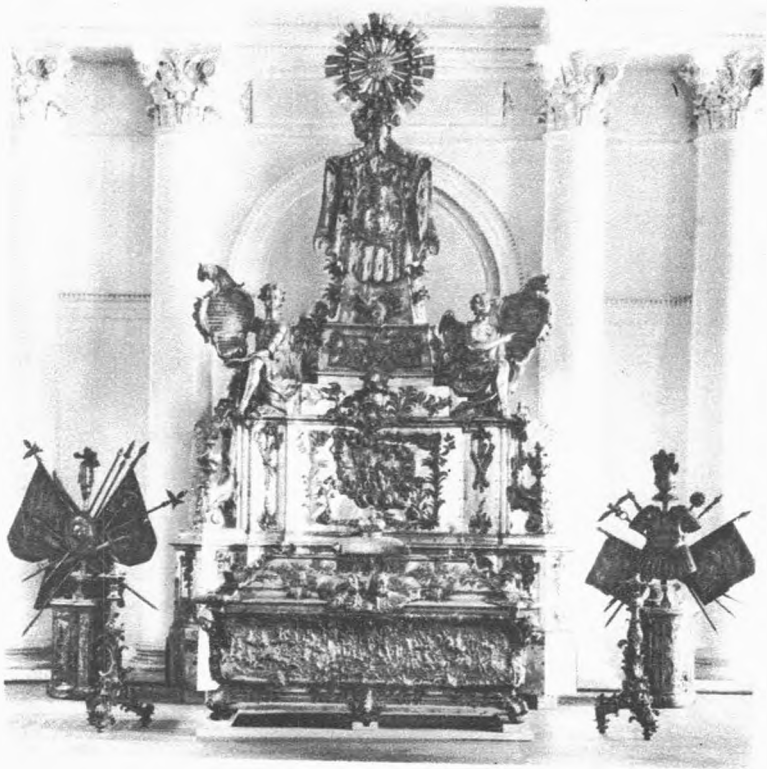
Невьянская башня



*Акинфий Демидов.
Портрет художника К. Гроота.
Нижнетагильский краеведческий музей*



*Рудная пирамида Акинфия Демидова.
Нижнетагильский краеведческий музей*



*Серебряная гробница Александра Невского.
Эрмитаж*



*Аврора Демидова. Портрет К. Брюллова.
Нижнетагильский краеведческий музей*



*Ваза из калканской яшмы.
Мастер Я. В. Коковин*



*Ваза из аушкульской яшмы.
Мастер Я. В. Коковин*



*Л. А. Перовский.
Гравюра*



«Изумруд Коковина»

ГОРА БЛАГОДАТЬ

Весной 1735 года послал горный командир шихтмейстера Сергея Ярцева осмотреть новый завод Никиты Никитича Демидова на речке Баранче. Вместе с шихтмейстером поехал и хозяйский приказчик Мосолов. Миновав Нижний Тагил, заночевали в деревне Батиной. Здесь-то и показал Ярцеву новокрещеный вогул Степан Чумпин куски магнитной руды и пояснил, что руды этой на реке Кушве целая гора. Шихтмейстер особого значения вогульской заявке не придавал и, минуя Екатеринбург, проехал с Баранчи на Шайтанский завод, который тоже находился под его контролем. Но случайно оказавшийся в Шайтанке советник Хрушев понял значение вогульской находки и приказал Ярцеву немедленно скакать в Екатеринбург. Загнав лошадь, шихтмейстер успел вовремя предстать перед горным командиром Татищевым. Едва оформили заявку на кушвинскую руду, как в горной канцелярии появился сын Никиты Демидова Василий и тоже заявил на ту же самую руду. Но месторождение уже принадлежало казне. Случилось это 14 мая 1735 года.

Магнитный железняк издавна считался наилучшей железной рудой, и владел ею пока на Урале один только Акинфий Демидов на реке Тагиле. Когда тагильскую руду из горы Высокой, или Магнитной, как ее тогда называли, впервые в конце предыдущего века испытывали в Амстердаме и выплавили опытное железо, то оценка голландских специалистов была такова: «...лучше того железа добротой и мягкостью быть невозможно». А когда в Екатеринбурге сделали пробную плавку кушвинской руды, то «железо явилось самое доброе, мягкое и жилистое!» Кроме всего прочего кушвинская руда оказалась и богатейшей — на три четверти из чистого железа.

Татищев тотчас же послал людей внимательнее осмотреть месторождение и поручил лесничему Куроедову прокладывать дороги через дикие леса да болота до же-

лезной горы. Самому тоже не терпелось поехать на реку Кушву, да сразу не пустила болезнь. Но как только появилась возможность, выехал на север с лекарем и со свитой горных инженеров... За Баранчой повозки ехали уже по свежевырубленной просеке, по только что наскоро вымощенной дороге — лесничий оказался расторопен...

8 сентября 1735 года — важный день для горного командира: он поднялся на железную гору, на века получившую мировую известность. Поднялся не сам. Сколько могли, везли Татищева в гору на коляске — болезнь отняла силы, своими ногами и по ровному месту с трудом проходил несколько шагов...

Вскоре горный командир писал в Петербург: «Сего сентября 5 числа ездил я... на реку Кушву, расстоянием отсюда (т. е. от Екатеринбурга.— И. Ш.) через Демидова заводы 182 версты, и, приехав на оную 8 числа, осматривал. Она гора есть так велика, что кругом с нее видеть верст по сту и более, а именно: за Верхотурьем горы Павдинские, которые по лежащим на них снегам приметны. Руды во оной горе не токмо наружной, которая из гор вверх столбом торчит, но кругом в длину более 200 сажен, поперек на полдень сажен на 60 раскапывали и обрели, что всюду лежит сливная одним камнем в глубину...»⁷²

Выбрал горный начальник для железной горы и имя. «Сия також для ея высоты, а паче для множества в ней богатой магнитной или гальяна железной руды славна, 1735-го, по обретении оной руды, Благодать в безсмертную славу ея императорского величества всероссийской Анны имянована, ибо по-еврейски Анна, по-русски Благодать едино есть».

Надеялся тем Татищев и императрице польстить, и выгоду приобрести: гору, названную высочайшим именем, и осваивать легче будет — министры откликнутся на любую просьбу горного командира... Но вокруг столь великого рудного сокровища сразу же разгорелись страсти —

каждому захотелось заполучить железную гору в свои руки.

Первым приехал к Татищеву Акинфий Демидов — просил отдать всю гору ему. За одно только согласие горного начальника (а по инструкции императрицы Татищев имел полное право распоряжаться судьбой любого месторождения по своему усмотрению) предлагал ему три тысячи рублей — пусть только не мешает, не препятствует, все формальности в Петербурге он, Демидов, уладит сам... Но не уступил, не отдал Татищев Акинфию Демидову гору Благодать. Расстались они снова врагами. Демидов уехал из Екатеринбурга крепко обиженный...

Удивил горного начальника своей настойчивостью и балахинец Осокин. Только один завод и успел еще построить на Урале, а уже просит отдать ему крупнейшее месторождение. Обещает даже поставлять железо дешевле, чем сам Акинфий Демидов. Намекает, что в столице возражать не будут, а за согласие горного командира он, Осокин, не пожалеет и десяти тысяч...

Все подобные предложения отверг Татищев. Отдать Благодать одному горнопромышленнику — значит ослабить рудную базу казенных заводов. Да, кроме того, столь великое месторождение быстро освоить не в силах даже могущественный Акинфий Демидов. Растянет строительство заводов на долгие годы: край ведь совсем дикий — ни людей, ни дорог.

А потому предложил Татищев осваивать гору Благодать компанией: и с помощью казны, и с помощью частных промышленников. Пригласил горный командир в Екатеринбург на совет Строгановых, братьев Демидовых, Осокина и выделил каждому часть железной горы.

Но за казной, конечно, оставил самую лучшую часть Благодати. Никогда еще не был Татищев так крут и энергичен в делах. Еще в сентябре, едва спустился с железной горы, сразу поехал с горными офицерами искать удобные места для заводов и приказал расчищать площадки, го-

товить припасы, свозить сюда работников... Четыре казенных завода задумал поставить горный командир на гороблагодатской руде.

Два из них начали строить уже весной 1736 года. Татищев следил за строительством нетерпеливо, с жестоким азартом, не щадя рабочих людей и горных мастеров и ломая своей командирской властью сопротивление упрямых заводчиков, которым повелевал оказывать новым заводам всяческую помощь.

ЖИВОЙ УЗЕЛ

Екатеринбург был предметом особых забот Василия Татищева. Вернувшись из поездки по уральским заводам в начале ноября 1734 года, новый горный командир сразу завел в Екатеринбурге первого в России, после Москвы и Петербурга, полицмейстера и составил для него обширнейшую инструкцию, определившую жизнь города почти на все восемнадцатое столетие⁷³.

Обязанности первого екатеринбургского полицмейстера поручика Семена Сикорского были обширны. Он отвечал не только за порядок в городе, но осуществлял также архитектурный и санитарный надзор. Вот несколько выдержек из татищевской инструкции.

«Надлежит смотреть, дабы все строение было регулярно построено по регламенту... також бы никакое строение за линию или из линии строилось, но чтоб улицы и переулки были равны и изрядны».

«Наипаче смотреть, чтоб берега от реки и протоков были твердо по указу укреплены и в крепости содержаны...».

«Надлежит содержать все улицы и переулки в чистоте, дабы проезд был беструден; и были б сухи, свободны и невозбранны, дабы как проезжие, так и жители никакой трудности не имели...».

«Шалашей разных (временных палаток.— *И. Ш.*) по проезжим улицам и у мостов близко не становить, а становить дале, дабы те шалашами в улицах не чинили утеснения и помешательства, также чтоб были в указанном месте и чтоб сделаны были хорошо и покрывались холстом, а рогожи и иного тому подобного отнюдь не было, но было б все чисто и хорошо».

Горный командир сделал немало, чтобы в Екатеринбурге стало «чисто и хорошо». Геннин оставил после себя деревянный город. Татищев начал строить каменные здания. При нем началось сооружение новой горной канцелярии «с верхними и нижними палатами», школы, церкви, аптеки, нового гостиного двора. Поскольку в крепости стало уже тесно и новый гостиный двор не уместился в ней, он приказал разобрать западную крепостную стену и перенести ее подальше.

Академик Иоганн Гмелин, посетивший Екатеринбург первый раз в декабре 1733 года, за несколько месяцев до приезда Татищева, и вторично в 1742 году, после его отъезда, имел возможность заметить изменения, которые произошли в городе.

«Недалеко... стоит теперь большое каменное здание канцелярии. Раньше канцелярия была деревянной. Напротив канцелярии находится гауптвахта и цейхгауз. До 1735 года здесь был железоделательный завод с двумя мачтовыми печами... Но в указанный год он был перенесен на Верхне-Исетский завод. Было тогда произведено и изменение в выплавке меди...

Со времени моего последнего пребывания город в западной части немного расширился и после разрушения вала вместо прямой линии по угловым бастионам сделан ряд палисадов с двумя выпуклыми углами таким образом, что теперь имеются три стороны: к юго-западу, западу и северо-западу, каждая из них в 126 саженей, с воротами посредине. В городе около 460 жилых домов, и вне крепостных укреплений и сверху по обоим берегам реки Исе-

ти еще имеются пригороды, где живут ссыльные, а частью свободные люди, которые с момента закладки города из-за пропитания своего здесь поселились и работают на заводах с поденною оплатой. В конце верхнего пригорода на восточной стороне пруда построен большой дом для главнокомандующего с большим парком, откуда можно обозреть всю местность. В конце нижнего пригорода на восточном берегу Исети имеется госпиталь и аптекарский сад».

Сегодня на здании Свердловского областного краеведческого музея (на Комсомольской площади) мы видим мемориальную доску, которая гласит, что здесь находился загородный дом В. Н. Татищева. Место для летнего дома горного командира — главнокомандующего, как назвал его Гмелин, выбрано великолепное — на самом высоком холме у «Мельниковской батареи» городской крепости. С этого холма Татищеву открывалась вся панорама города, раскинувшегося на фоне синих отрогов гор, города нового для того времени типа, застроенного такими же прямоугольными кварталами, что и столичный Петербург. Холмистый рельеф даже домикам казарменного типа, поставленным в строгой геометрии, придавал особую живописную прелесть.

Заводским цехам и фабрикам уже тесно около плотины. Горный командир повелел убрать домны — для них уже не хватало леса, да к тому же от огненной работы в городе участились пожары. Новые домны поставили на Верх-Исетском заводе. А часть медеплавильных печей Татищев перевел на Полевской завод. Зато в 1735 году построили из кирпича новый Монетный двор, расширили гранительную мастерскую.

Главное значение Екатеринбургу Татищев придавал как горной столице промышленного Урала, как административному центру, который связывал в единый узел разбросанные по всему Каменному Поясу заводы.

Василий Татищев явился первым организатором гор-

ного управления на Урале. И хотя его Горный устав так и не был утвержден императрицей, но им практически руководствовались в течение всего восемнадцатого века.

«Конечно, главные заботы,— писал Д. Н. Мамин-Сибиряк в своем очерке «Город Екатеринбург»,— сосредоточивались на горном управлении, и можно сказать без преувеличения, что на Урале Татищев создал все дело. До него не существовало никаких правил или определенной системы, а Татищеву пришлось начать постройку с фундамента, так что здесь он является уже в роли законодателя. Ему же приходилось быть и верховным судьей. Нужно было вообще нечеловеческую энергию, чтобы бороться с глухим противодействием тогдашних подъячих, с косневшим в невежестве духовенством, безграмотностью и всеобщим беспорядком»⁷⁴.

Именно Татищева можно назвать основателем совершенно оригинального горного царства на Урале, окончательное оформление которого произошло уже в первой половине девятнадцатого века.

Татищев решил закрепить работников на Урале. Он добился указа, разрешающего раскольникам селиться и жить при заводах. Молодых приписных крестьян уже не брали в рекруты, а ставили «в учении к горным делам и для охранения заводов». Чтобы привязать ссыльных и каторжников к заводам даже после окончания срока наказания, горный командир освобождал их на какое-то время от заводских работ «для домового строения» и специально выписывал для них «жонок», считая, что семейные «могут жить постояннее и от побегов тем удержаться».

Остро не хватало горных чиновников и специалистов. Назначение на Урал воспринималось как ссылка. Еще Геннин постоянно жаловался министрам, что «никто ехать сюда не хочет». Посланный ему в помощь ассессор Горчаков попросту сбежал с Урала, прямо заявив, что лучше он согласен быть рядовым на Руси, чем здесь лейтенантом.

Татищев добился сенатского указа «О сравнении горных чинов с полевыми офицерами...». Отныне горная служба, будучи сравнена как в правах, так и в жалованье с военной, получила большее уважение.

Татищев сделал горную власть главной на заводском Урале. Если Геннин жаловался, что он «на все стороны ссориться понужден, чтоб губернатор и воеводы помещательства не чинили», то при Татищеве, кроме горного начальства, никто не имел права распоряжаться на горно-заводской части Урала. Здесь появились свои горные законы, свой горный суд и свое войско. Именно при Татищеве складывается уральское горное царство, представляющее своеобразную смесь каторги и военной дисциплины.

«Мы можем сказать, что вообще все горное казенное дело имело строго военный характер...—писал Мамин-Сибиряк,—и Екатеринбург в течение 140 лет представлял собой центр этого беспрецедентного экономического явления, перед которым блекнут даже военные поселения Аракчеева. Недаром в уме простого русского человека понятие о всякой горной и заводской работе неразрывно соединялось с понятием о каторге—это и была каторга с нещадным «битьем батоги и плети» и со всяким другим «пристрастием»⁷⁵.

Татищев являлся сыном своего века, и в нем уживались самые разные крайности—и жестокость и жажда просвещения. Татищев понимал, что насилием многого не достигнешь. И недаром он был одним из основателей «Ученой дружины», которую современные ученые считают предтечей русского просветительства. «По методу своего мышления—прошу читателя заметить; по методу мышления, а не по отдельным взглядам,—писал еще Г. В. Плеханов,—Татищев являлся как бы главою многочисленного рода просветителей, очень долго игравшего влиятельную и плодотворную роль в нашей литературе»⁷⁶.

Как деятель, сформированный в петровское время, Татищев от практических дел стремился к научным знаниям,

а научные знания старался немедленно применить на практике. И не только стремился сам, но и приобщал к образованию и наукам других. Для того чтобы, считал горный командир, «от добрых мастеров как горные, так и заводские дела цвели от времени до времени к лутшему», нужна специальная подготовка, нужны особые горные школы. И устройством таких школ он занимался с удивительным упорством. В своем Горном уставе Татищев записал, что школы должны быть открыты не только при каждом казенном, но и частном заводе. В 1736 году он разработал «Учреждение, коим порядком учителя русских школ имеют поступать», которое служило основным руководством в течение многих лет. Из столицы на Урал горный командир приглашал учителей, выписывал учебники, книги, приборы. Кроме общеобразовательных предметов в уральских школах учили искусству рудознаний, горному делу, механике, строительству плотин для вододействующих цехов, камнерезному и гранильному искусству, токарному, столярному и другим ремеслам. «Екатеринбургская горнозаводская школа,—отмечала академик А. М. Панкратова,—была первым техническим училищем, где получили серьезную подготовку многие заводские мастеровые и техники, а также выросли способные организаторы горнозаводской промышленности... Из Екатеринбургской школы вышли такие известные изобретатели и техники, как гениальный русский теплотехник — создатель первой паровой машины И. И. Ползунов, замечательный конструктор гидросиловых двигателей XVIII века К. Д. Фролов и другие».

И здесь — на поприще просвещения — Татищев действовал петровскими методами и заставлял учиться чуть ли не дубинкой. За отказ отдать детей в школу — штраф. За каждый пропущенный учеником учебный день, за пропуски учеником школьных занятий «от лени» с родителей брали «за первый день одну, за другой две, за третий и больше по три копейки».

Так или иначе семена просвещения были посеяны на Урале, и, как заметил Мамин-Сибиряк, «одна уже просветительская миссия доставила бы Татищеву вечную память на Урале».

Уезжая в 1737 году из Екатеринбурга, Татищев подарил городу около тысячи книг из своей личной библиотеки. Но об этом особый разговор.

БИБЛИОТЕКА ТАТИЩЕВА

Долгое время биографы Татищева считали, что он — выпускник Артиллерийской школы. Пришли к этому чисто логически. Василий Никитич был, как бы мы сказали сегодня, высококвалифицированным артиллерийским офицером — значит, он учился в Артиллерийской школе, которая была под началом Я. В. Брюса — патрона и покровителя Татищева.

Однако довольно тщательные розыски в архивах историка Л. Д. Голендухина показали, что фамилия В. Н. Татищева не значится в списках ни одной из школ России того времени⁷⁷. Оказалось, что он вообще нигде не учился — ни в русских школах, ни в зарубежных университетах. И тем не менее Татищев стал не только одним из образованнейших людей России и Европы, но и крупнейшим ученым первой половины XVIII века...

Самообразование, книги — вот путь Татищева к знаниям, к науке.

Есть основания утверждать, что настоящей страстью к книгам его заразил Яков Брюс — сам крупный ученый и страстный библиофил, собравший одну из самых крупных для своего времени библиотек с очень хорошим подбором книг. Кстати, именно Брюсу принадлежит один из первых в России экслибрисов.

И мы чувствуем эту страсть к познанию по той жадности, с которой Татищев набрасывается на книги. Он поку-

пает их всюду. Пожалуй, это единственное, на что он не жалеет денег. Круг татищевских интересов раскрывает нам часть его библиотеки, хранящейся сейчас в Свердловском краеведческом музее. К сожалению, из тысячи книг, подаренных Татищевым Екатеринбургу, пока удалось обнаружить немногим более ста. На старинных фолиантах рукою Василия Никитича поставлено время и место их приобретения. Большинство книг по горной специальности. Есть книги по военному делу, фортификации, «инженерии». Имеются и любопытные. Здесь и «Искусство галантного разговора и правила хороших манер в обществе» и руководство «Как составлять письма и комплименты для персон высших и низших сословий». Много книг по философии, истории, политике, географии, о театре, о путешествиях...

С увлечением бросается Татищев в мир знаний. Труд, постоянная учеба — вот главные его занятия за границей.

В 1716 году поручик Татищев на время возвращается в Россию и кроме других служебных дел работает, по поручению Брюса, над книгой по машиностроению.

В 1717 году Татищев еще раз едет в Европу и опять привозит оттуда целый сундук книг для себя и для Брюса. Покупает он книги и на Аландских островах, куда сопровождает Брюса для переговоров со шведами.

После определения Петром I к «землемерию всего государства и сочинению обстоятельной Российской географии с ландкартами» Василий Никитич особенно целеустремленно продолжает собирать книги по географии. Отныне его главным научным занятием станут география и история, особенно история.

Татищев никогда не занимал научных должностей, не являлся членом Академии наук, годами был оторван от крупных центров культуры, но он был на голову выше многих академических ученых. Быть в курсе последних достижений науки ему в основном помогали книги. Татищев вел скитальческую жизнь и, для того чтобы системати-

чески работать как ученый, должен был постоянно иметь при себе нужные книги. Он собирал их тщательно и упорно, «колько удобность и достаток имения» это позволяли.

К 1737 году первая личная библиотека Татищева насчитывала более 1000 томов. Ее-то он и преподнес в дар своему любимому Екатеринбургу. Еще раньше, в 1735 году Василий Никитич создал при канцелярии горного правления «казенную горную библиотеку» и использовал каждую возможность для ее пополнения. Так, например, в том же 1735 году по его указу горный чиновник А. И. Порошин, ездивший в Москву и Петербург, закупил для горной библиотеки 555 книг на 390 рублей 85 копеек.

Пополнив Екатеринбургскую горную библиотеку своим личным собранием, Татищев и позднее продолжал о ней заботиться. Уже через два месяца после отъезда, в июле 1737 года, он писал в Екатеринбург: «...кунгурские земские старосты прислали мне в честь денег 989 рублей 47 коп. ...а понеже (я своим) жалованьем доволен, того ради оные употребить в пользу здешних школ, и купя на оные книги разных языков, також и моих собственных (книг) прибавя, отдать пастору в хранение...»

Через несколько месяцев Василий Никитич прислал в Екатеринбург из Самары еще 170 книг, среди них грамматики греческого, итальянского, французского, английского, немецкого, латинского языков, руководства по добыче золота, книги по черчению, а также труды Гибнера, Пуффендорфа, Майерберга...

Созданная Татищевым Екатеринбургская горная библиотека насчитывала более двух тысяч книг и уже в середине XVIII века «по праву считалась крупнейшей и лучшей горнозаводской библиотекой нашей страны». Недаром, когда в 1773 году в Петербурге создавалось горное училище, а при нем библиотека, то значительная часть книг для нее была затребована из Екатеринбурга. В 1775 году с той же целью в столицу из уральской горной библиотеки отправили еще 300 книг. Кроме того, книгами из

Екатеринбурга помогали созданным горным библиотекам Барнаула, Нерчинска и других сибирских городов. Вполне возможно, что среди этих книг были и татищевские.

Несмотря на подобные «разделы», Екатеринбургская библиотека продолжала расти и к середине XIX века высоко ценилась как «весьма редкая библиотека по вопросам горного дела как по количеству книг, так и по систематическому подбору их».

В начале 60-х годов прошлого столетия уральский историк и краевед Н. К. Чупин занялся тщательным разбором книг Екатеринбургской библиотеки и обнаружил около 120 книг с автографами Татищева. Но уже в 80-х годах след татищевских книг снова затерялся. По крайней мере Мамину-Сибиряку не удалось их найти, хотя он и считал, что они и «посейчас в Екатеринбурге, но у кого — мы не могли добраться».

Книги из личной библиотеки Татищева вновь были найдены в 1961 году при переезде научной библиотеки Свердловского краеведческого музея в другое здание краеведом В. Г. Федоровым. Обнаружено было более ста книг с автографами Татищева и около двухсот книг, которые предположительно могли ему принадлежать.

Все обнаруженные в музейной библиотеке книги были на иностранных языках: латинском, немецком, голландском... На русском языке оказалась только одна книга, да и та переводная. Это «Новейшие основания и практика артиллерии Эрнеста Брауна...» (Москва, 1709). Наверняка большая часть татищевской библиотеки была на русском языке, но она как более «ходовая» не уцелела или не найдена.

Какие же книги входили в пока неизвестную нам часть татищевского собрания? *

Попытаемся представить это хотя бы приблизительно.

* Когда рукопись уже находилась в производстве, в печати появилось сообщение, что в ЦГАДА найден список книг, подаренных Татищевым Екатеринбург.

Безусловно, были книги по горному делу и металлургии. Ведь горный командир был отлично знаком с практикой и теорией горнозаводского искусства.

Вспомним, что Татищев был артиллерийским офицером, хорошо знал фортификацию, интересовался литьем пушек и т. д. Вполне вероятно, что он купил сделанные по указу Петра I переводы книг австрийского офицера А. Боргсдорфа «Побеждающая крепость» и «Поверенные воинские правила, како неприятельские крепости силою брать» (обе вышли тремя изданиями); военного инженера Ф. Блонделя «Новая манера укрепления городов...», Г. Римплера «Римплерова манера о строении крепостей», де Камбре «Истинный способ укрепления городов, изданный от славного инженера Вобана» и другие...

Значительно больше, чем нам определенно известно, имел Татищев книг по географии. Установлено, что он имел до двадцати описаний путешествий по разным странам света и России.

Еще в 1725 году в письме кабинет-секретарю Черкасову, вспоминая о поручении Петра I заняться географическим описанием России, Василий Никитич сообщал: «...того ради прилежал я особливо до географии принадлежащие истории собрать, из которых уже большею частию купил»⁷⁸.

Без сомнения, Татищев приобрел переводы Я. В. Брюса: «Геометрия славянски землемерие...» Б. Пюркенштейна (было три издания) и сочинение Х. Гюйгенса «Книга мироздания, или мнение о небесноземных глобусах», излагающее учение Коперника. Наверняка купил и известную книгу Бернхарда Варения «*Jeographia generalis*» в переводе Ф. Поликарпова, учебник И. Гибнера «Земноводного круга краткое описание...» и некоторые другие переводные географические труды.

При Петре I были изданы и многие исторические сочинения: И. Гизель «Синописис...», С. Пуффендорф «Введение в историю Европейскую» (перевод Г. Бужинского),

труд Квинта Курция об Александре Македонском, П. Шафиров «Рассуждение... о Северной войне» и другие. Все эти книги были знакомы Татищеву. Можно предполагать, что большая часть книг из первой татищевской библиотеки была исторического содержания. Ведь в своей «Истории Российской» он делал ссылки на десятки, даже сотни древних и новых историков. И, кроме того, имел в своем распоряжении большое количество русских летописей и рукописных книг.

Татищев имел прочные связи с Академией наук, и особенно с ее библиотекарем Шумахером, с которым он вел многолетнюю переписку. Его письма к Шумахеру полны просьб о присылке книг, изданных Академией. «При сем прошу вас услужно,— писал Татищев библиотекарю в ноябре 1730 года,— чтоб по приложенной при сем росписи, купя мне книги, и прислали с кем возможно»⁷⁹.

В первой «росписи» академическим книгам, изданной в 1737 году, содержится перечень 49 изданных книг и 6 находящихся в печати. Почти все или по крайней мере большинство из них находились в библиотеке Татищева.

Начиная с 30-х годов Академия наук предпринимает издание иноязычных словарей-полиглотов и грамматики иностранных языков. Татищев сам занимался составлением словарей и, конечно, приобретал подобные новинки.

С 1728 года начал выходить первый в России научный журнал «Комментарии Санкт-Петербургской Академии наук» на языке науки того времени — латинском. На русском языке печатались периодические выпуски «Краткого описания Комментариев Академии наук» и научно-популярный журнал «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в «Ведомостях». Татищев был не только читателем, но и автором этих периодических изданий, а потому выписывал их для себя.

И вообще мимо Татищева наверняка не проходила ни одна книжная новинка, появляющаяся в то время в России.

Василий Никитич Татищев был не просто страстным собирателем и ценителем книг. Он придавал книгам исключительное значение в истории человечества и наметил свою схему развития всемирно-исторического процесса, содержание которого определялось, по его мнению, «всемирным умопросвещением». Татищев видел три способа «умопросвещения»: «первое... обретение письма», «другое... учение Христово», «третье — обретение тиснения книг». Последнее он считал важнейшим событием в истории человечества, ибо «по обретении тиснения вскорости множество полезных... книг не малым числом стали печатать, а чрез то оное всяк имея, способнее к распространению наук прилежать начали, многие училища и академии по разным местам устроены и чрез оные большой свет истинного разума открыли»⁸⁰.

Как передовой человек своего времени, Татищев сокрушался, что «книгопечатание» в России «единственно казенное, а вольное не допущено». Он считал, что, «если вольного книготиснения допущено не будет, никак книгам полезным и наукам нужным распространиться невозможно»⁸¹.

«СЛОВО И ДЕЛО»

Сегодня нам Татищев интересен как один из первых просветителей. Но это еще не весь Татищев. Он парадоксален в своих проявлениях, он противоречит сам себе. Он то намного опережает свое жестокое время, то выражает его далеко не лучшие черты...

«Царица пристрашного зраку», как называли современники Анну Иоанновну, была страшной не только внешне. Она поставила своего рода рекорд жестокости и возвела доносы и террор в систему. При ней казнили, били плетью, вырывали ноздри, отрубали руки, подвергали пытке огнем гораздо чаще, чем при ее предшественниках. Когда сам глава Тайной канцелярии Андрей Ива-

нович Ушаков, одно имя которого наводило ужас на Россию, пересматривая один из приговоров военного суда над офицерами, предложил заменить кнут, вырезание ноздрей и каторгу разжалованием в солдаты, то императрица, возмущившись мягкостью своего заплечных дел мастера, наложилась на приговоре свою резолюцию: «Учинить во всем по сентенции военного суда (т. е. бить кнутом и рвать ноздри). А представленный... резон для облегчения приговоренного им штрафа... не только неприличный, но и удивительный» ⁸².

И в этой атмосфере Василий Татищев совершал поступки, которые отнюдь не назовешь благородными.

Как-то в декабре 1734 года горный командир узнал о подозрительном поведении некоего Егора Столетова, сосланного в Нерчинск по делу князя Долгорукова. Собственно, вся вина Столетова состояла, кажется, в том, что он из-за сильного похмелья не пошел к заутрене в день тезоименитства Анны...

Татищев не замедлил донести об этом императрице, выражая готовность принять любые меры. В ответном письме Анна Иоанновна потребовала произвести розыск. И Татищев начал стараться. По его приказу Столетова в кандалах и под караулом доставили в Екатеринбург. Татищев начал розыск. Он сам присутствовал при пытках и допрашивал висящего на дыбе Столетова. И вскоре уже доносил императрице о его «винах», которые состояли в том, что Столетов «не токмо о вашем здравии молиться не хотел, но молился притворно», и в том, что он «желал и надеялся быть цесаревне (Елизавете Петровне.— И. Ш.) на престоле».

Татищев так перестарался в этом розыске, что даже получил выговор от Тайной канцелярии, которая упрекала его в том, что он занялся делом, в котором ему вступать «не надлежало».

Позднее, в марте 1738 года горный командир подписал свой, пожалуй, самый позорный указ.

20 апреля 1738 года на главную площадь Екатеринбурга согнали крещеных инородцев и зачитали им указ Татищева:

«По ея императорского величества и по определению его превосходительства тайного советника Василия Никитича Татищева велено тебя, татарина Тойгильду, за то, что ты, крестясь в веру греческого исповедования, принял паки махометанский закон и тем не только в богомерзкое преступление впал, но яко пес на свои блевотины возвратился и клятвенное свое обещание, данное при крещении, презрел, чем богу и закону его праведному учинил великое противление и ругательство,— на страх другим таковым, кои из махометанства приведены в христианскую веру, при собрании всех крещеных татар велено казнить-смертию — сжечь»⁸³.

Приговор Татищева был приведен в исполнение.

Татищева не оправдывает даже то, что татарин Тойгильды оказался, судя по архивным документам, просто мошёнником, который перешел в христианство, чтобы получить льготы и привилегии, а затем скрылся, не выполнив каких-то обязательств, и снова перешел в магометанство.

* * *

Казалось бы, положение Татищева на Урале прочно, как никогда. Сам он намерен остаться здесь надолго, чтобы осуществить свои грандиозные планы. Ведь теперь он обладает для этого достаточной властью. Грозный горный начальник уверенно поднимает казенные заводы и ставит под свой контроль частных горнопромышленников.

Такое вмешательство не могло понравиться предпринимателям. И первым, кто восстал против татищевской власти, был, конечно, Акинфий Демидов.

Как мы знаем, старый конфликт между Татищевым и Демидовым кончился миром. Больше того, их отношения

стали если не дружескими, то по крайней мере приятельскими. Перед отъездом на Урал Василий Никитич встречался с Акинфием Демидовым в Петербурге, советовался с ним о горных делах, обращался с разными личными просьбами, с которыми обращаются к хорошим знакомым, и уральский магнат охотно откликался на них.

И все-таки столкновение между горным командиром и горным магнатом было неизбежно. Татищев считал, что только государство имеет подлинную монополию на богатства земных недр, а потому должно иметь строгий контроль над частными предпринимателями. Акинфий же Демидов стремился к полной самостоятельности.

И едва могущественный горнозаводчик отбилсЯ от своих врагов в Петербурге и вернулся на Урал, он сразу же начал войну с горным командиром. Прежде всего Демидов постарался избавиться на своих заводах от шихтмейстеров, которых ввел горный командир для контроля. Демидов подключил свои связи и, очевидно, деньги, и 12 декабря 1735 года кабинет-министры наложили на его челобитной резолюцию: «Шихтмейстеров ныне отставить».

А 15 апреля 1736 года — еще один именной указ: императрица повелела Татищеву «за нападки» на Демидова заводами его «не ведать». Еще через несколько месяцев императрица вернула Акинфию Демидову Колываново-Воскресенские заводы, взятые Татищевым в казну.

Из-под власти горного командира были изъяты и горные заводы Строгановых. Татищев оскорблен. Его обидается даже в очень осторожном письме, которое он написал Остерману⁸⁴. Но Татищев не ведал, что впереди его ожидает худшее, что престижу горного командира будут нанесены еще более чувствительные удары и что его главным врагом вскоре станет сам Бирон.

Если судить по уральским письмам Татищева к фавориту императрицы, то отношения между ними вовсе не вызывают тревоги. Горный командир называет Бирона «милостивым покровителем» и «могущественным мило-

стивцем», систематически шлет поздравления и подарки. Но это только своего рода защитная реакция. Расточая льстивые слова на бумаге, он в глубине души ненавидит Бирона и всю немецкую камарилью, которая заполонила русский двор. И Бирон чувствует это и не верит ни одному слову Татищева. Но произнося слова мнимой преданности, участвуя в общем хоре льстецов, горный командир ни разу не поступится национальными интересами страны в угоду личным интересам фаворита. Он иногда даже слишком неосторожно изгоняет отовсюду немецкий дух.

Едва приехав на Урал, горный командир заменяет немецкие названия горных чинов русскими, объясняя это императрице тем, что мастеровые и работные люди не могут правильно произносить иностранные термины «и тем иногда наносят конфузию». Позднее же он пояснит, что делал это для того, «чтобы слава и честь отечества», труд его соотечественников «теми именами немецкими утеснены не были»⁸⁵.

Он переименовывает Сибирский обер-берг-амт в канцелярию главного правления сибирских и казанских заводов, а Екатеринбург не называет иначе как Екатеринбург...

И в то же время он шлет Бирону свои отчеты о горных делах. Это «приобщение» фаворита к горным делам оказалось роковым и для Татищева, и для Урала. Из донесений горного командира, а еще больше из намеренных пояснений Акинфия Демидова фаворит императрицы понял, что уральские рудники и заводы довольно прибыльное дело.

По инициативе Бирона в августе 1736 года учреждается так называемый Генерал-Берг-Директориум во главе с бароном Шембергом, приглашенным фаворитом из Саксонии. Теперь Татищев был лишен самостоятельности и должен был подчиняться Шембергу. После указов о Демидове и Строганове это был новый сильный удар по

власти горного начальника. Удар, оскорбивший Татищева настолько, что он целых полгода игнорировал Шемберга, по-прежнему посылая свои донесения в Кабинет министров. И только после еще одного специального указа, в котором горному командиру сделали выговор за неуважение Берг-Директориума, Василий Никитич вынужден, хотя бы внешне, признать власть ставленника Бирона...

ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

На Урале Татищев размахнулся широко. Но, как это уже не раз бывало в его жизни, судьба распорядилась по-своему и вновь изменила его планы.

10 мая 1737 года вышел указ императрицы, назначавший его главным командиром Оренбургской экспедиции вместо умершего в апреле И. К. Кириллова.

Оренбургская экспедиция была создана для колонизации юго-восточных окраин страны. Еще Петр I стремился открыть ворота в полуденную Азию и проникнуть в бухарские земли. При Анне Иоанновне этот интерес усилился. Колонизацией Средней Азии императрица пыталась компенсировать военные неудачи на западе и на юге. Внутрь среднеазиатских степей старались проникнуть как силой оружия, так и путем дипломатии и хозяйственного освоения. Было намечено заселить пустынные окраины, построить города и заводы, наладить торговые связи с ханствами, а через них с Индией.

Анна Иоанновна жалует Татищеву чин тайного советника, предлагает срочно выехать в Мензелинск, где должен был состояться генеральный совет по оренбургским и башкирским делам.

После неудач и унижений награда императрицы взбодрила Татищева, и новоиспеченный тайный советник начал действовать с новой энергией и рвением.

Несмотря на болезнь, которая последнее время держа-

ла его в постели, он приказал вынести себя на носилках в коляску, доехал до Чусовой и, даже не дожидаясь очередного каравана, поплыл до Камы на «лихих» лодках. Однако болезнь все-таки задержала его в пути...

Татищев настолько поспешно покинул Екатеринбург, что не оставил, как обычно, программы дальнейших действий. Пользуясь вынужденной задержкой, он составляет для советника Хрущева, на которого оставил горные дела, свои наставления. В конце июня Татищев писал кабинет-министрам: «...чтоб благоволили о заводах определить указом, ведать ли мне оные или оставить и более не вступаться...» ⁸⁶

Уральские заводы по-прежнему были оставлены в ведении Татищева.

14 июля Татищев прибыл наконец в Мензелинск, где держал совет с генералом Соймоновым, полковниками и уфимским воеводой Шемякиным. Прежде чем приступить к колонизационным делам, пришлось усмирять восставших башкир.

Еще при Иване Грозном башкиры, изнуренные внутренними родовыми раздорами и набегами киргиз-кайсаков, добровольно отдались под власть Московского царства. Время от времени, не выдержав непомерных поборов, они поднимали восстания. Постройка крепостей на их землях и новые бесчинства воевод привели башкир к бунту еще в 1735 году. В их усмирении участвовал и Татищев, помогая Кириллову и его помощнику Тевкелеву.

Весной 1737 года башкиры восстали снова. Теперь Петербург требовал уже от Татищева, чтобы «здешний домашний внутренний огонь был потушен как можно скорей и потушен таким образом, чтоб впредь не опасаться новых смут».

И Василий Татищев тушил «внутренний огонь». Одних «бунтовщиков» он подвергал смертной казни, других наказывал кнутом и батогами, третьих целыми семьями отправлял в Екатеринбург и держал в тюрьмах как за-

ложников, считая, что жестокие меры на пользу государству.

Но не менее сурово расправлялся Татищев и со своими подчиненными, впадавшими в беззаконие. Он добился смертной казни для капитана Житкова, который «с командой идучи... без всякой причины верных знатнейших татар, взяв, пытал и ограбил, и детей их и прочих тех деревень мужеск. и женск. пол побил и перевешал».

В Башкирии Татищев столкнулся с вопиющими злоупотреблениями и наглым грабежом башкирского населения со стороны воевод, подьячих и военных. Одним из первых его указов как командира Оренбургской экспедиции были «пункты», запрещающие под страхом строгого наказания брать взятки и грабить башкир. Здесь Татищев столкнулся с упорным сопротивлением уфимского воеводы Шемякина⁸⁷. Грабежи считались чуть ли не естественным правом русских. Татищев крепко поссорился с полковником Бердекевичем, который продавал лошадей, отобранных у башкир.

Вскоре ему пришлось столкнуться с уфимским воеводой Шемякиным. Произошло это так. Однажды разбойники напали на своих же соплеменников и разграбили одну из башкирских деревень. В погоню за грабителями был послан капитан Лукомский с командой. Воры были настигнуты, и угнанный скот отобран. Раздавать его хозяевам показалось капитану делом сложным, и он принял сомоново решение — оставил весь скот у себя, поделившись добычей и с уфимским воеводой.

Дело дошло до Татищева, и он назначил строгое расследование. Заодно раскрылись и другие преступления воеводы: обмен своих плохих лошадей на хороших казенных, взятки с правого и виноватого...

Следствие обнаружило, что вся уфимская канцелярия представляет настоящую шайку грабителей. Татищев отстранил Шемякина от должности и отдал его под суд.

Началось следствие и над полковником Бердекевичем, который обвинялся в казнокрадстве, грабеже башкир, утайке их пожитков и скота.

Но за воеводу и полковника неожиданно вступился член Оренбургской экспедиции мурза Тевкелев.

Расправляясь одной рукой с местными русскими властями и своими зарвавшимися помощниками, другой рукой Татищев жестоко карал бунтующих башкир.

Но Татищев вовсе не считал жестокость главным средством устройства башкирского края. Он предлагал новое административное деление и перестройку управления башкирами наподобие казачьих войск, признал полезным собирать ясак и другие пошлыны не русскими чиновниками (что вызывало ненависть к русским), а через башкирских старшин, предлагал проект размежевания земель, чтобы устранить ссоры между башкирами, выработал программу хозяйственного переустройства башкирского края и развития в нем не только скотоводства, но земледелия и промышленности. Он предложил меры, несколько облегчающие положение башкир, в частности разрешил голодающим башкирам покупать хлеб в русских слободах, «чтоб от голода и крайней нужды паки они на воровство не дерзнули».

Но все это требовало времени, а Петербург торопил. Татищев действовал более гибко, чем его предшественники. Энергию карателя он сочетал с дипломатической хитростью и просто житейской ловкостью. Прежде всего он старался расколоть единство восставших. Казни и обещания, угрозы и подарки — все шло в ход. Однако восстание не утихало.

9 мая 1738 года Татищев сообщал императрице: «О успокоении башкирцев паче всякого чаяния весь мой должный труд уничтожился, и они начали новые нападения чинить».

В ответ императрица прислала грозный указ с грубыми упреками.

Поход под Оренбург предстоял трудный. Уже почти год из Петербурга не присылали денег на жалованье солдатам и на провиант. Не хватало нужной амуниции и припасов. Среди офицеров и рядовых много больных, «чему причиною воздух и здешние серные воды». Сам Татищев тоже тяжело болен, а потому, несмотря даже на грозный указ, не смог выступить немедленно.

В середине июня 1738 года, в самую жаркую пору, Татищев с солдатами и целым штатом специалистов отправился из Самары к Оренбургу *. Через полтора месяца, в самом конце июля, добрались до места назначения и стали лагерем.

Осмотрев Оренбургскую крепость, заложенную Кирилловым, Татищев нашел ее в «ужасном состоянии». Он приказал укрепить стены и ров, но вместе с тем нашел, что место, выбранное его предшественником для города, неудачно: весной заливается водой, слишком удалено от других русских городов и окружено с одной стороны труднодоступными горами, с другой — бесплодной степью. А потому решил город перенести, «пока еще многого не построено». Для основания же нового Оренбурга Татищев вместе с инженер-майором Ратиславским и английским капитаном Эльтоном подыскал место близ урочища Красная Гора.

Пока же временную резиденцию Оренбургской экспедиции решил держать в Самаре, определив строить там гостинный двор, магазины и «другие публичные строения».

Строя новые крепости, Татищев попытался наладить торговлю со среднеазиатскими ханствами.

Он посылает в Ташкент большой купеческий караван. Возглавившему его поручику Миллеру Татищев составил наказ, в котором поручал разведать «о состоянии, силе и власти» ханов, посмотреть, какие русские товары можно

* Вскоре был переименован в Орскую крепость, а затем в город Орск.

там продавать. Кроме того, Татищев превратил караван и в научную экспедицию, послав с ним двух офицеров, которые должны были реки, озера, горы «примечать и записывать».

Караван благополучно миновал Среднюю и Меньшую орды, но был разбит и ограблен в Большой Орде.

* * *

В конце 1738 года Татищев сообщает кабинет-министрам об усмирении башкир и успехах Оренбургской экспедиции и просит разрешения приехать в Петербург. На этот раз (а он просился в столицу неоднократно) ему разрешили. Кроме решения разных вопросов по уральским и оренбургским делам его тянули в столицу и научные интересы.

Все последние годы он усердно и успешно занимался географией и историей. Просматривая его труды, написанные в эти годы, можно подумать, что ничем другим, кроме науки, он и не занимался... Причем эти научные занятия велись не кустарно, а на высшем для того времени уровне. По инициативе Татищева были впервые переведены на русский язык многие труды по истории и географии древних и современных иностранных авторов. Их переводы сделал Кириак Кондратович, которого Татищев привез из Петербурга и назначил учителем латинского языка в екатеринбургской школе.

Отправляясь на Урал, Татищев записал себе в инструкцию обязанность заниматься географическим описанием Сибири. Он добился, чтобы ему подчинили всех геодезистов, работающих на востоке страны.

В конце 1734 года он разработал специальную анкету и разослал ее по всем городам и острогам Сибири. Ответы на вопросы анкеты должны были дать обширные материалы по сибирской географии, истории, археологии, этнографии, лингвистике... Современные специалисты считают, что анкета Татищева — первый не только в русской, но и

в мировой науке оригинальный для того времени способ собирания научного материала. Он применил и другое не менее оригинальное средство: разослал по многим местам Сибири описания местных народов древними авторами и просил указать, какие изменения произошли с тех пор.

Занимаясь горными заводами и колонизацией, он почти закончил географическое описание Сибири и начал составлять географию всей России. Тогда же он написал свой первый вариант «Истории Российской».

Все эти годы он вел систематическую переписку с Академией наук, засыпая ее самыми разнообразными просьбами. Но он не только просил, но и много помогал Академии: посылал древние рукописи, археологические находки и другие «чрезвычайные курьезные вещи», найденные на Урале и в Сибири.

Он старался поощрить всех, кто занимался наукой или помогал ей. За многие ценные находки он награждал от имени Академии наук, за что и получил от нее выговор. В ответ он написал академикам, что если ему и впредь будут приносить «курьезные вещи», то хоть Академия наук награждения дать не изволит, но я, не пожалев своих денег, буду давать и в Академию оные сообщать».

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты сойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости.

Книга Экклезиаста

В конце зимы 1739 года Татищев появился в столице и сразу же занялся делами. Он засыпал министров, сенат, Академию наук своими доношениями, предложениями, проектами... Кабинет вынужден почти каждую неделю

обсуждать вопросы, поставленные горным начальником и командиром Оренбургской экспедиции. В первые месяцы 1739 года никакая другая фамилия не мелькает в протоколах заседаний Кабинета министров чаще, чем фамилия тайного советника Татищева. Его доношения поражают своей многогранностью. Горные дела и строительство городов, торговля и содержание казаков и недостатки губернских властей — десятки, сотни мелких и крупных проблем заботят его.

Во всех своих проектах он выступает одновременно и как администратор и как ученый. Его практическая деятельность и ученые занятия как бы переплетаются друг с другом.

Не добившись нужной поддержки Академии, он предлагает сенату проект организации картографических работ и создания географии России. Он старательно доказывает сенату, что географическое описание «необходимо нужно и всякому знать полезно». Хорошей же российской географии до сих пор нет.

«Я же, хотя нужных к тому наук, яко: физики, математики, а наипаче астрономии, також гистории и политики мало учился, но чрез долгое время прилежа о гистории русской, чрез непрестанные езды многие места видел и по делам, положенным на меня, многие известии в память собрал, а к тому, читая разных издателей географические описания, от охоты и ревности к пользе отечества возымел намерение российскую географию сочинить.

И хотя ведаю, что совсем совершенно сочинить мне неудобно, для того что мне искусства довольного и многих известий недостает, однакож имею надежду по мадой мере всех тех, которые на других языках о нас находятся, обстоятельнее и правильнее во многом сделать, и за предначинание, доколе кто лучшую и исправнейшую сочинит, может употребляться»⁸⁸.

Здесь Татищев явно оценивает себя ниже, чем есть на самом деле. Он больше заботится о том, чтобы была

у России своя хорошая география, чем о собственном авторстве. Он сообщает сенату, что, «если кроме меня кому оное определено будет, то я все имеющиеся у меня, чрез много лет собранные к тому известия, отдать готов».

Он передает Академии «Лексикон, сочиненный для приписывания иноязычных слов обретающихся в России народов» и просит, отпечатав тысячу экземпляров, разослать для дополнения новыми словами. Академия не дала ходу его полезному начинанию. Идея Татищева о создании многоязычного словаря энциклопедического характера была осуществлена только в конце XVIII века П. С. Палласом.

Татищев привез в Петербург свой главный труд — «Историю Российскую», которой занимался почти двадцать лет. Работу над русской историей можно без преувеличения назвать его научным подвигом. Именно ей он посвящал ночные часы в Екатеринбурге и Самаре, «ибо кроме ночи уединения» времени не было. Впрочем, иногда историческим занятиям «способствовала» тяжелая болезнь.

Татищев не нашел в Петербурге почти никого из своих старых друзей-единомышленников: Феофан Прокопович умер, Кантемир уже много лет находится за границей. «Ученая дружина» распалась.

Через своего бывшего помощника по уральским заводам советника Андрея Хрущева Татищев сближается с «кружком» Артемия Петровича Волынского.

Внешне преданный немцу-фавориту новый кабинет-министр Волынский становится главой русской партии, оскорбленной засилием иностранцев и недовольной существующим положением.

По вечерам «конфиденты» (так называли членов кружка) собираются в особняке Волынского на Мойке и в беседах, которые часто длятся далеко за полночь, обсуждают правительственные мероприятия, действия государственных лиц и самой императрицы. С «укоризной

настоящему» они вспоминают времена великого императора Петра I, высказывают свои мечты о будущем, вынашивают проекты государственных преобразований. Здесь не стесняясь давали выход ненависти к «немцам, перешедшим наш порог».

В круг «конфидентов» Волынского входили талантливейший архитектор Петр Еропкин, помощник Татищева на Урале советник Андрей Хрушев, генерал-майор Федор Соймонов, гвардейские офицеры из старинных русских фамилий...

Им, людям талантливым и образованным, Татищев читает свою «Историю Российскую». Его слушают с интересом, много спорят. Опыт истории помогает им осмысливать современность. И недаром Татищев называет участников вечеров у Волынского людьми «снискательными к истории русской».

Но если в Волынском Бирон еще не чувствует врага, то в Татищеве он разглядел его уже давно. Опять этот неугомонный человек встал поперек корыстолюбивых замыслов фаворита.

Мы помним, что богатства горы Благодать разожгли алчность Бирона и он, по выражению Татищева, «вознамерился оный государственный доход похитить». Поскольку сделать это прямо было не совсем удобно, то он решил действовать через подставное лицо. Им оказался балахнинский купец Осокин, который просил отдать ему гору Благодать. Горный командир, как мы помним, отказал. Но Осокин продолжал настаивать. В феврале 1738 года Татищев подал министрам доношение, где доказывал целесообразность передачи Благодати Осокину. Он по-прежнему предлагал разрабатывать гороблагодатские руды казной с привлечением частных промышленников. По его расчетам, уже через три года государство будет получать от гороблагодатских заводов по 50 тысяч рублей прибыли. Осокин же, убеждал он министров, растянет строительство на многие годы.

В крайнем случае, советовал он, если Кабинет, несмотря на все его доводы, все-таки решит передать Благодать в частные руки, то отдать полезнее не Осокину, а более опытному в заводском деле и более богатому Акинфию Демидову.

А через месяц, в марте 1738 года, Берг-Директориум вновь направил прошение Осокина на рассмотрение горного начальника. Раздраженный Татищев дерзко ответил: «Мню, что он, Осокин, или без ума будучи, или от кого другого нерассудного или безсовестного на то прельщен».

Понимал или не понимал Татищев, что подобными словами он наносит оскорбление Бирону? Скорее всего, понимал и все-таки решился дерзко ударить по рукам, тянувшимся к уральским богатствам. Татищев так и не признал власть Шемберга как высшей горной инстанции и не писал в Берг-Директориум, несмотря на выговоры.

В борьбе за Благодать горный начальник обратился за помощью к новому кабинет-министру Волюнскому и убедил его выступить в защиту гороблагодатских заводов, поскольку Остерман не поддержал его. Хитрый немец прекрасно понимал, что прав Татищев, что именно его точка зрения отражает государственные интересы, но не хотел идти против Бирона. Остерман даже временно отошел от участия в горных делах, предоставив Волюнскому докладывать императрице проект Татищева. Волюнский же, очевидно не зная о замыслах Бирона, был с докладом о горных делах у Анны и «за то от ее величества гнев принял». Досталось Волюнскому и от Бирона, который выразил ему свое крайнее неудовольствие.

Бирон начал действовать против горного начальника еще до его приезда в столицу и поручил старому врагу Татищева графу Михаилу Головкину найти людей, чем-либо недовольных горным упрямцем. 11 марта 1739 года Головкин писал Бирону и обвинял Татищева, во-первых, в «непорядках, нападках и взятках» и, во-вторых, что еще «не поставил на мере, где Оренбургу быть пристойно»⁸⁹.

Хотя сенат уже согласился с мнением Татищева о перенесении Оренбурга, но Бирона это не интересовало — ему важно было найти зацепку.

Разысканы были все, кто имел обиды на горного начальника и командира Оренбургской экспедиции. В недозволенных Татищевым недостатка не оказалось. Своим крутым и властным характером он успел нажить немало врагов. Доносы на Татищева посыпались один за другим. Жаловались бывший уфимский воевода Шемякин и полковник Бердекевич, отданные Татищевым под суд за служебные злоупотребления, жаловался купец Иноземцев, которого он наказал за срыв подрядов... Главным же обвинителем выступил полковник Тевкелев, помощник командира по Оренбургской экспедиции, с которым Татищев имел несколько конфликтов.

27 мая 1739 года Татищев был отстранен от дел и над ним была назначена следственная комиссия.

Членов следственной комиссии подбирал сам Бирон. Несмотря на явную пристрастность комиссии, она не смогла собрать сколько-нибудь убедительных доказательств виновности обвиняемого. Объяснения Татищева по каждому пункту обвинений были настолько убедительны, что комиссия не решалась вынести приговор. Бирон и министры торопили членов комиссии. Даже императрица запрашивала начальника Тайной канцелярии А. И. Ушакова о деле Татищева и приказала «репортовать» о том «немедленно». Однако следствие с перерывами продлилось еще около семи лет...

Находясь под домашним арестом, Василий Никитич был оторван от Волынского и его друзей, над которыми собралась гроза. Как это ни парадоксально, но именно следствие спасло Татищева от еще более ужасной участи. Попытка Волынского устранить Бирона кончилась для кабинет-министра трагически: он был арестован, обвинен в «злодейских преступлениях» и 17 июля 1740 года казнен вместе с П. М. Еропкиным и А. Ф. Хрущевым.

...А гора Благодать вместе с заводами была отдана в частное владение Шемберга, который не только не заплатил за них ни копейки, но даже получил солидную ссуду. За несколько лет «хозяйничания» на этих заводах Шемберг с Бироном положили в свой карман около 400 тысяч рублей казенных денег и довели Гороблагодатские заводы почти до полного разорения. Это был уникальный грабеж даже для периода «бироновщины». Авантюра Шемберга-Бирона значительно задержала развитие горнозаводского дела на Урале.

Дальнейшая жизнь Василия Татищева уже не связана ни с Уралом, ни с горными делами. Четыре года он был губернатором в Астрахани, а в конце 1745 года сослан в свою подмосковную усадьбу Болдино, где и прожил под надзором сенатских солдат до конца дней своих.

В Болдино Татищев завершил наконец свою «Историю Российскую». Тридцать лет посвятил он этому труду. Он начал его, перед тем как первый раз поехать на Урал. В 1739 году привез в Петербург почти полный свод древней русской истории, продолжал работать над ней в годы бироновской опалы и, может быть, еще усерднее, чем раньше, ибо был отрешен от всех дел. Он работал над «Историей» и в астраханские годы: к концу 1745 года у него была готова уже новая редакция. В Болдино он начинает работать уже над третьим, а может быть, над четвертым вариантом. Основная тема его писем к Шумахеру, Разумовскому, Теплову, Рычкову и другим людям, связанным с Академией и изучением русской истории, — работа над своей «Историей Российской».

О Татищеве как историке много спорили и спорят до сих пор. Но его место в русской историографии уже определено.

«Труд Татищева («История Российская». — И. Ш.) представлял в свое время выдающееся явление не только по обилию впервые собранных материалов, но и по философскому и политическому освещению излагаемых собы-

тий. Он сохранил значение до сих пор как ценнейший памятник историографии и культуры XVIII века. Впервые в русской историографии Татищев сделал попытку найти закономерности в развитии человеческого общества, обосновать причины возникновения государственной власти»⁹⁰.

И еще.

«Это был первый в России исторический труд в рамках дворянской идеологии, основанный не только на единой концепции, но и на широкой базе источников. В те времена попытка создать исторический труд такого масштаба и на таком документальном основании была настоящим подвигом»⁹¹.

«Соединение исторической теории с фактами действительности и есть рождение исторической науки. В России эта заслуга принадлежит Татищеву»⁹².

Такую оценку можно сделать, конечно, уже с определенной исторической дистанции. Сам же Татищев, работая над «Историей», был к себе достаточно критичен.

«Паче мудрый в моем сочинении может с избытком величайшие погрешности усмотреть, и, если бы во мне ревность к пользе, славе и чести отечеству тот страх не преодолевало, то б я, конечно, весь мой начатый труд должен был оставить и написанное истребить, но притом рассудя, что мудрый и благонравный малое мне полезное похвалит, великие пороки и погрешности исправит, а злых и на пререкание устремившихся никакая мудрость и польза от того удержат не могут, как тех прикладов с преизбытком видим»⁹³.

Занимается Татищев в изгнании и другими делами: подает в Академию наук свое «Мнение» о затмениях Солнца и Луны, проект «О учинении вольных типографий», предложения об исправлении русского алфавита и о «напечатании азбуки с фигурами и прописями», составляет почтовую карту России, работает над проектами экономического преобразования страны. В 1748 году он посылает графу

М. А. Веронцову «Представление о купечестве и ремеслах». Интересно объяснение причин, заставивших его взяться за создание этого проекта. «Сколько я... от великого монарха (Петра I.—И. Ш.) к научению и познанию способов к знанию економии государственной чрез многие годы приобрел, толику я, яко должный, прилежал... дабы тот данный мне талант приусугубленный явить, а не в землю и под спуд лениности и неблагодарности скрыть, но елико можно от плода того к пользе и чести государя и государства служащее в дар принести».

Василий Никитич Татищев умер 15 июля 1750 года, не успев завершить многое из того, что собирался сделать.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Прошлое не исчезает бесследно, оно прорастает в настоящем, хотя и не всегда само по себе. Прошлое влияет на нас, сегодняшних, также и с нашей помощью, благодаря нашей борьбе с беспощадным всепожирающим временем.

Мы создаем не только заводы и здания, машины и вещи — мы постоянно творим и самих себя, продолжаем совершенствоваться в себе человека. Познавая прошлое, мы так или иначе познаем самих себя, углубляем и обостряем в себе чувство Родины, учимся все более ценить творения рук и ума наших предков, возвращая тем самым уважение и к собственным деяниям, к современному труду. У прошлого надо уметь брать то полезное, что оно дает.

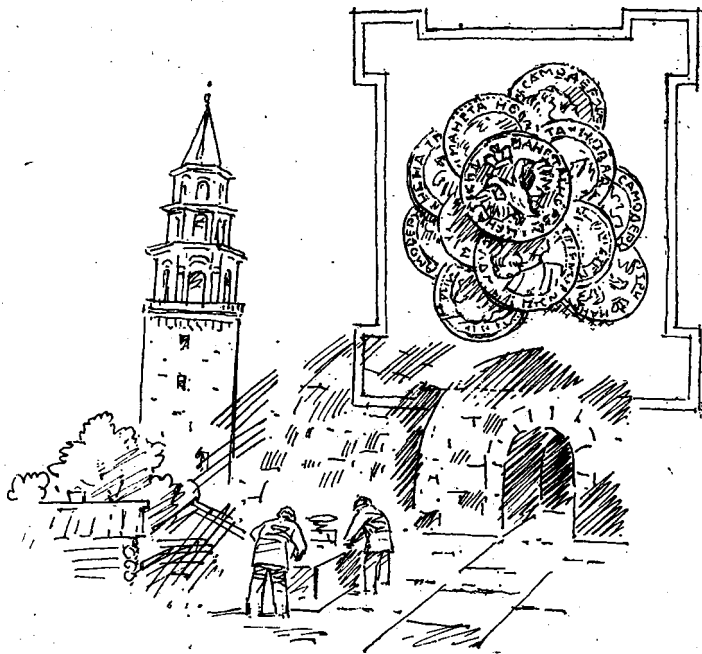
Наше отношение к таким людям прошлого, как Василий Татищев, противоречиво. Его нельзя видеть только в одном цвете. На весах истории лежат и его заслуги и его недостатки. Но нам нужно видеть и общий знаменатель его жизни.

В. И. Ленин писал, что «исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравни-

тельно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками»⁹⁴.

В. Н. Татищев дал много нового в разных областях науки и практической деятельности. Он оставил значительный след в истории Урала и страны, он часто был первопроходцем, по следу которого шли другие. Конечно, Татищев — выразитель дворянских интересов, но его деяния имели и общенациональное значение, способствовали экономическому и культурному развитию России. И он заслуживает того, чтобы о нем знали и помнили. Ведь живому дереву современности нужны и вершина и корни.

Тайна невьянских подземелий



Невьянская наклонная башня...

Один из самых великолепных памятников истории и архитектуры Урала. И один из самых таинственных...

Она красива и загадочна, когда на фоне ночного неба высится ее строгий и грозный силуэт и колокола звонко и как бы трагично отбивают полночь...

И когда по небу стремительно бегут облака, то кажется, что наклон башни достигает катастрофических размеров, что она вот-вот рухнет и погребет под собой все свои тайны... Но проходит мгновение, другое... проходят годы и столетия, а башня все продолжает и продолжает падать — она живет в этом бесконечном падении...

Загадочен не только внешний вид Невьянской башни. Она и в самом деле полна тайн, разгадать которые не могут вот уже третье столетие.

Современные специалисты считают башню архитектурным шедевром первой половины XVIII века. Башня — творение талантливого зодчего. Но до сих пор мы не знаем его имени, как не знаем с полной достоверностью, достаточно точно, когда именно построена башня — называю-т по крайней мере пять дат.

Даже сегодня мы восхищаемся прочностью и красотой, изяществом кладки, талантливыми инженерными решениями: необычным сочетанием кирпичной кладки с металлическими конструкциями, оригинальным способом возведения купола... Башню строили первоклассные мастера, но их имена тоже пока нам не известны.

А наклон башни? Что это — замысел архитектора или случайность?

А странная «слуховая комната» — она ведь тоже загадочна.

Очень мало что-нибудь исторически достоверного знаем мы о Невьянской наклонной башне.

Зато всем нам известны легенды о башне и ее страшных подземельях, в которых навсегда исчезали мастеровые и работные люди и в которых по воле Демидова (в легендах обычно не называется какого именно) тайно плавил серебро и золото и чеканили демидовские рубли. Слухи об этом дошли до Петербурга и оттуда послали на Невьянский завод грозного князя-ревизора. Демидов же, чтобы скрыть следы своего потайного монетного двора, приказал открыть шлюзы плотины и затопить подземелья вместе с сотнями мастеровых...

Эти легенды стали источником сюжетов для исторических романов, кинофильмов, живописных полотен, легли в основу краеведческих изысканий с многообещающим названием «Монетный двор Акинфия Демидова» и музейных макетов невянских подземелий с прикованными цепями мастеровыми, чеканящими демидовские рубли.

Реальные факты и легенды Невьянской башни и в будущем могут стать основой для остросюжетной приключенческой книги.

Здесь же постараемся попридержать фантазию и только реконструировать действительные события, которые не менее увлекательны, чем сюжеты, рожденные самой буйной фантазией, — ведь история, как известно, величайший драматург.

Уже много лет автор этих строк пытался разгадать тайны Невьянской башни (не он первый, не он последний), шел по следам исследователей-предшественников, искал новые документы в уральских, московских, ленинградских архивах, поднимался по крутым лестницам башни, спускался через провал в ее подземелья...

Но Акинфий Демидов и от современников умел скрывать свои секреты, потому нам, потомкам, разгадать их сегодня, спустя столетия, не так-то просто. Кроме того, весь архив Невьянского завода за XVIII век, в котором, возможно, и удалось бы найти какие-то материалы, позволившие приподнять завесу над таинственными деяниями горного магната, полностью погиб во время пожара в конце прошлого столетия. В документах же, которые Акинфий Демидов посылал в разные правительственные органы, наивно было бы искать интересующие нас сведения.

Казалось, тайны Невьянской башни навсегда останутся неразгаданными. И все-таки за последнее время кое-что удалось узнать у молчаливой башни. Разгаданы секреты старых мастеров и восстановлены часы-куранты, расшифрованы 11 из 20 старинных мелодий, закодированных на музыкальном валу. Специалисты-нумизматы высказали свое мнение о «чеканке» демидовских рублей и пока еще не нашли доказательств того, что монетный двор Акинфия Демидова существовал на самом деле. Все обстоятельнее идут споры о том, было или не было затопление невянских подземелий вместе с мастеровыми. Уточняется дата строительства башни...

В этом же очерке сделана еще одна попытка приподнять завесу только одной из многих тайн Невьянской башни. И эта тайна оказалась связанной с драматическими событиями освоения Урала и Сибири — грандиозного подвига русского народа. Невьянская легенда своеобразно отразила один из значительных эпизодов промышленного освоения гигантского края. И главными героями этого эпизода были уральские и сибирские рудознатцы, горняки, плавильщики... Именно они нашли в диких местах новые руды, строили заводы, постигали секреты плавки металлов... К великому сожалению, все из-за тех же «секретов» Акинфия Демидова и по другим причинам мы не знаем имен многих подлинных героев «серебряной» исто-

рии, о которой пойдет речь. И если даже архивные документы и сохранили имена некоторых мастеровых, то до обидного мало рассказали о их жизни и деяниях...

Попытка разгадать «серебряную» тайну Невьянской башни привела за две тысячи верст от Урала — на далекий Алтай...

Но прежде — об одном из экспонатов Эрмитажа.

ГРОБНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Около этого экспоната всегда многолюдно. И голос экскурсовода становится здесь по-особому торжественным: «Гордость эрмитажного собрания... Шедевр русского серебряного дела...»

Серебряная гробница Александра Невского действительно уникальна и великолепа. Памятник русской воинской славе. Торжественный. Пышный. Величественный. Сложный мемориальный комплекс: саркофаг, или по древнерусски рака, большая пятиярусная пирамида, две малых пирамиды с воинскими трофеями и пара напольных подсвечников... Кажется, никто и никогда ранее не создавал из серебра столь грандиозного произведения искусства.

История этого памятника общеизвестна. Сразу же после Полтавской битвы Петр I основал на берегу Невы Александро-Невский монастырь. На месте, где, как предполагали, князь Александр разгромил шведов. Когда закончилась Северная война, Петр приказал перенести в монастырь мощи великого полководца, объявленного святым...

Спустя четверть века при дочери Петра императрице Елизавете останки Александра Невского поместили в серебряную гробницу, чеканные барельефы которой расска-

зывали о главных событиях жизни и победах древнерусского полководца. На одной из сторон на картуше саркофага отчеканены слова Михаила Ломоносова:

Святой и храбрый Князь здесь телом поживает,
Но духом от небес на град сей призывает
И на берега, где он противных побеждал
И где невидимо Петру споспешествовал.
Являя Дщерь Его усердие святое,
Сему Защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро Ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть.

А на другом картуше, который держит один из ангелов, читаем такие строки: «Державнейшая Елизавета... сию... украшенную раку из первоприобретенного при ее благословенной державе сребра соорудить благоволили в лето 1750».

Невольно восхищает искуснейшее мастерство художников, литейщиков, чеканщиков и громадность самой раки (90 пудов драгоценного металла на одно изделие!), и благородство матового блеска сибирского серебра...

На память приходят героические страницы истории Древней Руси, связанные с именем Александра Невского. Понимаешь и исключительную художественную и материальную ценность гробницы. И поначалу как-то не придаешь значения тому, что и само по себе это серебро тоже является памятником русской истории. Не придаешь, хотя и надписи на гробнице и экскурсовод сообщают о том, что это «первоприобретенное серебро», которое русское «недро земное открыло». Да, это интереснейший памятник истории, несмотря на историческую неточность в надписи: гробница создана вовсе не из самого первого русского серебра.

«ВЫСОЧАЙШИЙ СЛУЧАЙ» АКИНФИЯ ДЕМИДОВА

В один из морозных январских дней 1744 года до Невьянского завода — горной столицы «Ведомства Акинфия Демидова» — добрался с Алтая посыльный, преодолев более двух тысяч верст сибирского бездорожья со скоростью, с какой никогда не ездил ни один самый срочный правительственный курьер. У Демидова с горным Алтаем была своя великолепно налаженная связь. Посыльный передал грозному властелину письмо приказчика Колывано-Воскресенских заводов, в котором тот кроме разных заводских дел уведомлял, что после окончания контракта выехал в Петербург саксонский штейгер Филипп Трегер. Но уехал не просто так, а с обидой на хозяина. Перед самым отъездом, сообщал приказчик, хмельной штейгер говаривал знакомым, что известит в Петербурге о кое-каких колыванских делах и что донос уже приготовил.

С этим письмом Акинфий Никитич просидел целый день один, никого к себе не допуская. Умный и опытный хищник сразу же почувствовал приближающуюся опасность. Он понял, что если этот проклятый саксонец, по его хозяйскому приказу выпоротый плетью за промашку в деле, объявится в столице, то ему, Акинфию Демидову, несдобровать — есть преступления, за которые не пощадят даже самого могущественного горнопромышленника России. И, несмотря на январскую стужу, на свои шестьдесят лет, на недомогание, которое последнее время стало мучить его, он приказал немедленно готовить свой возок с дворянским гербом, отобрать лучших лошадей да загрузить две подводы подарками.

И не успел посыльный еще проспаться после изнурительной езды, как Акинфий Никитич вместе с самыми верными приказчиками и телохранителями уже отправился в длинный и трудный путь. В дороге он гневался из-за лю-

бой, даже малой задержки, не жалел ни лошадей, которых меняли на его же, демидовских, дворах, раскиданных на всем пути от Невьянска до Петербурга, ни своих людей, которым не было ни часа покоя, ни самого себя, ибо отказался ночевать под крышей, а спал на ходу, прямо в возке, закутавшись в огромный тулуп.

Прибыв же в столицу, уже не торопился, не суетился, но и времени зря не терял. К своему новому «милостивцу» барону Ивану Черкасову — личному кабинет-секретарю императрицы — Демидов явился с такими подарками, что даже привыкший к разным подношениям барон был польщен чрезвычайно. В ближайшие же дни уральский заводчик нанес визиты еще некоторым придворным, находившимся в особом фаворе у императрицы...

И, получив в феврале «высочайший случай», пал в ноги императрице Елизавете Петровне, преподнес ей двадцатисемифунтовый слиток золотистого серебра и «на словах» объявил, что выплавил это серебро впервые и совсем недавно на своих Колывано-Воскресенских заводах «через искусство» своих мастеров из найденных руд, для «подлинного освидетельствования» которых и просил прислать к нему на Алтай «сведущего доверенного чиновника». И еще просил Акинфий Демидов, чтобы быть ему отныне со всеми заводами, и с детьми его, и со всеми мастеровыми и работными людьми «под ведением» единственно всепресветлейшей державнейшей государыни императрицы, а больше бы никто в его заводские дела не вмешивался¹.

И на все свои просьбы получил Демидов «милостивое высокомонаршее обещание»²....

Но это уже одна из заключительных страниц долгой и странной «серебряной истории». Истории, завершившейся вынужденным, но поистине «царским подарком» Акинфия Демидова. Мы имеем в виду не серебряный слиток в 27 фунтов, а богатейшие алтайские рудники и заводы, превратившие Россию в «серебряную» державу. И это не

преувеличение. Даже серьезные историки позапрошлого столетия заговорили о наступлении серебряного века. В начале царствования Екатерины II генерал Ганс Веймарн, тщательно изучивший состояние Колывано-Воскресенских рудников и заводов, восторженно сообщал императрице, что «не только в Российской империи, но и во всей Европе в рассуждении изобилия и богатства оных руд» Алтайские серебряные рудники «бессомненно из всех известных рудокопных мест богатейшими почтены быть...». Причем аккуратный немец пришел к этому выводу только после того, как дотошно, оперируя десятками цифр, проанализировал положение самых крупных в мире серебряных копей. В своем огромнейшем отчете, преподнесенном императрице, Веймарн показал, что ни «американские славные чилийские», ни норвежские, ни австрийские, ни саксонские серебряные рудники «нимало не сравняются» с «великим богатством подземных сокровищ» алтайских недр³. Веймарн оказался прав. Ежегодно колыванские караваны привозили с серебряных рудников до тысячи пудов серебра и несколько десятков пудов золота. Ни одно месторождение в мире не давало в то время такого количества драгоценного металла.

Но это уже потом, когда началась, так сказать, официальная история Алтайских серебряных рудников. А перед этим была другая, потаенная история поисков и открытия серебряных руд. Ее страницы долгое время оставались непрочитанными. Почти никто не знал ничего достоверного об этом важном событии века. Но сначала о предыстории этого открытия.

СИБИРСКАЯ ОДИССЕЯ

Фантастические слухи о неведомых землях на северо-востоке, куда лишь изредка добирались торговые караваны и привозили оттуда меха, золото, серебро, драгоцен-

ные камни, доходили еще до древних греков и римлян. Позднее за Камень, на Югру, стали приходиться дерзкие новгородцы. Но затем татарский щит загородил им и другим русским дорогу на восток.

Со времен же Ермака распахнулись для москвитян ворота в сибирскую Азию. И по указу государя, и на свой страх и риск русские землепроходцы — казаки и «охочие люди» — всего за несколько десятилетий прошли «встреч солнца» тысячи и тысячи верст, дошли до края сибирской земли и умылись водой из Великого океана. Русским открылись огромнейшие просторы, изобильная и вольная страна, куда можно уйти от обид помещика, воеводы и церкви. И в Сибирь устремилась энергичная народная вольница: упрямые и строгие раскольники, отважные артели «лихих людей», охотники за пушным зверем и просто авантюристы, мечтавшие о наживе. Но сибирская одиссея не была похожа на колонизацию Америки, ибо главным героем стал не конквистадор с оружием, а русский крестьянин с сохой. В новых просторных местах он рубил избы, расчищал под пашню дикую тайгу, сеял хлеб, разводил скот, сближался с местными народами. Не обходилось и без вражды, но это было исключением. Не кровью, а потом завоевывал русский человек сибирские земли.

И уже в конце XVII столетия Семен Ремезов записал в своей летописи, что в «преславной» Сибири стала «земля хлебоборбна, овощна и скотна», ибо «пашни устроены великие» и «города многие». Именно русский крестьянин обработал почву для дальнейшего освоения неисчерпаемых богатств Урала и Сибири.

Вместе с Петровской эпохой начался новый этап урало-сибирской одиссеи. Загадочные просторы уже манили иных первопроходцев — ученых, рудознатцев, мастеровых. Таинственная и непонятная Северная Азия рождала неистребимое любопытство и вызывала страстную жажду новых, доселе не виданных открытий.

Петр I все чаще и пристальнее, а в последние свои

годы особенно настойчиво смотрел уже не на Запад, а на Восток и своей самодержавной волей открыл эру великих сибирских открытий. Одна за другой снаряжались экспедиции, в которых принимали участие русские и иностранные ученые, экспедиции, которые требовали не только учености, но и немалой физической выносливости, расчетливой дерзости, фанатичного упорства, бесстрашия духа. Это были рискованные путешествия в «терра инкогнита», где подстерегали стужа и голод, болезни и лишения, путешествия, которые длились не месяцы, а годы, иногда десятилетия и нередко кончались трагически. Гигантская Сибирь была для ученых огромнейшим белым листом, на котором они писали первые строки удивительных открытий.

Вместе с учеными экспедициями и вслед за ними рука об руку все с тем же крестьянином шел уже главным образом не охотник, а рудознавец, которого давно манили сказочные богатства уральских и сибирских недр. В петровское время о рудных местах знали или, по крайней мере, слышали многое. Ведь в «наказных грамотах» первым землепроходцам обязательно значилось: «про золотую руду, и про серебро, и про жемчуг, и камень, и медь, и олово, и свинец, и железо, и про всякие камни накрепко проводить и расспрашивать».

По «сказкам»-отчетам этих землепроходцев и разных охотливых людей можно судить о множестве сведений, а чаще всего просто слухов о самих сибирских рудах. В том числе сведений и слухов о серебре. Но серебро было словно заколдованным. Чаще всего рудознатцы, посланные на проверку, возвращались ни с чем. А если и находили руды с серебром, то или добыча его оказывалась совсем невыгодной, или месторождение давало слишком мало этого драгоценного металла...

А без него России приходилось туго. Именно серебро было главным денежным металлом Европы. Поэтому царям приходилось зарубежные талеры, или ефимки, как их

называли русские, перечеканивать в свою серебряную монету. Но серебра постоянно не хватало. В критических ситуациях шли на «порчу» монеты. Так, царь Алексей Михайлович приказал чеканить медные рубли, которые должны ходить «с серебряными заодно», т. е. иметь одну и ту же «цену». Вскоре появилось огромное количество «воровских» рублей. С фальшивомонетчиками расправлялись жестоко. Ничто не помогало — соблазн был велик. Искусственные рубли обесценивались — один серебряный шел за пятнадцать новых медных. Торговля пришла в расстройство. Крестьяне «не почали в города возить сена и дров и съестных припасов и почала быть от тех денег на всякие товары дороговь великая», — писал подьячий Григорий Котошихин. Вспыхнуло народное восстание, известное в истории как «Медный бунт» 1662 года. «А были в том смятении люди торговые, и их дети, и рейтеры, и хлебники, и мясники, и пирожники, и деревенские, и гулящие, и боярские люди», — свидетельствовал тот же Котошихин. С восставшими расправились пружестоко: семь тысяч казнили, пятнадцать — отправили в ссылку.

Не успели еще перевесить всех бунтовщиков, как по царскому повелению «для сыска серебряных руд» уже пробирались по диким местам на севере и востоке в одиночку и группами рудознаты, стрельцы, охочие люди, иноземные мастера. Они искали серебро на Новой Земле, на Канином Носу, на Приполярном Урале, в Югорском Шаре, в Башкирии. Особенно внушительной была экспедиция во главе сначала с московским подьячим Михайлом Силиным, а затем думным дворянином Яковом Хитрово. Несколько лет разные отряды этой экспедиции, состоящие из сотен и сотен людей, исходили многие тысячи верст по Уралу и Зауралью. И все напрасно — серебро как сквозь землю провалилось.

Новые и новые группы рудознателей уходили все дальше и дальше на восток. И уже в самом конце XVII века в диком Забайкалье по реке Аргунь набрали на древние

чудские копи. Когда-то так давно, что рудные отвалы успели зарости многовековыми деревьями, какой-то неизвестный народ добывал здесь руду и плавил серебро. В старых копиях нашли деревянную лестницу и остатки древних горных инструментов. В самом начале следующего — XVIII столетия построили на Аргуни серебряный рудоплавильный завод, который называли Нерчинским.

Но первые полсотни лет добыча серебра была столь незначительна — всего несколько пудов в год, что едва окупала расходы. В двадцатые годы Нерчинский завод дал даже 46 тысяч убытка, а с 1731 года серебро «за пресечением руд» вообще не плавил. Только позднее, уже при Екатерине II, стали получать ежегодно по несколько сот пудов нерчинского серебра. Пока же Нерчинск не спасал положения. Недостаток серебра вынуждал правительство идти на прямое мошенничество. В мае 1726 года по инициативе и приказу князя Александра Меншикова стали чеканить монету из отвратительного сплава серебра с дешевыми металлами и мышьяком. Даже слитки этого сплава, пролежав некоторое время на Монетном дворе, начали разрушаться, выделяя черную жидкость. Василий Татищев, бывший тогда одним из руководителей Московского монетного двора, запротестовал против «вымышленных» полудержавным властелином «вредительских денег», за что едва не угодил в ссылку⁴. Население отказывалось принимать «меншиковскую монету», и в феврале 1727 года появился указ, запрещающий чеканку новых денег.

Воцарилась Анна, и в России начал властвовать ее фаворит Бирон — «большой охотник до роскоши и великолепия», как заметил его современник. Анна Иоанновна вернулась из нищей Курляндии с ненасытной жадой всевозможных развлечений. Русский двор стал первым в Европе по блеску и роскоши. За границу уплывали миллионы рублей, и именно серебряных, — других в Европе не брали — на чрезмерно дорогие капризы Бирона, императрицы и придворного окружения. Только официально двор

при Анне тратил в пять-шесть раз больше, чем при Петре I. Доходы же отнюдь не возросли. «При неслыханной роскоши двора,—сообщал один из европейских посланников,—в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят»⁵.

Елизавете Петровне досталась гигантская империя с десятками миллионов подданных, обширными плодородными землями, многочисленными заводами и фабриками и... совершенно пустой казной. А Елизавета тоже любила и умела повеселиться. Ей больше нравился блеск власти, чем сама власть. Заняв русский престол после длительного ожидания, она превратила свою жизнь в непрерывный праздник—в маскарады, балы, загородные прогулки. Она не знала предела в мотовстве и в страсти к развлечениям и, по выражению В. О. Ключевского, жила «в золоченой нищете».

Восстановленный Елизаветой сенат постоянно занимался тем, что пытался собрать в казну всю серебряную монету. Многочисленные указы настойчиво требовали от всех, кто имел серебряные деньги, сдать их в обмен на медные. За утайку серебра и золота, которые считались отныне принадлежностью только государственной казны, полагалось наказание. За тайную сплавку монет в слитки сенат грозил самыми жестокими карами. Того же, кто занимался тайной добычей драгоценных металлов, ожидала не просто смерть, а самая мучительная казнь.

По-прежнему настойчиво взывали именные и сенатские указы ко всем своим подданным: ищите, ищите, ищите золото и серебро. И по-прежнему, словно заколдованные, российские недра, распахнув двери к железу и меди, упорно скрывали свои золотые и серебряные кладовые...

Однако не от всех...

МЕДЬ ИЛИ СЕРЕБРО?

Еще современников приводила в удивление демидовская устремленность в Сибирь. Зачем понадобилось Акинфию Демидову строить медные заводы на далеком Алтае, на тогдашнем конце света, в местах диких, необжитых и опасных, отдаленных от уральской демидовской резиденции двухтысячеверстным бездорожьем? Ведь совсем близко, здесь же на Каменном Поясе, сколько угодно медных руд, и не хуже сибирских.

Но, может быть, все-таки демидовским рудознатцам не удалось найти хороших месторождений меди на Урале и потому Акинфий Демидов вынужден заняться медным делом на Алтае?

Полистаем документы.

Еще в январе 1705 года, утвердившись на берегах Нейвы, Никита Демидов подал в Рудный приказ заявку, в которой сообщал о найденной в Кунгурском уезде медной руде и просил разрешения строить медеплавильный завод, и уже в мае получил на это разрешение⁶. Но, закрепив за собой право плавить медь, он вовсе не спешил им воспользоваться, несмотря на ряд указов, требовавших от Демидова немедленно начать строить медный завод, — нужда в меди была тогда великая.

И только почти через четверть века, в 1729 году уже не Никита, а Акинфий построил в Кунгурском уезде Суксунский медеплавильный завод, а еще через несколько лет — Бымовский завод, причем имел от них прибыль немалую.

Несмотря на указ Берг-коллегии от 20 декабря 1720 года, с большой неохотой начали Демидовы плавить медь и на Вые. Пустив-таки в 1722 году Выйский медный завод, Никита и Акинфий Демидовы вскоре свернули плавку, сославшись на то, что медная руда их «оболгала», т. е. запасы ее оказались не столь велики, как они предполагали. А после пожара 1729 года медное производство на

Вые уже не восстанавливали, а поставили там домны. Однако, как мы теперь знаем, медное месторождение под Нижним Тагилом являлось одним из крупнейших в мире и разрабатывалось потом почти два столетия, дало сотни тысяч пудов руды, из которой выплавили огромное количество великолепной меди.

Правда, нежелание Демидовых активно заниматься медью можно понять: в то время цены на медь, установленные правительством, были очень низки, а потому медное дело часто оказывалось для горнопромышленников не только малоприбыльным, но иногда и убыточным. Но тогда тем более непонятно страстное стремление Акинфия Демидова плавить медь на далеком Алтае, ибо перевозка ее оттуда обходилась весьма дорого. Самый простой расчет наглядно показывал всю невыгодность алтайской медной авантюры Акинфия Демидова.

Значит, не медь, а что-то другое интересовало Демидовых на Колывани? Знали ли они заранее об алтайском серебре или наткнулись на него только в ходе медных разработок? Да, знали. Причем знал не только Акинфий, но и его отец Никита. Вспомним известное письмо Никите Демидову, посланное Петром Первым из Персидского похода в августе 1722 года:

«Демидыч! Я заехал зело в горячую сторону, велит ли бог видеться? Для чего посылаю к тебе мою персону: лей больше пушкарских снарядов и отыскивай по обещанию *серебряную руду*»⁷ (Выделено мною.— И. Ш.)

Это письмо свидетельствует об особых отношениях между царем Петром и Никитой Демидовым. Нас здесь интересуют прежде всего последние слова: Никита Демидов обещал Петру найти серебряную руду. Подобными обещаниями, да еще самому царю, первый Демидов никогда не бросался и если что-то обещал, то выполнял. Все, кроме обещания... найти серебро. Его Никита Демидов так и не нашел до самой своей смерти. Значит, на этот раз обещал просто так? Нет, не просто так. Никита и Акин-

фий давно знали, что в Сибири есть и серебро и золото. Еще в 1715 году «Демидыч» в честь рождения царского сына подарил Петру древние золотые и серебряные изделия, найденные его рудознатоками в сибирских курганах. Знали Демидовы и еще кое-что.

«ДЕЛО» РУДОИСКАТЕЛЯ СТЕПАНА КОСТЫЛЕВА

Оно хранится в Центральном государственном архиве древних актов в Москве, в фонде Берг-коллегии, в одном из толстенных фолиантов, одетых в кожаный переплет, и рассказывает о приключениях, а чаще о злоключениях сибирского рудоискателя Степана Костылева и кое-что об интересующем нас серебре⁸.

Рудоискательство тех времен — это еще не наука, а чародейство, требующее чутья, интуиции, тонкой наблюдательности, особенных знаний, чтобы по едва заметным признакам: по окраске горных пород, по запаху ветра в жаркий день, по травам и цветам, по ночным блуждающим огонькам от земных испарений и еще по чему-то почти неуловимому почувствовать присутствие руд. Здесь нужен особый дар да еще стойкий азарт, фатальная надежда на удачу. Без такого азарта и без такой надежды нет истинного рудоискателя, который может месяцами, а иногда и годами бродить без всякого «фарта» в безлюдных местах и не потерять желания к дальнейшим поискам.

Одним из таких азартных рудоискателей и был сибирский крестьянин Степан Костылев. Заразился он однажды рудной охотой и с тех пор не знал покоя. Не усидеть теперь дома за прежними крестьянскими делами и заботами. И отправился Костылев со своим товарищем Федором Комаровым в Томский острог к воеводе Василию Козлову с челобитной и просил отпустить их руды искать. Но воевода, как позднее рассказывал Костылев, «челобитную их

бросил на земь, нас не отпустил и грозил бить кнутом. Нарушил воевода царский указ: очень уж не хотелось ему лишних хлопот с этими рудами.

Но не отступились рудоискатели — охота пуще неволи. В 1718 году упрямый Степан Костылев «с товарищи», «отлучась от домов своих», без воеводского разрешения ушли в горы к верховьям Иртыша и вернулись не с пустыми руками, а с кусками медной руды. Объявили о своей находке все тому же Василию Козлову. Воевода рудные куски забрал, но на том все дело и кончилось. А настырный рудоискатель, «не видя от оного (воеводы) никакого произведения», в 1720 году вновь отправился в горы, в междуречье Алея и Чарыша вместе с казачьим сыном Михаилом Волковым. И снова заявился в Томск с рудными образцами. Но к воеводе на этот раз не пошел, а закричал на площади «слово и дело государево». Костылева и Волкова отправили в губернский Тобольск, а оттуда в Москву в Преображенский приказ, а после допроса — в Берг-коллегию, где образцы руд испытали и нашли в них «признак медный». Рудоискателей отправили снова в Тобольск, а затем по указу губернатора вместе с рудоплавильным мастером Каменского завода Федором Инютиным послали на реку Алей «для показания тех мест». Инютин вернулся из поездки с образцами, которые при пробе оказались... пустой породой.

Но вскоре к капитану Василию Татищеву, только что назначенному горным начальником уральских заводов, поступил донос от Волкова, в котором тот сообщал, что Инютина на Алее подкупили местные жители, «промышлявшие серебряными самородками» (заметим это!) и не желавшие в местах своего промысла никаких казенных рудных разработок, а потому он, Инютин, «получа» 400 рублей, «тех руд не осматривал» и нарочно представил в тобольскую канцелярию дресву, т. е. пустую породу.

Татищев, находившийся тогда в Кунгуре, немедленно затребовал к себе Волкова и Инютина, и последний

«с пристратием был распрашиван», но в обмане своем «не винулся». В Кунгуре горный начальник закончить розыск не успел, так как в конце декабря 1720 года переехал на Уктусский завод, куда приказал доставить и Инютина. Но по дороге тот бежал от стражи и, как дознались уже через много лет, скрылся на Невьянском заводе.

Демидовым, конечно, было не впервой скрывать у себя беглых, но Инютина они в виде исключения могли бы и отдать местным властям, если бы он не был им очень нужен. Ведь от Инютина Демидовы узнали, что в верховьях Иртыша имеются не только медные руды, но и серебро и золото. Вот эти-то инютинские сведения наверняка и имел в виду Никита Демидов, когда обещал царю Петру найти серебряную руду.

Но Демидовы прекрасно понимали, что, пока Василий Татищев на Урале, пока он ведаёт горными делами, до алтайского серебра им не добраться. Ибо если один конец серебряной нити в их, демидовских, руках, то другой крепко держит горный начальник и по своей воле никогда не выпустит. Демидовы уже убедились, что ни дерзкая война, объявленная Татищеву Акинфием Никитичем, ни сменившие ее лести и попытки подкупа не смогли ни сломить, ни приручить гордого капитана. Татищев стал опасен Демидовым, так как все решительнее ставил под свой контроль их горные дела, вскрыл уже немало демидовских беззаконий и не намерен спускать впредь. А потому влиятельные горнозаводчики решили любым путем убрать Татищева с Урала.

О демидовском нетерпении прибрать к своим рукам алтайские месторождения говорит и такой факт. Едва в начале 1722 года Татищев отбыл с Урала в Петербург, как в Уктусский завод, где обычно опасались появляться демидовские люди, заехал приказчик Невьянского завода Гаврила Семенов и встретился там с приехавшим из Сибири Степаном Костылевым. А при встрече расспрашивал: подлинно ли рудознатец про алейские руды знает.

Причем Семенов про те руды уже раньше от кого-то проведal и при разговоре многозначительно намекнул, что тех руд ему, Костылеву, одному не поднять.

В конце 1722 года Татищев вновь вернулся на Урал, и Демидовы опять на время затаились, словно позабыв об алтайских рудах. Но едва в ноябре 1723 года Василий Никитич покинул Екатеринбург, как сразу же, буквально через несколько дней после его отъезда, к новому горному командиру генералу Геннину явился все тот же Гаврила Семенов и просил дать ему указ о прииске руд в Сибири.

Между тем Костылев вновь повторил свою заявку на медные руды (как выяснилось позднее, не только на медные, но серебряные и золотые) по реке Алей и другим местам Алтая. Отныне эти месторождения должны принадлежать казне и любая повторная заявка от другого рудоискателя или заводчика уже не имеет силы. Геннин пересылает костылевские рудные образцы в Берг-коллегию и запрашивает о дальнейших мерах. Но Петербург молчит.

Привыкший иметь дело непосредственно с царем Петром, к которому генерал обращался с любыми, даже пустяковыми, вопросами, находя всегда внимание и поддержку, Геннин оскорблен необычным для него равнодушием к своим просьбам. Он сам едет в столицу, чтобы высказать свое неудовольствие и потребовать решения нужнейших горных дел...

Но в Петербурге совсем не до забот горного начальника. Каждый озабочен теперь только своей судьбой, ибо после смерти Петра все стало неустойчиво, все колеблется, все меняется, никто ни в чем не уверен и не знает, какому святому молиться. Двор погряз в интригах. На одних ни с того ни с сего валятся чины и поместья, другие по непонятным причинам теряют не только чины, но и головы. А потому все выжидают, все пассивны и не желают решать никаких дел.

И претензии Геннина к членам Берг-коллегии, оставшимся без своего президента Якова Брюса, который, не выдержав скандальной придворной атмосферы, ушел в отставку, остаются без всякого внимания⁹.

Зато Акинфий Демидов, тоже прибывший в столицу, в мутной придворной воде ловко ловит свою серебряную рыбку. В то время когда важнейшие государственные дела остаются без всякого движения, когда самые высокопоставленные лица бессильны продолжать свои начинания, в это время и Берг-коллегия, и только что созданный Верховный Тайный Совет, и сама императрица Екатерина I постоянно занимаются челобитными и прошениями заводчика Акинфия Демидова и с невероятной быстротой появляются один за другим царские именные и другие правительственные указы, которые удовлетворяют почти все его желания. В тогдашнем хаосе и правительственной неразберихе Демидов добивается таких льгот и привилегий, какие он едва ли бы получил при нормальном функционировании государственной машины. Ведь его претензии на частную разработку месторождений, которые уже заявлены Костылевым и в Берг-коллегии и в Сибирском обер-берг-амте, а потому законно принадлежат казне, кажутся совершенно безнадежными. Но члены Берг-коллегии странно молчат именно тогда, когда нужно подать голос для защиты государственных интересов, а опасные для Демидова заявки других рудоискателей таинственно исчезают.

Через сорок лет Веймарн, составлявший справку о Колывано-Воскресенских заводах и перерывший все архивы, придет к заключению, что «все дела, служащие ко уведомлению о содержании в тамошних рудах серебра, равно как и те дела, которые о раннем приискании и нахождении государственными томскими и ишимскими обывателями в подаче имелись, особливим хитрым пронырством из архивов той коллегии, как и бывшего Обер-берг-амта, в пользу Демидовых... исхищены»¹⁰.

Акинфий Демидов появляется в Петербурге в самом начале 1726 года и вовсе не спешит в Берг-коллегию с официальным прошением. 10 января он преподносит образцы руд князю Меншикову и самой императрице. Что еще он предпринимает в последующие дни, нам неизвестно, но наконец 19 января он предстает перед членами Берг-коллегии и подает написанную по всей форме бумагу, в которой просит разрешить ему копать медную руду и «заводить заводы» в «диких местах» Сибирской губернии¹¹. Горные чиновники уже знают мнение покровителя уральского горнозаводчика князя Меншикова, самого всемогущего тогда человека России, а потому Акинфий Демидов почти спокоен за судьбу своего дела. Только два человека могут помешать ему: непреклонный Татищев и самолюбивый Геннин. Но Татищева нет в России — он в Швеции, а потому не опасен. А чтобы обезоружить генерала, Демидов делает ловкий ход: он предлагает Геннину вступить с ним в компанию по освоению алтайских руд. Предложение чрезвычайно выгодно, и горный начальник соглашается. Забегая вперед, заметим, что, хотя на прошение Демидова в Берг-коллегию о компании с Генниным был дан удовлетворительный ответ, это коммерческое содружество по неизвестным нам причинам практически так и не состоялось, что явно не огорчило заводчика. Зато 16 февраля появился указ Берг-коллегии, дававший А. Н. Демидову право копать медную руду и «сильною рукою» строить заводы «на новых диких местах в Томской провинции»¹². Причем это право он получает на чрезвычайно выгодных условиях.

А еще через два дня, 18 февраля Верховный Тайный Совет высказался за присвоение Акинфию Демидову и его братьям дворянского звания. В жалованной грамоте, подписанной 24 марта 1726 года Екатериной I, указывалось, что кроме прав и вольностей, которыми пользуются все дворяне, Демидовым даются особые привилегии для того, чтобы они имели «наивысшее тщание и попечение в

произведений... заводов, також в приискании медных и серебряных руд»¹³. О серебряных рудах наверняка было вписано по желанию Акинфия Демидова.

Появились и еще разные указы, помогающие горно-заводчику развернуть гигантское для того времени строительство заводов в «диких местах» Сибири.

НА АЛТАЕ

Пока в столичных канцеляриях еще строчат указы для Демидова, пока тяжело и медленно ворочается государственная машина, решая разные вопросы о строительстве новых заводов, из Невьянска на Алтай уже бредут пешком, едут на телегах, плывут на стругах уральские рудоведы, горные и плавильные мастера, работные люди. В июне 1726 года, когда еще ни один из столичных указов не достиг ни горной канцелярии в Екатеринбурге, ни сибирского губернатора, уральские мастеровые уже добрались до мест, где прошлым летом демидовский «рудоведец» подьячий Дмитрий Семенов, по прозванию Козыи Ножки, наладил с помощниками одну из старых чудских плавильных печей и отправил на Невьянский завод первые пуды черновой меди. Теперь же на речку Локтевку прибыл невяньский обоз со всем необходимым для небольшого заводика, с двумя плавильными печами. Построили их под началом невяньского мастера Степана Изотова. И не успели еще замерзнуть воды Иртыша, как поплыл по нему караван барок с алтайской черновой медью, которую будут доводить «до кондиций», т. е. отделять медь от других металлов, на Невьянском заводе.

А на следующий год совсем многолюдно стало на отрогах Колыванских гор. По воле Акинфия Демидова пришли сюда плотники, каменщики, мастеровые разных профессий. Горный начальник Геннин прислал своих лучших специалистов: бергшворена Никифора Клеопина да

саксонского штейгера Георги. Для большого, теперь уже настоящего завода выбрали в шести верстах от локтевских печей на речке Белой у Синей сопки, неподалеку от редчайшего по красоте горного Колыванского озера, новое, более удачное место...

И вот уже возводится крепость с четырьмя бастионами, почти точь-в-точь как в Екатеринбурге, ибо возводил эту крепость по своему чертежу один из учеников Василия Татищева Никифор Клеопин.

Через два года вырастет крепость, плотина перегородит речку Белую, заскрипят водяные колеса, приводя в движение мехи плавильной, молоты, толчеи, пилы, задымят обжигальная и гармахерская, заработают и другие цехи...

Так, в центре гигантской Азии, в одном из малодоступных районов, среди девственной природы, где лишь иногда кочуют дикие орды, родился знаменитый Колывано-Воскресенский завод, с которым не могли равняться и соперничать лучшие горные предприятия Европы.

А еще через несколько лет появятся новые рудники и заводы, крепости и слободы, тысячи новых поселенцев начнут обживать пустынные края. На огромной территории — 400 верст с севера на юг и 200 с лишним с запада на восток — возникнет еще одно горное царство со своими подданными, со своими солдатами, вооруженными пушками и ружьями, со своими дипломатами, которые будут самостоятельно вести переговоры с соседними кочевниками и со своим горным царем Акинфием Демидовым.

ПАРАДОКСЫ АКИНФИЯ ДЕМИДОВА

Промышленное чудо совершили те, кто ловко держал в руках топор, искусно укладывал в заводские стены кирпичи, проходил рудные штреки, стоял у плавильного гор-

на, каким-то шестым чувством угадывая тайственный процесс превращения руды в звонкий металл.

Но не стоит игнорировать здесь роль и заслуги первых Демидовых. Евгений Пермяк в своих мемуарах о Бажове вспоминает: «Павел Петрович говорил, и говорил не раз, что кто только не ронял Демидовых в молве и в литературе и почти никто их не поднимал». Сам же Бажов последние годы своей жизни много раздумывал о «фундаторах» уральских и сибирских заводов, вынашивая «эпопею о Демидовых». «Пора оценить деяния,— писал он А. Суркову,— именно деяния! — в том числе и колонизационные, с государственной точки зрения и показать первых Демидовых как сподвижников Петра. Причем надо еще подумать, найдутся ли среди этих сподвижников Петра такие, кто бы мог встать в плечо с Никитой и Акинфием Демидовыми»¹⁴.

Эти исторические фигуры давно притягивают внимание историков, писателей, краеведов. Многие годы неоднозначность демидовских характеров интересует и автора этих строк. Осмотрены разные архивы, наполняются новыми документами папки, но облик Акинфия Демидова по-прежнему остается не до конца понятен, странен, загадочен. Ибо большинство оставшихся о нем документов всего лишь искусственный фасад, который скрывает истинные страсти и дела Акинфия Демидова. Попробуйте, например, представить его образ по его же письмам Александру Меншикову¹⁵, и перед вами предстанет слабый и жалкий человек, который постоянно жалуется на свое бессилие, на свои неудачи, человек, который смиренно и терпеливо переносит обиды от сильных мира сего. Из других же документов он является нам наделенным какой-то таинственной властью над людьми и событиями.

Еще Мамин-Сибиряк упоминал о «странном характере А. Демидова, полном всевозможных противоречий, где перемешаны неистощимая энергия, железная воля, самодурство, жестокость»¹⁶.

Чаще всего обычно подчеркивают две последние стороны Акинфиева характера. Забывать о них, конечно, нельзя. Но Акинфий Демидов был не только жестоким деспотом, но и талантливым организатором горного дела, оставившим на нашей земле заметный след: двадцать пять заводов. И каких заводов! Самых совершенных заводов, которые давали лучший в мире металл. Такое само собой не сотворяется.

Акинфий Никитич и сам был превосходным техническим специалистом — хорошим оружейником, одним из лучших пушечных дел мастеров, металлургом, знавшим секреты этой профессии, отстранявшим мастеров от домны, чтобы самому образумить, взбушевавшуюся плавку, виртуозным кузнецом, способным выковать образцовое изделие для «серийного» производства. Скупой на похвалу Геннин, считавший себя первым в России металлургом, говаривал про Акинфия Демидова, что «такого в заводском деле искусного человека едва сыскать можно».

Даже сегодня поражает грандиозность замыслов и свершений этого горного деятеля. Объяснять столь бурные деяния Акинфия Демидова одной только страстью к наживе — значит, не объяснить почти ничего. И не потому, что такой страсти у него не было. Просто нажива не являлась для него единственным стимулом. Акинфий Демидов по своей натуре еще и одержимый творец. И как настоящий творец, он дерзок и смел в своих замыслах и их осуществлении.

Его неукротимую энергию стесняют законы и регламенты, власть воевод и горных начальников, и он постоянно стремится освободиться от всяких юридических и фактических пут, избежать любого контроля над своей деятельностью. Он постоянно нарушает неудобные для него законы и инструкции, иногда открыто и дерзко, но чаще всего тайно и скрытно. Он живет как бы двойной жизнью, о его истинных намерениях и делах современники многого не знали. Многочисленные демидовские отчеты

ты и ведомости, которые владелец горной империи отсылает в разные инстанции, совсем не раскрывают действительного положения на его заводах, а наоборот, затемняют и извращают его. Часто эти документы говорят не о том, что было, а о том, чего не было. Поэтому историкам Урала приходится туго: до сих пор не могут они выяснить, сколько же все-таки металла выплавлялось на демидовских заводах, какова его себестоимость, сколько и каких мастеровых и работных людей держал Акинфий Демидов на своих заводах.

Акинфий Демидов, конечно, трезвый предприниматель. Но это только одна грань его противоречивой натуры. Вместе с расчетливостью практичного дельца в нем прекрасно уживается и азарт авантюриста. Он постоянно полон самых дерзких замыслов, осуществляя которые, можно сломать голову. Ему нравится рисковать. Он словно нарочно создает ситуации, когда весы судьбы колеблются, когда все сложно и неопределенно. Он никогда не закрывает глаз в минуту опасности, но напрягает до предела свою зоркость, мгновенно оценивает сложную обстановку, точно взвешивает все обстоятельства, все рассчитывает, принимает решение и... выходит победителем.

Годами безвыездно сидит горный властелин на своем Невьянском заводе, как бы изолированный от всего мира, сокрытый от нескромных взоров своих соперников и врагов. Но из своего невянского «господского дома», похожего на древнерусские хоромы, он видит все, что ему нужно. У него всюду свои люди: в Екатеринбурге около горного начальника, в резиденции сибирского губернатора, в апартаментах Берг-коллегии, в особняке очередного временщика, в императорском дворце — и потому он в курсе всех событий. Он не вмешивается ни в какие политические распри, не примыкает ни к одной из политических группировок — политика не его сфера действия. Но для решения своих горных дел он всегда угадывает момент, когда

нужно появиться в столице и на кого можно опереться. Он умеет ладить с сильными мира сего, ибо знает их слабости.

* * *

Демидовское горное царство держалось не только на насилии и жестокости. Властвуя над десятками тысяч людей, Акинфий Демидов употреблял самый разнообразный арсенал средств. Даже в письмах к своим приказчикам он никогда не бывает однообразен. Одному устраивает грубый и оскорбительный разнос, другому льстит и не жалеет похвал, третьего ободряет и поддерживает.

Сам не обиженный талантами, Акинфий Демидов не боится талантливых людей. Наоборот, он выискивает и собирает их любыми способами: выпрашивает у губернаторов и у горных начальников, переманивает у своих конкурентов, выписывает из Европы или просто-напросто крадет. Он обращается к князю Меншикову с обширным письмом, в котором излагает одну-единственную, казалось бы, мелкую для такого солидного адресата просьбу: подействовать, чтобы с Екатеринбургского завода отдали нужного ему мастера. В результате таких усилий Демидову удастся собрать на своих заводах лучших специалистов того времени.

Бажов считал, что «Демидовы ставили металлургию без иноземной помощи». Документы показывают, что иностранных специалистов и Никита и Акинфий использовали довольно часто. Но вот что примечательно. Заводит Акинфий Демидов у себя косную фабрику и выписывает из Саксонии наилучших мастеров. Проходит время, и уральские мастера делают косы уже лучше своих иноземных учителей. Или другой пример. Сначала на Невьянском заводе строят домну по «английской пропорции», а через несколько лет свою, русскую — намного мощнее и совершеннее любой английской. Акинфий Демидов и сам бывал в Европе, знакомился с тамошними заводами, ши-

роко использовал иностранный опыт, но никогда не останавливался на нем, а шел дальше и выходил на первое место в мире.

БИТВА ЗА СЕРЕБРО

Два десятилетия, осваивая алтайские недра и создавая на краю Сибири новый горный район, Акинфий Демидов ведет сложную и опасную игру. Он прекрасно знает, что утайка серебра является не частным, а государственным преступлением, за которое царским указом полагается «без всякие пощады казнить смертью, деревни и животы брать». Он знает и то, что об алтайском серебре кроме него знают и другие, что в любой момент его тайный промысел может раскрыться.

И Акинфий Демидов никогда не забывает об этом. Мы, наверное, так никогда и не узнаем многие подробности этой длительной тайной битвы, которую Акинфий Демидов вел за серебро. Только отдельные ее эпизоды, скорее, даже детали этих эпизодов стали известны нам из документов.

Уже в октябре 1726 года пробирный мастер Берг-коллегии Иван Шлаттер, делая анализ рудных образцов, представленных Демидовым, обнаружил в некоторых из них свинец и серебро. Но результаты шлаттеровской пробы почему-то не получили дальнейшей огласки. А ведь Берг-коллегия, зная об острейшем дефиците драгоценных металлов, обязана была устроить самую тщательную проверку месторождений, из которых были взяты рудные образцы.

С самого начала знает о серебре в колыванских рудах и горный начальник уральских заводов Виллим Геннин. Позднее он запишет в своей горной истории: «Найдено... Акинфием Демидовым старинных плавильных пять печей, при которых и сок (т. е. шлак.— *И. Ш.*) имеетца и руд

при тех печах есть немало, а по признакам оные видом таковы, якобы серебряная руда»¹⁷. Это геннинское «якобы» по меньшей мере странно в устах горного начальника. Ведь его прямая обязанность немедленно проверить эти серебряные «признаки». Но обольщенный надеждой на выгодное деловое содружество с невьянским властелином, он будет молчать. Неосуществленные эти надежды Демидов компенсирует крупными взятками, о которых станет известно в Петербурге. Но невьянский приказчик Степан Егоров, через которого осуществлялись сделки с горным начальником, тайно привезенный для допроса в столицу, вскоре будет отпущен до окончания следствия.

В 1732 году на Колывань впервые посланы правительством «для обозрения заводского действия» горный советник Вицент Райзер и капитан Вильгельм Фермор. Пробы на Колывано-Воскресенском заводе несколько месяцев, они в сентябре того же года вернулись в Петербург и составили любопытный отчет.

Ревизоры подсчитали, что с 1729 по 1731 год на заводе выплавили черновой меди, т. е. полуфабриката, 7868 пудов, из которых 2552 пуда отправлено на Невьянский завод, а остальная медь очищена здесь же на месте*. Эта странная, очень невыгодная перевозка медного полуфабриката на Урал в то время, когда на Колывани имелись свои плавильные печи, вызвала у ревизоров некоторое недоумение. Не меньше удивились они и странному обману приказчиков и самого Акинфия Демидова. Они вдвое завысили сведения о процентном содержании меди в руде и настолько же занизили стоимость производства металла. «Пуд чистой меди,— записано в отчете ревизоров,— обходится, как показано в счетах, в 2 р. 57 ³/₄ к., но это едва ли правда, так как счетные книги ведутся непорядочно;

* Уже после отъезда ревизоров Акинфий Демидов вновь приказал, чтобы с Колывано-Воскресенских заводов «черную медь всю привозить к нам», т. е. на Невьянский завод.

по другому счету вышло того менее: по 1 р. 58 к. до 1 р. 60 к.»¹⁸. И Райзеру и Фермору доподлинно было известно, что заводчикам пуд чистой меди никогда не обходился дешевле четырех рублей, а в своих ведомостях они, как правило, занижали содержание меди в руде и намного завышали расходы на производство, увеличивая себестоимость до 6—8 рублей за пуд.

Зачем же понадобился Акинфию Демидову этот «невыгодный» обман? Почему пытается он представить производство меди на Колывани, даже с дорогой транспортировкой тысяч пудов полуфабриката в Невьянск, очень выгодным делом? Да все потому же — отвлечь внимание от серебра, которое и приносило ему главный доход.

Но о колыванском серебре, вернее, о рудах, содержащих в себе серебро, ревизоры все-таки узнали. Однако в большом ревизорском отчете об этом говорится очень скупо, как бы между прочим. Так, подробно описывая один из рудников, Райзер и Фермор отмечают, что «в глубине... медь лучше и медное содержание переходит в серебряное». В отчете упоминается также «жила медного глянца, которая надежду и к свинцу и серебру подает»¹⁹.

В самом отчете ревизоры приводят только факты и цифры — никаких выводов. И тем не менее внимательный анализ отчета мог бы вызвать подозрения. Но не вызвал и не привел ни к каким последствиям. Правда, в конце 1732 года Акинфия Демидова по личному указу императрицы вызвали в Петербург, но совсем по другому поводу.

Зато следующий, 1733 год начался для Демидова с несчастий. Весеннее половодье оказалось столь обильным и бурным, что принесло уральцам немало бед. На Ревдинском заводе размыв плотину, водой унесло дома вместе с мастеровыми, пострадали заводские строения. Около Уткинского завода подмыло берег, вода порушила пристань, унесла заготовленный для домны уголь, дрова, материалы для строения судов. В это же время случился большой пожар на Колывано-Воскресенском заводе.

Против горного магната восстала не только стихия. Той же весной поступило на Акинфия Демидова сразу несколько доносов. Провинциальный фискал в Екатеринбурге Григорий Капустин, обязанный по своей должности «тайно проводывать», «что ко вреду государственному интересу быть может», направил прямо на имя императрицы свой извет, в котором сообщал, что «Ак. Демидов со своих Невьянских заводов оказался в неплатеже десятины и торговых пошлин». Был в том извете и еще один важный пункт: «...найдена на тех заводах серебряная руда, которая по пробе иноземца Вейса в Москве является годною, а ныне тое руду без указа плавить не велено». Другие доносчики обвиняли горнопромышленника в утайке металла и незаконной продаже оружия кочевникам.

Акинфия Демидова задерживают в Петербурге, запрещают ему выезжать из столицы куда бы то ни было и начинают над ним следствие. Для проверки изветов срочно и тайно посылают ревизоров — на Тульские заводы асессора Васильева, на Невьянские — гвардейского капитана Савву Кожухова. Ревизоры должны мчаться на почтовых подводах «денно и ночью» (так требовала секретная инструкция!) и, внезапно нагрянув на заводы, провести самое строгое и тщательное расследование.

Казалось, хищник попал в капкан: обвинения слишком серьезны, а доказать их не так уж сложно. Но Акинфий Демидов вовсе не собирался пассивно ждать возмездия. В тот же самый день, когда капитан Кожухов поскакал из Петербурга на Урал, из столицы выехал еще один курьер — демидовский. Как ни спешил правительственный слуга, посланец Акинфия Никитича оказался в Невьянске на несколько дней раньше и подготовился к встрече незваного гостя: от чужих глаз спрятали все, что хотели спрятать, в том числе, как дознались позднее, укрыли в подземелья весь заводской архив, оставив для проверки только текущие дела. Никаких следов плавки серебра Кожухов не нашел и установил только через допросы мастеровых, что

чугуна в домнах плавят гораздо больше, чем указывал Демидов в отчетных ведомостях²⁰.

Не с этой ли ревизией Кожухова связана известная легенда о затоплении подземелий, где шла тайная плавка серебра? Может быть.

Следствие над Акинфием Демидовым тянулось полтора года и закончилось именным указом императрицы Анны Иоанновны, по которому горный магнат был полностью оправдан, а его доносчикам велено «учинить такое наказание, какому подлежали бы те, на кого они доносили».

Как вывернулся Акинфий Никитич из столь опасной ситуации, он никому не рассказывал. По столице ходили слухи о крупной взятке, которую он дал барону Шафирову, руководившему следствием. Да всеильный фаворит императрицы Эрнст Бирон получил от уральского заводчика «ссуду» в 50 тысяч серебряных ефимок²¹.

Теперь, казалось, все тревоги и опасности для горного магната остались позади! Не тут-то было!

Пока Демидова держали под следствием в столице, горную власть на Урале снова возглавил Василий Никитич Татищев. А он не только догадывался, но определенно знал, не имея, правда, прямых доказательств, что его старый враг промышляет на Алтае не только медь. В этот раз Татищев приехал в Екатеринбург, наделенный огромными полномочиями. Инструкция новому горному начальнику, подписанная самой императрицей, требовала расширить казенное горное дело не только на Урале, но также в Томском и Кузнецком уездах «и стараться, чтоб тамо сильные заводы построить и доходы казны нашей умножать. Тако же Демидову и прочим в размножении их заводов, колико без ущерба размножению казенных заводов учинено быть может, с прилежностью им возпомочь; ежели же усмотрите, что заводы Демидова медные для пользы нашей надобно взять на Нас, то оные у него взять».

Казенный интерес на Колыванских заводах Татищев

усмотрел еще раньше. В ноябре же 1734 года он сообщил императрице об известном нам рудознатце Костылеве, который «подал другое доношение о золотых и серебряных рудах, объявляя якобы о том, (что) на пред сего подавал доношение к генерал-поручику (Геннину). Токмо такого доношения и записки здесь (т. е. в екатеринбургском архиве) не явилось»²². Татищев приказал перерыть весь горный архив, но вынужден был писать в Петербург, что о наличии на Алтае золота и серебра все «нужнейшие доказательства распропали»²³.

Нисколько не сомневаясь в том, что на Колывани идет тайная разработка золотых и серебряных руд, горный начальник отдал распоряжение о «взятии» демидовских заводов в казну и послал из Екатеринбурга на Алтай экспедицию для их приемки. Горный деятель Н. С. Ярцев, отец которого находился в составе этой экспедиции, писал в своей «Горной истории»: «По прибытии на место из добытой экспедицею медной руды... получился роштейн... и по малым пробам те руды и самый роштейн оказывали в себе серебро». Но руководитель экспедиции майор Угрюмов объяснил позднее это тем, что «якобы пробирщик клал в пробы чудское серебро или серебряные копейки»²⁴.

Но прежде чем майор Угрюмов дал подобное объяснение, произошли следующие события.

Акинфий Демидов вернулся на Урал, когда экспедиция, посланная Татищевым, находилась еще на пути к Колывани. Не успели члены экспедиции вернуться в Екатеринбург, как появился краткий и резкий указ императрицы: «Колыванские заводы отдать обратно Акинфию Демидову и впредь Татищеву вовсе не ведать заводами его нигде»²⁵. А еще через несколько месяцев Татищева вообще убрали с Урала...

Вот тогда-то майор Угрюмов и высказал «свое» мнение о серебре, обнаруженном пробирщиком в колыванских рудах.

Приходится удивляться такому редкому «везению» Акинфия Демидова. Он не только вышел живым и невредимым из опаснейших положений, но и одержал полную победу над всеми своими врагами. Больше того, каждый год он добивается все новых и новых льгот и привилегий, которые дают ему возможность быть полновластным хозяином на своих заводах.

Он сам предложил платить десятину и пошлину не с каждого пуда металла, а с домны и молота сразу за год вперед. Казне это выгодно. Демидову тоже: теперь ревизоры не будут ездить к нему на заводы считать пуды металла, теперь не нужно никуда посылать отчетные ведомости. И после расчета с государством Акинфий Демидов — только он единственный в России — имеет право беспошлинной торговли даже с иностранцами. Ни на одной таможне не имеют право заглядывать в его обозы и проверять, что и куда он везет.

Правда, оставались еще ревизоры для сыска беглых крестьян и рекрут, но и этим доглядчикам сумел хитрый заводчик загородить дорогу в свое горное царство. Когда сенат поручил Военной коллегии послать на демидовские заводы штаб-офицера с командой для ловли беглых рекрут, то фельдмаршал Миних «вдруг» высказал опасение, что «через такую чрезвычайную посылку не могут ли мастеровые и работные люди от страха разбежаться»²⁶. После миниховского «сомнения» Демидова освободили от очередной ревизии.

Горное «Ведомство Акинфия Демидова» превратилось как бы в суверенное государство, во внутренние дела которого почти никто не вмешивался. Слухи о демидовском серебре примолкли или стали еще более туманными...

Так было, как мы уже знаем, до января 1744 года, когда письмо колыванского приказчика заставило старого горнозаводчика, бросив все другие дела, спешно выехать в Петербург.

ТАЙНА НЕВЬЯНСКИХ ПОДЗЕМЕЛИЙ

Столичный спектакль о «первоприобретенном» серебре разыгрывался блестяще. Сценаристом и режиссером этого спектакля был сам Акинфий Демидов, а ведущим актером — барон Черкасов.

Получив в феврале 1744 года «милостивое высококомандное обещание», Акинфий Никитич прекрасно понимал, что пока еще сыгран только первый акт спектакля и для того чтобы иметь благополучный конец, очень важно не пустить на сцену актеров, которые могли бы испортить игру...

Сохранилось письмо Акинфия Демидова, в котором он сообщал барону о встрече с императрицей и, несмотря на, казалось бы, полный успех, просил Черкасова «подать его желанию руку помощи». И всесильный кабинет-секретарь императрицы взял все дело о колыванском серебре на себя. В демидовских интересах барон совершенно игнорирует Берг-коллегию, которая должна заниматься подобными делами. Высшую горную власть даже не извещают о столь значительном событии, с ней не советуются, не спрашивают ее мнения ни в выборе «сведущего чиновника» для «освидетельствования» колыванских руд, ни в составлении для него инструкции.

17 мая 1744 года императрица подписала подготовленный Демидовым и бароном Черкасовым указ, в котором повелела «послать бригадира Безра и с ним... поручика Ивана Улиха, который пробирное дело знает» на Колыванские заводы, чтобы удостовериться, «есть ли тех серебряных руд квантитет, чтоб завод завести»²⁷.

И только теперь, когда все уже решено, когда уже никто не осмелится оспорить волю императрицы, барон посылает в Берг-коллегию бумагу, информирующую высший горный орган о случившемся. В конце бумаги имеется приписка: «Для Берг-коллегии чрез сие объявляется для

известия». Никакого участия в серебряном деле Берг-коллегии не предлагают.

Горная власть была нейтрализована, но оставался еще саксонец Филипп Трегер. Ведь он привез с собой не только куски медной, но и чисто серебряной руды и даже серебряные самородки. Больше того, он прихватил и руду, которая содержала золото. Трегеровский донос может «исказить» историю «открытия» колыванского серебра. Ведь Акинфий Демидов совершенно определенно заявил, что до самого последнего времени он выплавлял только медь и, не зная, что «черность в меди была от свинцу», несколько раз переплавлял ее и весь свинец «тратил на огне». И только совсем недавно иноземец Яген Юнганс «изыскал часть серебра, которая в том свинцу есть».

Подал ли Трегер кому-нибудь свой извет, остается неизвестным. Но какие-то сведения, хотя и не самые опасные для Демидова, все-таки дошли до императрицы. 2 июля 1744 года появился еще один указ, подписанный Елизаветой Петровной, и по нему Филипп Трегер включался в экспедицию Беэра, который должен был теперь «освидетельствовать» не только серебряную, но и золотую руду. Кроме того, Беэра обязали секретно осмотреть на Урале казенные и частные заводы, так как «о состоянии их и с таким ли порядком производятся, как Наш интерес требует, Мы неизвестны и от Берг-коллегии того (известия) получить не можем».

Однако, несмотря на подозрения, которые появились у императрицы после приезда в столицу Трегера, для Акинфия Демидова все складывалось наилучшим образом. 24 июля 1744 года вышел указ императрицы Елизаветы:

«Известно Нам учинилось, что действительному статскому советнику Акинфию Демидову не только в том месте, где он по своим заводам ведом, но и в прочих правительствах чинят обиды и недельными прицепками волокину и разворение, паче же в его делах помешательство и остановку приключают; а понеже он, Демидов, кроме

Настоящей трудами своей государственной и народной пользы, особливо и собственные многие Нам верные службы показал, того ради повелеваем Нашему Сенату как в Берг-коллегию, так и в прочие места дать наши указы с наикрепчайшим подтверждением: ежели где до него, Акинфия Демидова, будут касаться какие дела или от кого будет на него в чем челобитье, о том наперед доносить Нам, понеже за его верные службы в собственной протекции и защищении содержать имеем...»²⁸

Горный магнат оказался, таким образом, в совершенно исключительном положении. Никто из горнозаводчиков не мог похвастаться столь высоким покровительством. И никто теперь не решится совать нос в демидовские дела.

Не опасался Акинфий Никитич и посланного на Колыванские заводы бригадира Беэра. Ведь Демидов сам предложил его в «доверенные чиновники» для «освидетельствования» алтайских руд. Вот уже много лет управляющий Тульскими оружейными заводами Андрей Беэр и могущественный горнозаводчик связаны друг с другом явными и тайными делами. Демидов вполне может положиться на Беэра, который относится к числу самых близких ему людей. Недаром подпись бригадира стоит под завещанием богатого и могущественного горнозаводчика. Беэр явно в чем-то зависит от заводчика. Об этом свидетельствуют его лстивые письма Демидову.

Ни в одном из многочисленных и подробнейших отчетов бригадира, посланных императрице из Колыванских заводов, которые Беэр тщательно «освидетельствовал», мы не обнаружим даже намека на какие-либо незаконные действия заводчика. Беэр знал, и знал наверняка от самого Акинфия Демидова, о нелегальной плавке серебра, но он будет молчать об этом до конца дней своих. Даже после смерти горного властелина он не только сам будет хранить демидовскую тайну, но сделает все, чтобы ее не выдали другие.

Беэр возвращался из Колывани уже летом 1745 года. По пути в столицу он еще раз побывал на Невьянском заводе, где, выполняя секретную инструкцию императрицы, оставил Ивана Улиха. Оставил его с особым заданием, но заранее дал знать об этом заводовладельцу, который находился тогда в Туле. Несмотря на «изнеможение», Акинфий Демидов выехал на Урал, доплыл на своих стругах до Камы, но, так и не добравшись до Невьянского завода, умер в пути 5 августа 1745 года.

Свое особое задание Улих выполнял без присутствия и надзора горного хозяина. Когда Беэр, вернувшись в Петербург, узнал о смерти Демидова, появился документ, составленный, видимо, под диктовку бригадира.

«Ежели соизволено будет от Кабинета Ея И. В. послать к обретающемуся в Екатеринбургe или на Невьянских заводах, оставленному бригадиром Беэром для очищения выплавленной на Колыванском заводе черной меди, из 246 п., и вынутия из нея серебра, гиттенфервальтеру Улиху указ с нарочным курьером, то написать в том указе следующее: ежели он, Улих, медь черную перечистил и серебро из нея отделил, то прислать бы оное серебро с тем курьером в Петербург при письменном извещении, а Улиху самому оставаться на месте; ежели же, паче чаяния, Улих из Екатеринбурга выехал и тот курьер повстречается с ним на дороге, то Улих все-таки должен отдать серебро курьеру, а сам должен следовать в Москву и там ждать прибытия туда бригадира Беэра, а в С.-Петербург не ездит»²⁹.

Столь сильное желание Беэра не допустить Улиха до Петербурга можно объяснить тем, что Улих, плавивший на Невьянском заводе серебро, мог вольно или невольно рассказать в столице о том, что так тщательно скрывал при своей жизни Акинфий Демидов и что теперь старался утаить Беэр.

Пожалуй, именно свидетельства Улиха могли бы пролить свет на некоторые тайны Невьянской башни. Ведь

если он плавил серебро на Невьянском заводе, то наверняка пользовался теми же плавильными печами, что и Акинфий Демидов. Технология отделения черновой меди от примеси других металлов довольно сложна. В XVIII веке она имела много стадий. Но окончательное отделение серебра от меди наверняка проводили в Невьянске скрытно.

Но где же плавил серебро и Демидов и Улих? В легендарных подземельях?

Впрочем, подземелья уже перестают быть легендарными.

В 1890 году на Невьянском заводе случился большой пожар. Когда стали разгребать пожарище, то под руинами одного из цехов обнаружили подземную мастерскую с плавильными печами. По крайней мере так сообщалось в дореволюционном справочнике Ф. П. Доброхотова «Урал северный, средний, южный».

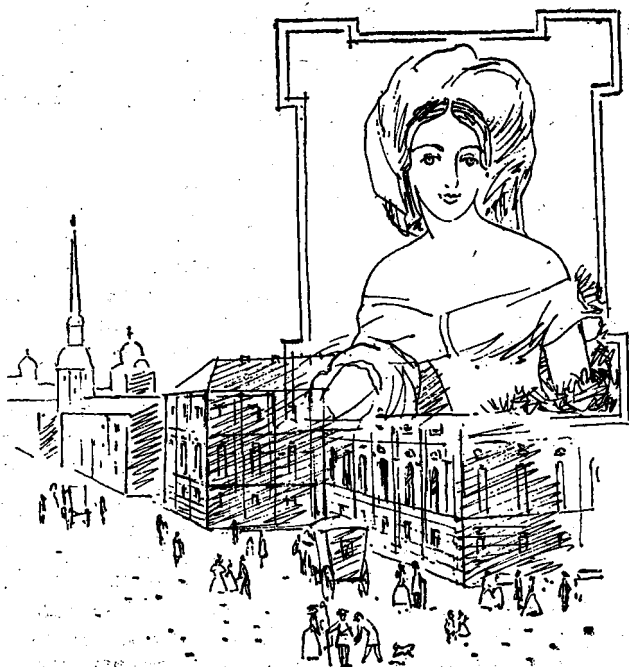
О подземельях вокруг Невьянской башни говорят и пишут давно. Какую-то часть подземелий теперь даже видят.

Через провал в земле неподалеку от Невьянской башни можно попасть в подземелье, могучие своды которого выложены из старинного красного кирпича. Подземелье заканчивается замурованной дверью... Дальше хода нет...

Но это лишь небольшая часть подземелий. Геофизические исследования, проведенные кандидатом технических наук В. М. Слукиным, показали, что вокруг Невьянской башни находится целый лабиринт подземных сооружений...

Где-то в этих подсмотренных геофизическими приборами подземельях, возможно, и находился тайный сереброплавильный завод Акинфия Демидова. Осталось ли что-нибудь от него? Наверное, какие-то следы и сохранились. Обнаружить эти следы и окончательно раскрыть одну из тайн Невьянской башни смогут только археологи.

Портрет „роковой“ Авроры



*Да, черт возьми,
Вон тот портрет,
Скажи,
Искусство или нет?*

Виктор Гончаров

Он висит в одном из залов Тагильского краеведческого музея. И обычно вызывает восхищение посетителей, несмотря на то что они уже успели удивиться другим редчайшим экспонатам музея и кое-что слышали о том, что здесь «нашли» мадонну, подписанную именем великого Рафаэля, и письма Карамзиных, раскрывшие пушкинистам много нового о последних днях жизни и гибели поэта...

Портрет Авроры Карловны Демидовой, принадлежащий кисти Карла Брюллова! Вроде бы портрет как портрет, «далеко не самый знаменитый у «Великого Карла». Тем более что рядом — в этом же музейном зале — произведения других известных живописцев и ваятелей: Федота Шубина, Антонио Кановы, Корреджо, Морелли, Гроота...

И все-таки брюлловская Аврора возбуждает особый интерес.

Загадочна, окружена дымкой таинственности сама Аврора. Неясны многие обстоятельства рождения полотна и его «приключений» до появления в музейной экспозиции. Спорен и образ женщины, созданный художником. Эти странные, широко раскрытые глаза. Их выражение неопределенно и многозначно. То в них чудится глубоко спрятанный трагизм, то спокойствие, то кажется, что они не выражают ничего. А уста, в которых только угадывается полунамек на улыбку, смысл которой тоже непонятен. Что хотел сказать художник? Мадонну или Венеру мы видим на портрете?

Загадочность интригует, будит естественное любопытство, желание проникнуть в тайну.

Всегда ли стоит поддаваться такому желанию? Не уподобимся ли мы ребенку, который, стараясь постичь секрет калейдоскопа, ломает его и взамен волшебного многоцветья получает горстку стекляшек? Всегда ли нужно пробираться в рабочую «кухню» художника, вникать в детали его творчества? Собственно, ведь не так уж и важно, когда и как жил прообраз портрета и жил ли вообще. Главное, чтобы художественное полотно затронуло душу, повернуло к тебе мир новой гранью. Внимательно му зрителю живопись и без всяких словесных пояснений очень многое может рассказать...

Многое, но не все. И иногда настойчивое любопытство словно змей-искуситель не дает покоя, заставляя заглянуть в мастерскую художника, вникнуть в его душевный настрой, узнать истинную судьбу изображенного на полотне человека, представить, каким он был в реальной жизни и каким понял его художник.

Как известно, портрет — таинственный сплав того, кто изображен, и того, кто изображает. Говорят даже, что почти любой портрет — это одновременно и автопортрет. Портрет как бы перекресток, где встретились два разных человека.

Наверное, не является исключением и портрет А. К. Демидовой, написанный виртуозной кистью Брюллова. Здесь тоже была встреча двух людей. Какая же? И кто они, эти встретившиеся люди?

А потому и захотелось мне, прежде чем выйти на перекресток, где родился живописный образ знаменитой красавицы, пройти жизненными дорогами Авроры Карловны Шернваль — Демидовой — Карамзиной и Карла Павловича Брюллова.

Начался поиск. Нижний Тагил. Свердловск. Москва. Ленинград... Музеи. Архивы. Библиотеки... Разочарование неудач. Радость находок. Нет, клад не попался. Удалось

только в разных местах собрать небольшие осколки, крохотные мозаичные кусочки, отражающие былую жизнь двух людей прошлого века. Их собственные письма. Письма к ним. Свидетельства современников. Исследования специалистов... Выписками, фотографиями заполнилась одна папка, другая... Теперь из этой документальной мозаики нужно сложить картину двух человеческих жизней...

ЛИКИ АВРОРЫ

Рок, который явно тяготел над нею, заставил задуматься суеверных.

Юрий Тынянов

Злая судьба людей, которых любила роковая и несчастная красавица, оставливалась на себе внимание и современников и потомков. Действительно, случайность неотступно шла по пятам Авроры и в суеверных людях могла бы утвердить убеждение в основательности их суеверий.

Викентий Вересаев

Редкую красоту этой женщины еще современники называли роковой. Потомкам же Аврора начинает казаться уже злой колдуньей из страшной сказки, которая испытывает свои губительные чары на всех, кто встречается ей на пути. И это не выдумка и почти не преувеличение. Она действительно «приносила» своим избранникам смерть. Перед свадьбой умирает ее жених Александр Муханов. (Иногда биографы «убивают» и первого жениха Авроры Шернваль — Карла Маннергейма.) После сравнительно короткой супружеской жизни смерть уносит двух ее мужей — П. Н. Демидова и А. Н. Карамзина. Аврора Кар-

ловна пережила не только отца, мать и отчима, но также двух младших сестер и брата, наконец, своего единственного сына и его двух жен, прожив сама на белом свете девятью четырьмя года.

Она несла погибель даже своим посмертным поклонникам. Поэт Георгий Маслов, которого затронула странная судьба этой женщины, собирался написать о ней большой роман. Однако замысел вылился в поэму «Аврора», где героиня, «себя орудием покорным Судьбы таинственной сознав», скорбно пронесит через жизнь свою злую миссию.

И на смерть роком обречен
Поцеловавший эти губы.

Еще во время работы над поэмой Маслов, словно попав в страшный круг трагических избранников Авроры, заболел тифом и вскоре после завершения своей поэтической повести умер на больничной койке. Один из друзей поэта откликнулся на его смерть такими строками:

Наивным и жестоким бредням
Твой стих чеканный посвящен;
Ты полюбил ее последним,—
Ты, как и первый, обречен.

Чем далее в прошлое отодвигалась реальная жизнь этой женщины, тем более зловещие оттенки приобретали воспоминания о ней, толкования ее образа. Брюллов же писал портрет после смерти первого избранника, которая была воспринята как несчастная случайность, и молва о смертоносных чарах красавицы еще не возникла.

Я пристально всматривался в лицо брюлловской Авроры, пытаюсь отыскать в нем роковые черты,— и чаще всего не находил. А иногда казалось, что в ее глазах я отчетливо замечаю покорное ожидание трагической судьбы. Но ведь я смотрю на портрет ретроспективно — мне уже известно, что было потом...

Однако бывает, что особый взгляд художника, и не только художника, пронизательно может заглядывать в будущее человека. Удивляются же до сих пор пушкинисты исключительной интуиции графини Долли Фикельмон, которая в самую счастливую пору супружества поэта прочитала на лице его жены трагическое будущее. В мае 1831 года графиня писала П. А. Вяземскому: «Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья...»¹ И в декабре того же года опять же Вяземскому с еще большей тревогой: «Пушкин у вас в Москве, жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность»². К сожалению, предсказания Долли Фикельмон сбылись...

* * *

Аврора Карловна Шернваль — знаменитая красавица... Самое имя ее было благодатным материалом для поэтов.

Юрий Тынянов

*...Что есть красота,
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?*

Николай Заболоцкий

Авроре Карловне повезло необычайно. Женщин прошлого века, которым выпала такая же редкая удача, можно перечислить поименно. Красотой Авроры восхищались, перед нею преклонялись, ее боготворили. Больше того, красота этой женщины не исчезла бесследно — она воспета и увековечена поэтами и художниками.

Культ женской красоты существовал, кажется, всегда, но у каждого времени был свой ритуал поклонения. В пушкинскую пору самые красивые женщины стали как бы средоточием светской жизни и занимали видное место на

балах, приемах, церемониях, обедах, загородных прогулках... Красоту считали чудом природы, созданным для любования; великим благом, дарованным человеку самим господом богом. И умение оценить, тонко восхититься красотой женщины тоже считалось особым талантом. Недаром Александр Пушкин, желая похвалить эстетические вкусы князя Н. Б. Юсупова, восклицал:

Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.

Модным красавицам оказывали особые знаки поклонения не только мужчины, но и сами женщины. В их дневниках мы находим подробные и восторженные описания признанных звезд красоты. А влюбленность в них как бы выходила за пределы обычных любовных отношений. Помните у Пушкина:

Куда бы ты не поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце не питал
Ты сокровенное мечтанье,—
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговей богомольно
Перед святыней красоты.

Вот одной из таких красавиц и была Аврора. До появления в балльных залах и аристократических салонах Петербурга и Москвы она жила в Финляндии, хотя по национальности ее считают шведкой. Родилась она в 1808 году, за год до того, как Финляндия перешла от Швеции к России. Отец ее служил Выборгским губернатором и умер, когда Авроре было всего семь лет.

Сестер Шерваль готовили к двум главным жизненным сферам — свету и семье.

Благодаря положению отчима — барона фон Валлена, который стал в Финляндии сенатором, молодые Шервали

входили в высшие круги тамошнего общества. Шестнадцати лет, как и положено, Аврора начала выезжать в свет — на балы и званые вечера, и уже тогда впервые познала силу своей красоты. В те времена на гельсингфорских балах царила «огненная» красавица графиня Закревская — молодая жена финляндского генерал-губернатора, «медная Венера», как называл графиню влюбленный в нее Пушкин.

Но вот появились сестры Шернваль — Аврора и Эмилия — и своей юной красотой затмили блеск Закревской: все молодые русские офицеры, которых было немало в Финляндии, оказались у их ног. В гельсингфорских гостиных зазвучали стихи Евгения Баратынского, посвященные «Авроре Ш...»:

Выдь, дохни нам упоением,
Соименница зари;
Всех румяным появлением
Оживи и озари!
Пылый юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с милою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

И потом — уже в Петербурге и Москве — красоту Авроры заметили, и не просто заметили, а восторженно оценили, опозитизировали самые тонкие знатоки женских прелестей, в том числе и князь Петр Андреевич Вяземский.

«Вот тебе и наш романс с Вильегорским, — писал он в сентябре 1832 года Александру Тургеневу. — Здесь проезжала финляндская красавица, Аврора, воспетая и Баратынским. Дурная погода и хорошенькое лицо ее, а к тому же имя, которое ей по шерсти, так в рот и влагали стихи. Заставь их пропеть кого-нибудь. Музыка очень мила»³.

И вскоре во многих светских гостиных пели и танцевали романс-мазурку:

Нам сияет Аврора,
В солнце нужды нам нет:
Для души и для взора
Есть и пламень и свет...

Ее красотой восторгались и в личных дневниках и частных письмах. Софья Карамзина писала за границу своему брату Андрею о том, что у них в доме побывала «блистательная Аврора с розовыми перстами, она в самом деле вся розовая и прелестна, как ее имя»⁴. Через десять лет Андрей Карамзин станет мужем Авроры Карловны, но тогда сестра не имела никакого основания быть пристрастной — тут же, в письме, она сообщала брату, что красавица выходит замуж за Павла Демидова и приходила с визитом перед отъездом к жениху.

В дневниках других современников мы найдем новые подтверждения «необыкновенной», «изумительной» красоты Авроры, слова о том, что «эта женщина — совершенство», и т. д.

Красота воспета не только поэтами, но и художниками. Кроме Брюллова Аврору Карловну писали и другие живописцы: не так давно Тагильский музей получил из Финляндии репродукции двух ее портретов. Вместе с сестрой Эмилией она запечатлена рядом с А. С. Пушкиным на рисунке Григория Гагарина. Облик прославленной красавицы остался и на акварели В. Гау.

Однако по финским портретам об истинном очаровании Авроры судить трудно — они писаны уже с пожилой женщины. Штриховой набросок Гагарина, конечно, не может передать истинного очарования красоты. Акварель Гау хороша, но главным живописным памятником красавице для нас является портрет, созданный Карлом Брюлловым.

Я подолгу вглядывался в этот портрет. Его фотокопии в цветном и черно-белом вариантах постоянно стояли на моем письменном столе во время работы над этим повествованием. И вот что кажется странным: когда от словесных восторгов о красоте Авроры Карловны обратишься к Брюлловскому портрету, то испытываешь некоторое разочарование. Иногда он приносит смутное ощущение, что тебе чего-то чуть-чуть, ну самую малость, не достает. Нет, конечно, на портрете — красивая женщина, очень красивая. И все-таки после свидетельств современников ждешь какой-то «необыкновенной», «исключительной», «роковой» красоты.

Что это, чисто субъективное ощущение? Или все дело в том, что у каждого времени свои красавицы?

Или есть другие причины этой странной неудовлетворенности?

В Брюллове? В том, что живая красота имеет особую тайну, свой секрет обаяния?

Ну, конечно же, скажет догадливый читатель, дело в живой красоте живой души, которая делает еще прекраснее красоту телесную. Возможно, и так. Но сначала не о душе.

Уже известная нам Доли Фикельмон 17 ноября 1832 года сделала в своем дневнике следующую запись: «Графиня Пушкина очень хороша в этом году, она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей возда-ет Пушкин-поэт»⁵.

Автор увлекательного исследования о Пушкине Николай Раевский считает, что Фикельмон говорит здесь о младшей сестре Авроры Карловны — Эмилии, которая в 1828 году стала графиней Мусиной-Пушкиной. Но дело, собственно, не в том, о ком именно идет речь в дневнике Фикельмон, а в том, что поклонение таких людей, как Александр Пушкин, придавало красивым женщинам «новый блеск». А потому и природная красота Авроры как бы вставлена для нас в драгоценную оправу — поклонение

таких поэтов из пушкинского созвездия, как Евгений Баратынский и Петр Вяземский, Василий Жуковский и Федор Тютчев. И она ярка для нас не только блеском собственной красоты, но и сиянием поэтических восторгов.

Для современников же Авроры — светских людей — в оценке женской красоты не менее, а для многих и более важным было и другое мнение — императора и императрицы... И здесь нам придется немного подробнее остановиться на светской биографии Авроры Карловны.

Как это ни парадоксально, с замужеством нашей блестящей красавице долго не везло. Романтическая любовь к молодому офицеру — адъютанту финляндского генерал-губернатора Александру Муханову почему-то не кончилась свадьбой. Затем двадцатилетнюю Аврору сватал ее кузен граф Карл Маннергейм. И здесь неизвестно почему дело не дошло до женитьбы. Один из мемуаристов туманно сообщает, что она «неожиданно» потеряла «своего жениха из туземцев». Судя по всему, Аврора не торопилась и с достоинством ждала будущего супруга. Однако, несмотря на безукоризненное воспитание, хорошее происхождение и блистательную красоту, сестры Шернваль отнюдь не были выгодными невестами и, по понятиям их круга, считались бесприданницами. Недаром Сергей Соболевский писал в своей эпиграмме:

Сияет Аврора, свежа и румяна,
В ней много для взора и шиш для кармана.

Но вот в 1830 году Гельсингфорс посетил император Николай. На пышном приеме Аврора замечена и даже получила титул фрейлины. Правда, этот титул еще не придворная должность, дающая положение при дворе и хорошее жалованье, а только надежда на нее. Однако все-таки надежда. И Аврора Шернваль едет в столицу.

Высший свет в Петербурге — это каста, куда неохотно принимают посторонних. Провинциалке же и попасть туда непросто, а еще труднее утвердиться там. Ей не простят

ни неловкости в манерах, ни запинки в французской фразе. Авроре помогли столичные связи отчима, а еще больше муж Эмилии — граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин, для которого теперь снова открыты двери столичных и московских гостиных и салонов. Граф странный и не совсем понятный Авроре человек. Но он любит свою жену и искренне добр к ее сестре. В семье Шернвалей и Валленов поначалу немного боялись этого брака. Ведь граф — тогда гвардейский капитан, состоял в тайном обществе, хотя в декабрьских событиях и не участвовал — случилось уехать по делам в Могилев. Там и был арестован, доставлен в Петербург, шесть месяцев содержался в Петропавловской крепости и был сослан в Петровский пехотный полк, стоявший в Гельсингфорсе. Здесь в мае 1828 года и состоялась его свадьба с Эмилией. Мать и отчим после колебаний дали свое согласие — о женихе даже в то осторожное время говорили только хорошее. И кроме того, родовит, богат, умница, тонкий ценитель музыки и живописи... Вскоре Владимира Алексеевича перевели на Кавказ, в действующую армию. По дороге он встретился с Александром Пушкиным, с которым давно был знаком и который «сердечно ему обрадовался». Поэт пересел в коляску графа, и они вместе доехали до Тифлиса. На Кавказе Мусин-Пушкин отличился в сражениях, получил два ордена и в 1831 году добился отставки. Ему разрешили жить в Петербурге и Москве, однако тайного надзора так и не сняли.

Аврора на много лет стала как бы членом семьи Мусиных-Пушкиных, подолгу жила в их домах то в Петербурге, то в Москве, лишь изредка выезжая в родную Финляндию.

Сестры закружились в круговороте светской жизни. После страшной эпидемии холеры, которая так долго держала столичных жителей в страхе и вынужденном уединении, светские люди набросились на развлечения с новой страстью, как будто старались наверстать упущенное.

Балы следовали за балами, один великолепнее другого. Император и императрица тоже участвовали в них. Император Николай поощрял развлечения. Он боялся русской аристократии — ведь из нее вышли самые страшные для него люди. И лучше, если эти родовитые дворяне не станут уединяться и вести отдельную от двора жизнь, а будут постоянно на виду. И Николай I держал свет в непрерывном движении, поощряя и организуя бесконечные приемы, балы, церемонии, парады, загородные прогулки, — должны же эти люди чем-нибудь заниматься.

Жизнь светского человека была напряженной — от нее уставали. «В Петербурге утомляет все, включая и развлечения», — заметил внимательный француз маркиз де Кюстин.

Граф Владимир Алексеевич после длительного перерыва возвращался к светской жизни и приобщал к ней свою жену и ее сестру, появляясь вместе с ними на всех балах и в гостиных. Сестер приняли сразу, и не только потому, что их ввел «свой», не только из-за безукоризненных манер и отличного французского произношения. Главным пропуском в свет стала, пожалуй, красота сестер. Каждая была хороша по-своему.

Эмилия — белокожая («белее, чем лилия», как заметил Михаил Лермонтов), с синими глазами, в которых тот же Лермонтов увидел «небо Италии», и (какой прелестьный контраст!) черными бровями. Она была очаровательно жива и беспечно весела: ее темперамент сравнивали с игривым шампанским.

И Аврора — темноволосая, смуглая, с красотой строгой и пластичной, всегда приветливая, полная спокойного достоинства. К тому же у обеих сестер было какое-то особое обаяние и искренняя сердечность, столь редко открывающаяся у холодных скандинавов.

Главное занятие женщин в свете — очаровывать — они осуществили блестяще. И сестер окружили вниманием, их обласкали, ими восхищались.

В июле 1832 года Аврору Шернваль официально представили императору и императрице.

Однако время шло. И несмотря на проявленную благосклонность императорской четы, Аврора так и не приблизилась к своей заветной цели — должности придворной фрейлины. Старый друг отчима генерал Ребиндер ждал удобного случая поговорить об этом с царем. Между тем заболела Эмилия, и муж решил увезти ее в Москву — подальше от петербургского климата, который она плохо переносила. Вместе с ними уехала и Аврора.

И здесь, в светских салонах первопрестольной, сестры снова имели успех необыкновенный. Князь Вяземский сообщал одному из своих приятелей: «В Москве все по-прежнему, за исключением двух новых финляндских звезд: графини Пушкиной и ее сестры Авроры, воспетых Баратынским и мною. Говорят, что все светила меркнут перед ними и московский Ришелье Норов увивается вокруг них и проводит у них все время. В самом деле, они обе восхитительно прелестны как внешне, так и внутренне».

Без преувеличения можно сказать, Аврора Шернваль общалась с самыми интересными людьми светского общества: талантливыми поэтами и литераторами, художниками и музыкантами. В том же 1832 году в гостях у Мусиных-Пушкиных не раз бывал и Александр Пушкин. Одну из таких встреч и зарисовал художник Григорий Гагарин, запечатлев рядом с первым поэтом России кроме графа Владимира Алексеевича сразу трех Шернвалей — Аврору, Эмилию и их брата Эмиля. Хотя Аврора, кажется, не очень заинтересовала Пушкина (по крайней мере никакого упоминания о ней в бумагах поэта нет), зато имя Эмилии нередко звучит в пушкинских письмах.

Но вот что странно. Все, кто любовался и восторгался ее прелестями, не приводят ни в письмах, ни в дневниках ни одной ее оригинальной мысли, ни одного примечательного действия, как будто она в спектакле жизни — актри-

са без слов и поступков и вся ее роль сводилась к тому, чтобы блистать красотой. Правда, иногда к слову «красива» добавляли «и умна», но это скорее дань вежливости или синоним слову «мила».

Автор здесь просто констатирует факт, что Аврора не оставила нам в наследство значительных интеллектуальных ценностей, а вовсе не упрекает ее и не предъявляет никаких претензий. Кажется, Пушкину приписывают такое шутовское выражение: «Терпеть не могу умных женщин — их ли это дело». Женская красота уже сама по себе огромная ценность.

Галина Леонтьева — автор отличной книги о Карле Брюллове, говорит о значительности духовного мира Авроры Карловны, но единственный ее аргумент состоит в том, что красавица была принята (не забудьте — вместе с Мусиными-Пушкиными) в самых интеллектуальных салонах того времени — у Зинаиды Волконской, Владимира Соллогуба, Карамзиных... И кроме этого, ничего конкретного о духовных богатствах Авроры. Другая исследовательница творчества Брюллова Э. Ацаркина утверждает, что на портрете художник изобразил типичную — пустую и равнодушную светскую красавицу.

Так какая же она, Аврора Карловна Шернваль — Демидова — Карамзина?

* * *

Она памятна и необыкновенною красотою и высокими качествами сдобного сердца.

Петр — Бартенев. Из примечаний к изданию воспоминаний об Авроре Карловне Карамзиной

Пока Аврора очаровывала москвичей, ее покровитель генерал Ребиндер занимался устройством ее придворной карьеры. Он навел справки, что фрейлины императрицы получают от двух до четырех тысяч рублей в год на всем

готовом (не всякий генерал имел такое жалованье), и искал подходящего момента для разговора с императором. В апреле 1833 года Ребиндер в письме к Валлену сообщал, что он дважды имел случай говорить с его величеством об Авроре. В первый раз «император, хотя и очень похвалил красоту молодой девушки, о приеме ее на службу при дворе не сказал ничего определенного. Но второй раз император сам затронул эту тему, спросив меня, находится ли мадемуазель Аврора все еще в Москве, не собирается ли она вернуться в Петербург, намерена ли задержаться здесь на некоторое время, не имеет ли планов выйти замуж и т. п. Он закончил словами: «...она очаровательная девушка, посмотрим, что решит императрица...»⁶.

Но вскоре желание занять место при дворе, блистать в аристократических салонах, все, о чем Аврора мечтала последнее время, потеряло для нее прежний интерес, отодвинулось куда-то в сторону. Все, все для Авроры теперь заслонила любовь.

Эта встреча была неожиданной и счастливой — встреча с первой любовью. Казалось, все было забыто — ведь прошло почти восемь лет, но прежняя искра не угасала в сердце Авроры. И она вдруг вспыхнула, разгорелась. Это было большое чувство, но спокойное и ровное. Она давно ждала такой любви и готовилась к ней. Ее идеалом с детства была семья, самопожертвование и терпение. К этому Аврору и ее сестер готовила мать, для которой семья являлась священной. Одиннадцать детей от первого мужа и пятеро от второго требовали редкой самоотдачи. Вырастить и воспитать столько детей (хотя многие и умерли, не достигнув совершеннолетия) — это подвиг для любой матери. Взаимная забота всех членов семьи друг о друге, забота искренняя, трогательная, беззаветная стала естественной потребностью и Шернвалей и Валленов. Вот эта любовь-забота и пришла теперь к Авроре.

Кто же был человек, которому отдала сердце наша красавица?

Шестнадцатилетней девушкой встретила она в Гельсингфорсе корнета Александра Муханова. «Пора пришла, она влюбилась». Романтическая любовь могла завершиться свадьбой. Мать и отчим, кажется, не возражали: Муханов принадлежал к старинному дворянскому роду и имел репутацию вполне порядочного молодого человека. Они расстались в 1825 году, когда Александра перевели в другой полк и он покинул Финляндию. Его приятели поговаривали, что он сам «не хотёл окончить начатого дела» и связать себя с Авророй узами Гименея. Честолюбивый корнет грезил тогда о славе Наполеона (как и многие русские офицеры), мечтал о дерзких подвигах, видел себя прославленным полководцем. С максимализмом молодости Муханов считал, что ради главной цели жизни нужно жертвовать всем, мешающим ее осуществлению. В письмах к братьям он рассуждал о «силе духа», о том, что «все определяется характером человека», что «нельзя позволить увлечь себя потоку страстей», что нужно поступать, как «умный и мужественный человек, который игре случая противопоставляет свои принципы и со спокойным хладнокровием делает себя «господином» своей жизни».

Мне не любовь твоя нужна,
Занятя ждут меня иные:
Отраднa мне одна война,
Одни тревоги боевые.

И он пожертвовал своей любовью к Авроре и ее любовью, а вскоре и забыл о ней — в дальнейшей переписке с друзьями ее имя после 1826 года не упоминается совсем. А круг его друзей и приятелей был интересен. Он дружил с Баратынским, Вяземским, Хомяковым, стал близким приятелем Пушкина. Правда, знакомство с поэтом началось с литературной полемики: в 1825 году Александр Сергеевич напечатал в «Московском телеграфе» резкую заметку о статье Муханова по поводу книги г-жи де Сталь «Десять лет изгнания». Но в 1827 году они встре-

тились в Москве, близко сошлись и стали на «ты». «Александр Пушкин, отправляющийся нынче в ночь, доставит тебе это письмо,— сообщал Муханов брату в Петербург.— Постарайся с ним сблизиться; нельзя довольно оценить наслаждение быть с ним часто вместе, размышляя о впечатлениях, которые возбуждаются в нас его необычайными дарованиями. Он стократ занимательнее в мужском обществе, нежели в женском, в котором, дробясь беспрестанно на мелочь, он только тогда делается для этих самок понятным».

После Москвы Муханов снова и надолго попал в действующую армию.

И вот почти через восемь лет встретила Аврора Шерваль Александра Муханова. Теперь это был молодой (ведь ему всего тридцать с небольшим) полковник, который участвовал в русско-турецкой войне, штурмовал крепости и города, получал ордена и титулы. Он честно выполнял свой воинский долг.

Но реальная война сожгла его воздушные замки. Он увидел бесполезную гибель людей без блеска и славы, горе и страдания, бедствия и болезни, интриги и подлость... Это было не просто разочарование, а душевный надлом, который усилили болезни. Сначала тяжелая лихорадка в Румынии, потом холера, после которой его едва вернули к жизни. Телесная слабость после болезней переплелась с душевной депрессией, дурным настроением, непонятным беспокойством. «Вся моя нервная система расстроена»,— писал Александр брату в июле 1831 года. Он уже не может и не хочет продолжать военную карьеру. Его последние письма из Румынии, где он находился по долгу службы, полны пессимизма и страданий. «Если в нашей жизни и есть что-то действительно хорошее,— пишет он родным,— так это только сердечные привязанности. Моя увядающая юность, мои мечты и надежды по глухой тропинке стремятся к одному-единственному мосту, к тихому уединенному существованию в кругу друзей»⁷.

К человеку душевно расстроенному, усталому и разочарованному, к человеку, который так нуждался в утешении, в успокоении, в теплой ласке, и потянулось сердце Авроры.

Они нуждались друг в друге. Любовь, казалось, исцелила Муханова, болезни временно сдались, отступили, душа его ожила и просветлела. Лишь иногда слабые приступы малярии продолжали его мучить, особенно в конце зимы в Петербурге, куда он приехал в самом начале 1834 года вслед за Авророй. Они уже тайно обручились, и жениху до свадьбы предстояло заняться разными делами — добиться отставки от военной службы, устроить свои денежные дела, получить церковное разрешение на брак с лютеранкой. Все это было не совсем просто, и, когда Муханов вновь чувствовал недомогание, он становился раздражительным и даже злым. «...На днях нелегкая дернет жениться, — писал он приятелю в дурном настроении. — Пришлось подыматься на аферы: ...Вообрази, в теперешний холод езжу здесь по городу в холодной шинели и то в чужой — не на что сшить теплой...»⁸

Но это были временные огорчения, именно теперь Муханов был счастлив, как никогда.

Аврора же переполнена счастьем. Даже по единственной сохранившейся записке к жениху можно судить о ее настроении.

«В твоих собственных интересах, мой дорогой Александр, я посылаю тебе лишь несколько слов, чтоб не утомлять твои красивые глаза, которые я надеюсь поцеловать завтра при их пробуждении. Эмилия больше уже не беспокоится о Володе, но зато теперь я беспокоюсь о тебе, потому что слышала от Грипенберга, что ты чувствуешь себя сегодня хуже. Завтра я прилечу в твои объятия, а до того посылаю тебе самый нежный из поцелуев, которые ждут тебя от преданной тебе Авроры. 8 часов вечера»¹⁰.

Даже известие, что придворные интриги ослабили ее

шансы на должность фрейлины, не огорчило ее теперь. По свидетельству знакомых и родных, никогда Аврора не была такой прекрасной, как в пору своей счастливой любви. Казалось, страсть пробудила все лучшее в ней. Она гордилась своей любовью, упивалась ею, появляясь на балах с видом счастливой победительницы, вызывая еще большее восхищение мужчин и завистливые и даже раздраженные взгляды светских красавиц...

В родном доме, в Гельсингфорсе, куда Аврора уехала в марте 1834 года, продолжалось ее счастливое ожидание свадьбы. Со дня на день должен появиться жених. Его ждет не только невеста, но и родные — для свадьбы уже все приготовлено. «Мы теперь все собрались здесь, — писала младшая Алина своей подруге в начале августа, — но наша радость омрачена известием о болезни Муханова, которая нарушает все наши планы на развлечения и праздники... Наши дни проходят в беспокойном ожидании...» И еще через день: «Мы переживаем прекрасные дни здесь, за городом, я так счастлива, что здесь Пушкины, что вижу Аврору такой влюбленной и довольной. Для моего счастья не хватает только скорого выздоровления Муханова. Каждое воскресенье приезжают гости с поздравлениями...». И еще через несколько дней: «Все меня покинули, чтобы успокаивать невесту, пребывающую в смертельном страхе из-за болезни своего избранника»¹¹.

В начале сентября в Тресчанде узнали о смерти жениха, и Аврора почти сразу же уехала сначала в Москву, а потом в Успенское — на могилу Александра. Горе сблизило ее с четырьмя его незамужними сестрами, которые были очень богомольны и до самозабвения обожали умершего брата. Здесь в Успенском она провела всю осень и почти всю зиму, скорбь ее стала тихой и спокойной и так же, как прежде любовное чувство, заполнила все ее существо. Она словно оцепенела в своем неутешном горе, отрешилась от всего, что не было связано с ее погибшей любовью. Вместе с сестрами она ухаживала за могилой

Александра, часами плакала над ней, подолгу молилась, слушала бесконечные воспоминания сестер. Все остальное для нее перестало существовать. Ей казалось, что счастье для нее теперь уже невозможно.

Весной 1835 года Аврора вернулась наконец в Тресчанду, где находилась семья, на которую напали, кажется, все несчастья: тяжело заболела сестра Алина, узнав об измене своего жениха, болела и умерла другая сестра — тринадцатилетняя Софи... Родной дом был наполнен горестной печалью...

Перед новым 1836 годом Ребиндер сообщил, что Аврора назначена наконец придворной дамой императрицы, и в феврале мать отвезла ее в Петербург. Теперь она стала жить в Зимнем дворце. Императрица Александра Федоровна требовала, чтобы ее занимали. Новая фрейлина была терпелива, спокойна и приветлива.

Жизнь брала свое, и оцепенение, которое охватило несчастную красавицу, стало постепенно слабеть. Ее снова называют в свете одной из самых блестящих красавиц сезона 1836 года.

* * *

*На свете счастья нет,
А есть покой и воля!*

Александр Пушкин

Еще летом в петербургском свете пошли слухи, что фрейлина Шериваль выходит замуж за богача Павла Демидова. В узких придворных кругах поговаривали, что именно императрица советовала и даже настойчиво уговаривала ее дать согласие на этот брак. Некоторые утверждали, что это идея самого императора, который хотя и недолюбливал своего придворного егермейстера, но хотел

женить его на русской подданной и тем избежать возможного брака одного из богатейших людей России с иностранкой, чтобы не дать ему, подобно отцу и брату, промотать огромное состояние за границей.

Подобные браки, совершаемые по желанию императора, являлись тогда делом обычным и в принципе не вызывали в высшем обществе никакого осуждения. Более того, Авроре завидовали: ведь ей «выделяли» одного из лучших женихов России — сказочно богат, образован, имеет положение при дворе, не стар, всего лишь на десять лет старше невесты. Софья Карамзина, ранее других узнавшая о намечающемся браке, писала брату Андрею за границу: «Извещаю тебя о золотой свадьбе: Аврора Шернваль выходит замуж за богача Павла Демидова. Какой контраст со скромной судьбой, ожидавшей ее в лице Муханова!» А в Гельсингфорсе гордились, что их соотечественница «сделала самую блестящую партию в истории Финляндии»¹².

Авроре же, даже если бы она и очень хотела, невозможно было противиться высочайшим желаниям — она полностью зависела от них. Кроме того, ей уже двадцать восемь, она явно засиделась в невестах, несмотря на свою немеркнущую прелесть.

Прошло уже два года после смерти Александра Муханова, сердечная рана Авроры затянулась, вновь возродилось стремление к самопожертвованию, ожила нерастроченная доброта, нежность.

Свадьбу сыграли в ноябре 1836 года в Гельсингфорсе. Павел Демидов постарался ослепить высший свет блеском своих богатств — ведь он брал в жены одну из первых красавиц Петербурга. Сказочно пышная свадьба, на которую жених сверх намеченной поначалу суммы потребовал с тагильских заводов еще полмиллиона рублей. Сказочно дорогой свадебный подарок невесте — великолепная шкапулка из золота и платины, добытых на уральских рудниках, а в ней кроме четырехрядного ожерелья из жемчужин

размером в лесной орех знаменитый алмаз Санси — седьмой по величине бриллиант в мире. Щедрые благотворительные пожертвования в честь супруги для ее родного города. И, наконец, портрет жены, заказанный лучшему живописцу России и Европы...

В то время, когда Карл Брюллов работал над этим портретом, Аврора Карловна Демидова уже в новом качестве — жены миллионера — наслаждалась светскими развлечениями в Петербурге. Об этом сообщал в письмах к Эмили Карловне князь П. А. Вяземский:

«Только сегодня утром (16 февраля 1837 года.— И. Ш.) получил я ваше письмо и приложенную посылку для вашей сестры (т. е. Авроры.— И. Ш.); сегодня же утром отвез ей эту посылку, впрочем не застав ее дома. Зато я видел Алину; она теперь здорова и сообщила мне, что Демидова последнее время все вечера проводит на балах. Сегодня она тоже на балу у Барантов, где будет двор»¹³.

На следующий день, 17 февраля Вяземский снова писал: «...Вчерашний бал был прекрасен, сестра же ваша так и блистала бриллиантами. Над челом у нее было солнце, но оно не могло затмить сияние Авроры. Назавтра назначен большой бал у Браницких, где тоже будет двор...»¹⁴

Итак, Брюллову позировала удачливая красавица, чью судьба после горестного удара наградила всем, о чем только может мечтать светская женщина той поры и к чему сама Аврора и ее семья готовились с ранних лет.

Так не отражает ли портрет Брюллова это спокойное счастье? Или эти глаза — маска, которая скрывает что-то другое?

Приглядимся же к семейной жизни нашей красавицы.

Супруг Авроры — Павел Николаевич Демидов — прямой потомок известной династии уральских горнозаводчиков. Первые Демидовы прославились не только крутым и жестоким нравом, но и как талантливые оружейники и металлурги, как предприимчивые пионеры, освоившие

горные богатства тогда еще дикого уральского края, как «фундаторы» крупнейших не только в России, но и в Европе заводов. Беспощадно, часто самыми кровавыми средствами принуждали они тысячи людей гнить в шахтах и гореть на «огненной работе». Но и сами трудились как каторжные. Получая от своего горного хозяйства огромные прибыли, первые Демидовы — Никита и его сын Акинфий — тратили их на новые рудники и заводы.

Их потомки, получив в наследство колоссальные богатства, не унаследовали деловых талантов и мощи характера своих предков. Более того, прослеживая историю рода уральских магнатов, мы явственно видим, как от поколения к поколению происходит ослабление семейной энергии и вырождение династии. И жизнь Павла Николаевича — убедительный тому пример.

Павел Демидов был уже не созидателем, а расточителем. Нет, если проследить его «внешнюю» биографию, то он покажется довольно деятельным человеком. Получив блестящее образование в Наполеоновском лицее в Париже, служил и по военной части (вышел в отставку 28 лет полковником), имел придворное звание егермейстера, был даже гражданским губернатором в Курске, явился учредителем и финансистом известной Демидовской премии Российской Академии наук, за что был избран почетным академиком, занимался щедрой благотворительностью...

Он вроде бы занимался и делами своих Тагильских заводов и даже однажды приезжал туда на несколько дней. Он выписывал для своих заводов европейских профессоров, посылал тагильских мастеровых за границу, давал умные советы мастерам, подписывал сотни солидных деловых бумаг... и не имел при этом почти никакого реального представления, как получают на его заводах чугун, железо, сталь, из которых отлит фундамент богатства и могущества Демидовых... Прадед Павла Николаевича считался лучшим металлургом России, был искуснейшим оружейником и пушечных дел мастером. Он знал, понимал и ува-

жал металл, который он прославил и который прославил его.

У Павла Николаевича Демидова тоже особое отношение к металлу: если потомку великого металлурга приходилось дотрагиваться до какого-нибудь металлического предмета, он брезгливо отдергивал руки и тут же немедленно мыл их. И даже Аврору заставлял делать это же.

Была ли какая-то аллергия причиной подобного отношения к металлу, может быть, и была, но более символического анекдота и нарочно не выдумашь. Ведь именно тагильский металл приносил Павлу Николаевичу огромнейшие доходы, чины, звания, словом, все, что делало его Демидовым...

Павел Демидов жил в основном за границей. Его странные и сумасбродные «деяния» свидетельствуют о том, что часто он просто-напросто не знал, что же ему делать со своим колоссальным состоянием. Богатство развратило его, не дав созреть и его личным дарованиям, если они были. Любое его желание, вплоть до самых странных и дорогостоящих, осуществлялось почти без малейшего усилия с его стороны. Наступила пресыщенность, пропал вкус к жизни, ослабли воля, интеллект, чувства, появились психические расстройства, «нервная тоска», проявляющаяся в диких приступах необузданного «русского самодурства».

Тридцативосьмилетний жених Авроры настолько поспешил пожить до брака в свое удовольствие, что к свадьбе истратил почти все свои физические и душевные силы и вынужден перед брачными церемониями несколько месяцев поправлять свое весьма подорванное здоровье на курортах Баден-Бадена. Сначала свадьбу назначили на один из октябрьских дней. Уже съехались гости, причем многие из дальних мест. Но жених заболел, и церемонии пришлось отложить на неопределенное время. Легко представить тревожное состояние невесты и ее родственников.

И как только жених почувствовал себя немного лучше,

родные невесты провели свадебные обряды, что и случилось 21 ноября. По свидетельству очевидцев, церемония бракосочетания представляла самое жалкое зрелище. Рядом с цветущей невестой находился полупарализованный жених, который оказался настолько слаб, что во время венчания не смог сделать и шагу и его пришлось нести вокруг аналоя в кресле. Только в середине декабря Аврора впервые смогла показать своего мужа гельсингфорскому обществу, появившись с ним на одном из балов.

У супруга оказался сквернейший характер. В нем, в этом огромном и тучном мужчине, по выражению сестры Алины, «большом, как башня», странным образом уживались самые противоречивые качества. То он бывал любезным, внимательным и приятным собеседником, то вел себя грубо и оскорбительно бесцеремонно. Его видели добрым, отзывчивым и щедрым человеком, которому в минуты сентиментального настроения ничего не стоило пожертвовать сумасшедшие деньги на больницы для бедных и детские приюты, то вдруг он становился мелочно скуп и бесчувственно жесток, с упрямством избалованного ребенка добивался исполнения своих желаний и прихотей, не считаясь ни с чьим мнением и противореча иногда даже самому императору, чем и вызывал его неудовольствие.

Кроме болезненного состояния и сумасбродного поведения Демидова привели в нервное раздражение петербургские сплетни, которые донеслись и до него. А в столице поговаривали об особом внимании, которое проявил император к фрейлине своей супруги летом 1836 года. Трудно сказать, насколько слухи соответствовали действительности, но так или иначе болезненно самолюбивого миллионера даже малейшее подозрение приводило в бешенство. Из-за столичных ли сплетен или по другой причине, но Демидов наотрез отказался, несмотря на старательные уговоры жены и ее родственников, нанести послесвадебный визит императорской чете, и Авроре пришлось ограничиться благодарственным письмом императрице.

Так уже с первых дней супружества в жизни Авроры было немало горечи.

Добросовестно и терпеливо она ухаживала за постоянно больным мужем, безропотно и покорно, но без унижения и даже с достоинством сносила его капризы и причуды. В супружеской жизни она вовсе не жаждала самостоятельности, наоборот, хотела бы жить интересами мужа, раствориться в них, отдать себя всю заботам о семейном очаге.

Она могла и стала позднее отличнейшей женой и матерью — в ней был особый талант к этому, ей присущи естественная доброта, умение сострадать, женское самопожертвование, жажда быть нужной человеку, которого любит.

Ее собственный выбор (Павел Демидов не в счет — здесь выбирала не она) раскрывает нам ее характер. Она дарит свою любовь не сильным и самоуверенным красавцам, а отдает ее страдающим, нуждающимся в поддержке, помощи, утешении, заботе. Случай с Александром Мухановым как раз тот, когда «она его за муки полюбила». В какой-то мере Аврора здесь сродни и чеховской «Душечке». Помните: «В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила». И последний муж Авроры — Андрей Карамзин — тоже был очень болезненным (последствия тяжелого ранения) и слабовольным человеком, которого нужно было опекать и поддерживать.

Она добра не только к близким людям, но сочувствует всем несчастным, которых видит, и старается им помочь. Оставшись богатой вдовой, Аврора Карловна Демидова занялась широкой и щедрой благотворительностью. «Население заводов, — писал Д. Н. Мамин-Сибиряк о тагильских жителях в 1885 году, — до сих пор с радостью и благодарностью вспоминают «мать Демидова», которая провела целое лето на заводах и оставила о себе самую хорошую память, главным образом, благодаря своей благотворительности и доступности... Аврора Карамзина, как

никто из прежних владельцев, умела обращаться с людьми, она была необыкновенно приветлива со всеми и занималась всевозможными вещами в жизни заводских рабочих: она крестила детей рабочих, бывала посаженной матерью на свадьбах, дарила бедным невестам приданое и т. п. По ее инициативе были построены богадельня, родильный дом, несколько школ и детский приют, стали выделять пособия при несчастных случаях...»¹⁵

Мы вовсе не намерены умиляться: эти благодеяния мало чем реально помогли тагильчанам. Но такие факты помогают лучше понять характер Авроры.

Она любила блистать на балах, хотела быть окруженной поклонением. Даже ее последний муж Андрей Карамзин отмечал, что ее «желание нравиться, по-видимому, не имеет никаких пределов». Естественное желание красивой женщины! Все это она делала с таким удовольствием, что, казалось, будто светская жизнь и есть для нее самое главное и радостное. И все-таки желание блистать в свете уступало в ней другому желанию, и с годами, естественно, все более и более. В одном из своих писем она признавалась: «Я люблю покой, покой души и тела». И в другом, из Тресчанды, где она провела вдвоем с Андреем Карамзиным несколько месяцев: «Я люблю эту спокойную и однообразную жизнь». И еще: «Я так счастлива здесь, что боюсь перемены не потому, что она может лишить меня счастья, а потому, что не будет того спокойствия, которое я так люблю».

О своем идеале семейной жизни Аврора писала сестре Алине так: «Это как раз такая семейная жизнь, какую я люблю: спокойная, нежная, серьезная, внешне однообразная, но заполненная душевными переживаниями. Первое слово, произнесенное годовалым малюткой,— радость; урок, который смог хорошо выучить семилетний ребенок,— счастье. Интересная книга, которую с жадностью слушаешь, когда муж читает ее вслух у камина,— наслаждение. И благодаря всему этому жизнь становится такой

серьезной, такой ценной, такой полезной, такой полной и для тебя самой, и для твоих близких...»¹⁶

Нет, все-таки судьба странна в своих парадоксах. Женщине, которая создана для тихой и размеренной семейной жизни и которая всем своим существом стремится к этому, она вдруг отводит роль роковой красавицы.

Аврора жаждала отдать свою любовь и сострадание, свою верность и терпение, свою доброту и заботу, но она хотела, чтобы и ее любили. Она надеялась, что со временем полюбит Демидова и вызовет у него ответное чувство. Эти надежды не оправдались. Супружескую жизнь четы Демидовых сопровождала взаимная неприязнь — то явная, то скрытая, то слабеющая, то обостряющаяся. И только терпимость Авроры, ее мягкость и такт в отношениях с вечно раздраженным супругом не дали развиться семейному конфликту. Она вела себя с внешним достоинством, но в глубине души была оскорблена отношением мужа, его мелочной скупостью и болезненной подозрительностью.

После отъезда из Петербурга Демидовы постоянно находились на европейских курортах, откуда Аврора посылала своим родным подробные письма, в которых, однако, почти ничего не сообщала о супруге, а после рождения сына имя его отца уже совершенно исчезло со страниц ее писем.

Ребенка она ждала почти три года, и уже никто не надеялся, что постоянно больной и растративший всего себя в прежней разгульной жизни Павел Демидов способен будет продолжить свой знаменитый род и стать отцом. И когда это произошло, Матильда Бонапарт — жена Николая Демидова (брата Павла) ехидно записала в своих мемуарах: «На рождение их сына смотрели как на чудо».

Муж перестал существовать для Авроры. Вся ее неразстроченная любовь и теплота отдавались только сыну Павлу, по крайней мере до тех пор, пока в ее жизни не появился Андрей Карамзин.

Но все это было потом, а тогда, когда создавался портрет, Аврора Демидова переживала самую разнообразную гамму противоречивых чувств и эмоций. И это наверняка как-то отражалось на ее лице. И эту противоречивость чувств мог видеть Карл Брюллов.

Увидел ли — уже другой вопрос. Ведь художник видит только то, что он видит. Он может не заметить многое, что не ускользнет от взгляда обыкновенного человека, так как внимательность художника особого рода. Человек может заинтересовать его не целиком, а какой-нибудь частностью, которая становится трамплином для его воображения, и художник может выразить не только, а часто и не столько другого, сколько самого себя... А может и проникновенно отразить в портрете сложнейшую судьбу реального человека...

Что именно увидел или не увидел в лице Авроры Карл Брюллов? И что выразил он в своем портрете? Для ответа на эти вопросы нам нужно постараться понять характер художника, его мироощущение, его душевный настрой...

Итак, читатель, пойдем другой дорогой-судьбой.

БРЮЛЛОВСКАЯ ДРАМА

*Брюллов был весь свой век баловнем
счастья и удачи.*

Владимир Стасов

*Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражения от победы
Ты сам не должен отличать.*

Борис Пастернак

Обычно Карл Брюллов писал портреты быстро — иногда всего за один сеанс. Над портретом же Авроры Демидовой художник работал около года, а может быть, и больше.

Исследователи его творчества портрет Авроры датируют 1837 или 1838 годом. Однако в дневниках Александра Тургенева можно прочесть: «9 декабря 1836 г... был у Брюллова, видел портрет Авроры». И еще: «28 декабря 1838 г. ...к Брюллову, там портрет Авроры»¹⁷.

Но Аврора Карловна уехала из Петербурга в Финляндию еще в августе 1836-го и вернулась только в середине февраля 1837 года. Сомнительно, чтобы Брюллов начал писать портрет без «натуры», несмотря на свою превосходную зрительную память. В июне он болел, присутствовал на посвященных ему торжествах в Академии художеств, ездил в Псков. Да и Аврора в это время находилась то в Петергофе, то в Красном Селе. Вероятнее всего, что портрет был начат в июле или августе, а затем продолжен уже в феврале...

Павел Демидов обратился с просьбой написать портрет своей невесты к художнику в то время, когда тот переживал период творческого спада...

Однако отказать, как он часто отказывал даже самым высокопоставленным и, выгодным заказчикам, Карл Павлович на этот раз не мог. Могущественные владельцы Нижнетагильских заводов так много сделали для него за последние годы, что отказ выглядел бы самой черной неблагодарностью.

Портрет Авроры долго не получался — Брюллову не работалось...

Что-то странное происходило с ним. Словно нарушилось равновесие в душе. Он раздражался, капризничал, бросался то в работу, скрываясь от всего мира в мастерской, то в пьяный разгул — и нигде не находил удовлетворения...

Началось это еще в Италии, где вместо четырех лет пенсионерства он провел тринадцать. И почти никогда его не мучила ностальгия, наоборот, он цеплялся за любую возможность, чтобы остаться еще и еще для того, чтобы идти в своем мастерстве дальше. И вдруг он почувствовал,

что топчется на одном месте, что пропал вкус к работе, что не может взять себя в руки, как будто ослабла в нем какая-то внутренняя пружина. И сразу потеряли свою прелесть красоты Италии — он словно пресытился ими, хотя раньше никогда не представлял, что это возможно.

И проснулись в памяти воспоминания — и о родительском домике на Среднем проспекте Васильевского острова, и о чопорной Академии, и о Строгановском саде на Черной речке, где он писал своего «Нарцисса». Впервые за много лет от нахлынувших воспоминаний защемило сердце — и потянуло домой, в родные места.

Однако что-то противилось в нем этому желанию, и он уже не знал: ехать ему или не ехать.

Он таки уехал из надоевшей Италии, от этой шумной, но так нужной ему славы, от любимой женщины, но не в Россию, а с научной экспедицией по Греции и Малой Азии... Через год в Константинополе в его колебания ворвалась внешняя сила и все решила за него: посол объявил ему волю императора — немедленно вернуться в Россию¹⁸. Теперь уже не ехать было нельзя.

Никогда и никого из русских художников не встречали в России с таким триумфом, как автора знаменитейшей картины «Последний день Помпеи». Брюллов был расстроган.

А ведь, казалось, что уже познал вкус славы. Совсем недавно вся Италия была в восторге от его «Помпеи». Устами европейских знаменитостей Каммучини, Торвальдсена, Вальтера Скотта вызказано самое высшее одобрение. Это была уже мировая слава. Теперь всем стало ясно — появился величайший художник современности. «Помпею» сравнивали с творениями Рафаэля, Микеланджело, Тициана. Брюллова поздравляли государственные люди Италии, в его честь устраивали приемы и балы, писались сонеты, Болонская, Миланская, Флорентийская академии избрали его своим членом...

И все-таки гостеприимная Москва встретила прослав-

ленного живописца по-особому радушно. В зале Художественного класса, только что открытого в доме Долгорукова на Никитской, в честь художника дали великолепный обед, на который собралась «вся» образованная Москва. А любимец первопрестольной баритон Лавров пропел, обращаясь к Брюллову:

Тебе привет Москвы радушной!
Ты в ней родное сотвори
И, сердца голосу послушный,
Взгляни на Кремль и кисть бери!
Тебе Москвы бокал заздравный!
Тебя отчизна видит вновь;
Там славу взял художник славный,
Здесь примет славу и любовь.
Искусства мирные трофеи
Ты внес в отеческую сень,
И был «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день!

Петербургские торжества в Академии художеств явились уже официальным признанием таланта и заслуг ее питомца. Чествование проходило по специальной программе. Ничего подобного не бывало раньше. «Великого Карла» воспевали соло и хором, торжественным маршем гремел полковой оркестр (небывалое явление в стенах Академии), горячо кричали «ура!» и «да здравствует Брюллов!». К «Помпее» уже почти два года толпами ходили на поклонение и восторгались, восторгались, восторгались... Жуковский, Лермонтов, Баратынский славили полотно. Гоголь, начавший тогда заниматься живописью, разразился огромной статьей. Пушкин после осмотра картины начал стихотворение, но почему-то так и не закончил. Восторгались так много и громко, что редкие реплики скептиков ничего не значили.

Божественные почести, неземной успех! Брюллова вознесли на Олимп. Писать, как Брюллов, быть, как Брюл-

лов, достигнуть такой же славы, как Брюллов,— вот предел мечтаний молодых художников.

Он и в самом деле являлся виртуозом в живописном ремесле и достиг редкого совершенства, поднялся на такую вершину, где не побывал еще ни один художник России.

И это совершенство не пришло само — он сотворил его.

Он сам почувствовал свой талант еще в Академии и довольно скоро стал первым учеником. Профессора хвалили его за отличное знание анатомии, за красоту и упругую энергию штриха, за безукоризненность светотеневой проработки, за редкое чувство цвета. Уже тогда на него смотрели как на чудо. И уже тогда он мечтал о славе и решил добиться ее во что бы то ни стало.

На выпускных экзаменах — первая золотая медаль и затем пенсионерство в Италии...

Он умел работать с упорством необычайным и без устали копировал антики, Рафаэля, Тициана... Он знал, что делал. «...Надо было переживать 400 лет успехов живописи, дабы создать что-нибудь достойное нынешнего требовательного века», — заметил он в одном из своих писем¹⁹.

И как старательно он «переживал». Пожалуй, мало сказать старательно: неистово и с «благородным подобострастием», как он сам выражался, пытался проникнуть в тайны величайших колористов. Только на копию «Афинской школы» Рафаэля потратил он четыре года напряженного труда, одновременно работая и над своими полотнами. Он вкладывал в работу все силы, напрягаясь до предела, до дрожи в руках и ногах, до головной боли, до обморока.

Он проник во многие тайны великих мастеров, понял то, что может создать живописный эффект, овладел светом и тенью, мог позволить себе самые неожиданные ракурсы, дерзко решал труднейшие живописные задачи... Ка-

торжным трудом он достиг необычайной легкости своей кисти.

Нет, не зря он гордился собой и недаром другие восторгались его мастерством.

Так откуда же это ощущение неуверенности, даже, скорее, зыбкой ее тени, которая то набегаает, то пропадает, это ощущение нереальности, иллюзорности его высокого положения? И почему ему постоянно хочется доказывать себе и другим свою гениальность?

Брюллов очень любил писать женские портреты, ибо женщина для него была наивысшим воплощением красоты. «Только женщиной могло увенчаться мироздание», — вырвалось как-то у художника. Ранние брюлловские портреты — это восхищение физической красотой. Позднее, в петербургский период особенно, он стал искать на женском лице отражение «истории сердца». Но, как правило, отдавал предпочтение какому-либо одному настроению или одной страсти. Лучшим по выразительности считается портрет Юлии Самойловой, единственной женщины, которую он по-настоящему любил.

Другие же его женские портреты обычно не отличаются психологической глубиной, хотя мы и чувствуем намерение проникнуть в человеческую душу. Окном во внутренний мир человека для Брюллова (конечно, не только для него) были глаза. Даже недружелюбный к художнику Стасов и тот отмечал, что «во всех портретах кисти Брюллова лучше всего глаза». И разъяснял: «Он, особенно в портретах, не пишет глаза, а пишет взгляд, одушевленный внутренним миром характера, мыслей, привычек, страстей изображаемого лица»²⁰.

Вглядимся в широко раскрытые глаза Авроры. Они тщательно выписаны. Художник возвращался к ним не раз, пытаясь понять этот взгляд. И не понимал, не мог понять, поймать его выражение. Что спрятано в глазах?

Сдержанность? Покорность судьбе? Равнодушие? Или глаза — маска, которая что-то скрывает, утаивает? А мо-

жет быть, в глазах просто ничего нет? Но вот какая-то легкая тень пробегает по лицу, в глазах что-то меняется, но так неуловимо, так неопределенно...

Он чувствует свое бессилие проникнуть в мир переживаний человека, сидящего перед ним. Разговорить, расшевелить, заставить хоть на минуту скинуть маску... Нет, не удастся. Лишь слабая улыбка тронула губы. Что это? Улыбка спокойного удовлетворения или горечи?

И он вдруг понял, что опять — уже не в первый раз — ему не дано заглянуть в человеческую душу и понять ее. Но почему же?

* * *

Имей он талант Брюллова, или имей Брюллов душу и сердце Иванова, каких чудес мы были бы свидетели.

И. С. Тургенев

Иногда ему казалось, что все это от усталости, от нервов, от болезни, которую он перенес во время путешествия на Восток, казалось, что странное наваждение скоро пройдет, исчезнет и придут покой и уверенность.

А иногда ему почему-то вспоминался Александр Иванов. Странно. Ведь он почти не обращал внимания на этого юного художника, появившегося в Италии, когда он, Брюллов, был уже у вершины славы. Он даже старался избегать его. Почему? Как и другие поклонники, Иванов молился на восходящее светило, говорил восхищенные слова, слова, которые ему нравились, которых он ждал, которые были нужны ему. И Иванов никогда не видел в нем соперника — чувствовал, что ни в рисунке, ни в колорите не приблизится к нему. И сам Иванов, называя Брюллова «сильнейшим в искусстве», признавался друзьям, что «никогда бы не хотел состязаться с сим Герку-

лесом». Он только вымаливал у него совета, подсказки, помощи в своем ученичестве, Брюллов же обычно равнодушно отмахивался. И тогда Александр упрасивал в письмах своего отца — одного из учителей Брюллова в Академии, «чтобы он, уважая вас, согласился быть моим советником по искусству».

Нет, не поэтому, конечно, он избегал Александра Иванова — Брюллов любил покровительствовать. Его рассердило тогда, что этот мальчишка стал поучать его, стал давать советы, как стать настоящим художником. Как это он: «Владеть кистью — этого очень мало для того, чтобы быть живописцем». И что-то смущенно бормотал о душе, которая должна страдать и мучиться, о том, что нужно быть в мире с самим собой, что он (Брюллов?!) несчастен, ибо не может быть ни добрым, ни спокойным.

Он и сам говорил другим нечто подобное, и ему было приятно это говорить. Но когда об этом же, смущаясь и заикаясь, говорил Иванов, становилось как-то тревожно и неуютно.

Страдать... Он вовсе не любил страдать, он всегда бежал от страданий, старался, по возможности, не замечать их. Ведь в мире есть красота — и это главное. Он видит красоту, чувствует ее, восхищается ею, переносит на свои полотна и заставляет восхищаться других. И напрасно Иванов советует прислушаться к Байрону:

Терпи и мысли — создай в себе
Мир внутренний, чтоб внешнего не видеть:
Сломи в себе земное естество
И приобщись к духовному началу...

Нет, он, Брюллов, предпочитает «земное естество», ведь оно так прекрасно. И чтобы понять это, стоит только по-брюлловски всмотреться в окружающий мир. И надо не страдать, а наслаждаться, радоваться всему прекрасному...

Они так и не сошлись, несмотря на все старания Иванова. Ибо даже по-житейски были несовместны. Брюллов вне мастерской всегда окружен свитой друзей и поклонников, веселый, искрящийся, остроумный, уверенный в себе. И Александр Иванов — вечно одинокий, угрюмо-сосредоточенный, углубленный в себя, неловкий, сомневающийся...

Но ведь у них было одно и то же божество — искусство. Да, только поклонялись они ему по-разному. И они разошлись, и каждый пошел своим путем.

Александр Иванов ушел в искания. Он шел медленно и внимательно, без суеты всматривался в мир и одновременно не менее внимательно — в себя. Он творил себе душу, прежде чем творить картины, он растил в себе пытлившую душу пророка, жаждущего истины и не боявшегося мученичества. Он сам обрек себя на скромное, даже аскетическое существование. До конца своей жизни он часто за целый день довольствовался стаканом кофе и черствой булкой или чашкой чечевицы, которую сам варил в мастерской. Друзья и доброжелатели настойчиво советовали ему поторопиться с его главным полотном или на время отвлечься от него, чтобы написать небольшие картины для продажи. Ах, как это было соблазнительно: только согласись на выгодные заказы — и исчезнет оскорбляющая нищета, скажи «да» на предложенный академический чин — и твердое, всеми уважаемое положение. Как хотелось иногда уступить соблазну, как хотелось! Но он, — вспоминал один из его близких, — «как Иов, пораженный проказою, стонал от боли и, однако же, не слушался друзей». Он знал, что цена такой слабости была бы для него непомерно велика, ибо взамен надо отдать душу. «Вы полагаете, — писал Иванов в 1836 году отцу, — что жалование в шесть-семь тысяч по смерти, получить красивый угол в Академии — есть уже высокое блаженство для художника? Я думаю, что это — есть совершенное его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен,

никогда никому не подчинен, независимость его должна быть беспредельна... Купеческие расчеты никогда не подвинут художества вперед, а в шитом, высокостоящем воротнике тоже нельзя ничего сделать, кроме как стоять вытнувшись...».

Всю жизнь упрямо Иванов шел к одной цели, к одной картине, заблуждаясь, отчаиваясь, страдая, вместе с красками выплескивая на полотно свою измученную от поисков душу. Иванов понимал, что он хочет.

Он отказался от проторенной дороги и топтал свою тропу...

...Брюллов с удивлением рассматривал свой эскиз. Вгляделся и испугался... Отыскал в мастерской самый укромный угол и засунул эскиз среди старых холстов так, чтобы он больше не попадался на глаза. Много лет спустя искусствоведы обнаружат этот эскиз к «Помпее» и тоже удивятся — ведь он так отличен от других брюлловских эскизов к этой картине. Нет, не по технике исполнения, а по своему подходу, по отношению к изображаемому. Здесь, в эскизе, было не красивое и эффектное изображение трагедии, а ее страшный образ, «грубая натура» и еще то, что заставляет человеческое сердце содрогаться, а не восклицать восторженно: «Ах, как красиво!»

В этом странном эскизе Брюллов словно забыл свое главное правило — не копировать натуру, а облагораживать ее. Видно, на какое-то время и впрямь забыл. Забыл, а потом опомнился. Наверное, вспомнил и зрителя и себя. Он очень хотел удачи — своей главной удачи — и не мог рисковать. Конечно, его картина будет новой, не похожей ни на какую другую, но все-таки не слишком новой — иначе зритель ее не примет: нельзя оскорблять привычных его вкусов.

Но дело не только в зрителе. В этом эскизе он увлекся и чуть не изменил самому себе. Ведь для него мир пре-

красен, несмотря ни на что. Красота — это главное, на остальное можно не обращать внимания. Он наслаждается тем, что есть, и не слишком помышляет о том, чего нет. Он видит красоту и воспевает ее в своих полотнах. Он не раздумывает над миром, а восторгается им. Нет, он размышляет, много размышляет, но когда доходит до определенной черты — вовремя останавливается... А иначе он просто не написал бы эти итальянские «Праздники», «Пляски», «Карнавалы», «Гулянья», которые полны ликования, радостного веселья, безмятежных улыбок.

Он понимает: зритель ждет от живописца и трагических сюжетов. Так вот вам «Последний день Помпеи» — одна из великих трагедий. Но и трагедию он сделает красивой и великолепной, очищенной от грубых страданий.

Он не любит страдать ни в искусстве, ни в жизни. Он бежит от чужих страданий. Он отворачивался каждый раз, когда по улицам Рима проводили каторжников для разборки руин. Во время карнавала он равнодушно прошел мимо тела рабочего, который упал с колокольни и разбился. И описывая затем в своих письмах веселье карнавала, Карл даже не упомянул об этом.

Нет, его нельзя назвать недобрым — почти никогда он не отказывал в помощи своим друзьям. Можно составить целый перечень его добрых дел. Но он боялся страданий и своего сочувствия страданиям других. Тогда, при работе над тем странным эскизом, сочувствие, возбужденное воображением, сорвалось с тормоза и прорвалось на полотно. Потом он умертвил его в себе. Сколько раз он это делал? Кто знает...

После «Помпеи» он очень устал. Несколько месяцев не брал в руки кисти. В Милане кто-то спросил его: не порадует ли великий Брюллов миланцев чем-нибудь и новым? Брюллов разозлился. Тут же попросил холст, мастерскую и семнадцать дней не выходил из нее. А когда вышел, показал полотно «Инецца де Кастро» — драму женщины, на глазах у которой придворные закололи ее

детей. Казалось, в картине было все: отличная композиция, безупречный рисунок, знаменитый брюлловский колорит. Не хватало только живой воды — картина была мертва. И это увидели все...

Вот тогда-то Брюллов впервые почувствовал, что с ним что-то неладно. Но он отгонял сомнения, ставил на мольберт все новые и новые холсты, искал новые сюжеты. Нужен только хороший сюжет, думал он, и все будет в порядке. Но ни одну картину в то время так и не закончил... Вот тогда-то он и покинул Италию.

Потом уже в Москве, когда Пушкин пытался увлечь его сюжетами из русской истории, горячо рассказывал о Петре, Брюллов загорался, приступал к множеству эскизов на разные сюжеты, но также быстро остывал. Тогда же он показал поэту свой давно вынашиваемый сюжет «Нашествие Гензерика на Рим» — тему страшного народного бедствия. Эскиз очень понравился Пушкину, он даже сказал, что это может быть выше «Помпеи». «Сделаю выше!» — с искренним жаром воскликнул тогда Брюллов. И не сделал ничего.

К отношениям Пушкина и Брюллова мы еще вернемся. Здесь же отметим только вот что. Пушкина обычно безоговорочно записывают в ряд самых восторженных поклонников «Помпеи», упоминая при этом, что после осмотра картины поэт написал в ее честь стихотворение. Вспомним его.

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко разлилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом,
Толпами, стар и млад, бежит из града вон...

Как видите, только простое описание сюжета. Кроме того, стихотворение не закончено. Может быть, потому, что картина не вдохновила поэта на более глубокие мысли, не дала достаточно сильного толчка его воображению?

Пушкин не мог не оценить таланта Брюллова. Сам отличный рисовальщик, он неплохо разбирался и в живописи, но, судя по его «выше», он вовсе не считал «Помпею» непревзойденным шедевром и, пожалуй, больше смотрел на Брюллова как на будущую надежду русской живописи.

* * *

Как хотелось Брюллову после «Помпеи» подтвердить себя в новой большой картине. Еще в Москве он перебрал множество сюжетов. И, кажется, выбрал. По крайней мере, во время встречи с императором в июне 1836 года ему будет казаться, что он выбрал.

«Я хочу заказать тебе картину», — такими словами встретил царь художника в своем кабинете и, после молчаливого поклона Брюллова, объяснил свой замысел. «Напиши мне Иоанна Грозного с женой в русской избе на коленях перед образом, а в окне покажи взятие Казани». После молчания Брюллов сказал: «Можно написать вместо этого сюжета «Осаду Пскова»?» Николай был недоволен таким своеволием, но все-таки произнес свое сухое «хорошо»²¹.

Как будет раскаиваться потом Брюллов. Лучше бы император ответил тогда отрицательно и настоял на своей теме. Тогда можно было бы сослаться на то, что ему навязали сюжет, а потому у него и не получилось.

И как рьяно он взялся. Через несколько дней после разговора с императором был в Пскове. Но уже по дороге пропало вдохновение. Он ходил по древнему городу вялый, хмурый, так ничего и не зарисовав. Ни старые стены Псковского кремля, ни величие Печерского монастыря не взволновали его. Искры не было — огонь не загорелся.

Почти восемь лет будет работать он над этим самым огромным своим полотном и работать очень добросовестно — он отдаст этому холсту гораздо более времени и сил, чем «Помпее». Но ничто — ни самое тщательное изучение

источников, ни внимательное знакомство с этнографическим материалом (оружие XVI века по его требованию приносили ему в мастерскую прямо из арсенала), ни воинское учение со взрывом стены, которое устроил император по просьбе художника, — ничто не спасет его от неудачи.

«Последний день Помпеи» до конца жизни художника останется лучшим его творением. Это полотно и сам Брюллов очень любил: ученик художника Мокрицкий вспоминал, как его учитель однажды долго стоял перед своей картиной и потом сказал: «Право в ней много хорошего; не написать мне другой «Помпеи»!» — «Бог милостив! — возразил я, — к чему отчаиваться». — «Нет, меня здесь много сердят...»

«Сердило» Брюллова в Петербурге многое. И в том числе — царь. Это может показаться странным. Ведь, пожалуй, ни к кому из художников поначалу император так не благоволил. Владелец «Помпеи» Анатолий Демидов, привезя полотно в Петербург, подарил его Николаю и «удостоился благосклонного принятия». В своих письмах Демидов настойчиво уговаривал Брюллова как можно быстрее приехать из Италии в русскую столицу, «не опасаясь ничего». (?!), что встречен он будет отменно и Академией и самим императором, а захочется опять в Италию, «удержены здесь не будете»²².

Последнее Демидов обещал зря, а насчет остального была истинная правда. И почет, и уважение, и профессорский чин, и огромнейшая квартира-мастерская в самой Академии, и первое место среди придворных художников, и самые лучшие, самые выгодные заказы... И высочайшая благосклонность...

И все-таки Брюллов страшно боялся николаевского Петербурга. И уже вернувшись в Россию, как не хотел он ехать в Петербург. После первой же встречи с ним Пушкин сообщал жене 4 мая 1836 года: «... он хандрит, боится русского холода и прочего...»²³ И прочего...

14 мая поэт писал: «Зываю Брюллова к себе в Петербург — но он болен и хандрит»²⁴. И еще 18 мая: «Брюллов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист... черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать»²⁵.

Пушкин редко жаловался. А тут после разговора с Брюлловым вырвалось — наболело.

К талантам — а каждый талант для Николая I был потенциально опасен — император применял не только кнут, но и пряник. А пряник был ядовитый. В отличие от Александра Николай не применял к Пушкину никаких репрессий, наоборот, он навязал поэту свое покровительство, одел его в тесный камер-юнкерский мундирчик, дал неплохое жалованье. Он опутал поэта милостями так, что тот не мог шелохнуться. И держал его около себя — так безопасней. Как рвался Пушкин из этих пут. Просился отпустить его то в Париж, то на Кавказ, то с посольством в Китай, то в деревню — в уединение. И всегда запрет...

Брюллов уже в Италии много знал о царе — от русских художников, от Николая Тургенева, от Чаадаева, от других русских. И этими слухами был заранее напуган. Он слышал, что император считает себя знатоком в искусстве: давал советы Пушкину, собственной рукой исправлял проекты архитекторов, указывая живописцам не только сюжеты, но и композиции...

Брюллов испытывал к императору антипатию. Его самолюбие было все время настороже, и он постоянно демонстрировал свою независимость, часто вел себя капризно и дерзко. Уже на первом приеме он не принял предложенного императором сюжета. Он как мальчишка удрал из Петергофа, не закончив портреты императрицы и великих княжен, которые писал по просьбе Николая. Он сбежал из мастерской от портретного сеанса с царем, воспользо-

вавшись тем, что тот опоздал на несколько минут. Он притворился больным и забрался в постель при посещении самодержцем его мастерской, хотя знал, что император видел его здоровым в окне, когда подъезжал к подъезду.

Николай выражал недовольство его выходками. Но и только. Монарх, считавший любое неповиновение тяжким преступлением, словно не придавал выходкам художника серьезного значения, он как будто понимал, что Брюллов не опасен, и разрешал ему капризничать по мелочам и только иногда журил. Николай I был подозрителен и беспощадно жесток с теми, кого он боялся. Брюллова он не опасался и поэтому снисходительно разрешал ему тешиться иллюзиями.

Брюллов любил похвастаться своей независимостью (за все годы профессорства в Академии ни разу не надел обязательного для других профессоров мундира), но чутко чувствовал на себе власть петербургских обстоятельств, раздражался, мучился, искал выхода своим творческим желаниям. И, кажется, нашел.

* * *

*Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.*

Борис Пастернак

Даже самые жестокие критики Брюллова — Стасов и Бенуа, поносившие его самыми уничтожающими словами, признают, что в портретах талант художника «пробился... до полного великолепия». Благожелательные исследователи брюлловского творчества также считают, что как портретист он наиболее интересен.

Портретный мир Брюллова заселен сотнями самых разных людей. Объединяет их только одно: все они чем-то заинтересовали художника, иначе же не попали бы на

холст. И самые великолепные портреты — это признают все — портреты петербургского периода.

Брюллов и сам признавался, что отдавал портрету лучшие часы своей жизни.

Большая сюжетная картина, так называемая историческая живопись, считалась официальным, казенным жанром, ее писали по строгим канонам, она находилась под властью и контролем Академии и самого императора. Жанр же портрета причисляли к разряду «низших». Портрет был частным делом художника, за исключением, конечно, парадных портретов. В портрете Брюллов чувствовал себя не только свободнее, но и сильнее, портрет у него «получался». Здесь он был властелином, магом, волшебником, он пускал в свой портретный мир только избранных и делал с ними все, что хотел. Он мог сделать несчастного счастливым, безобразного красивым, злого добрым... Но он делал эти чудеса только с теми, кто ему нравился. А в этом выборе он был своеволен и капризен. Ни самые настойчивые уговоры, ни бешеные деньги, ни высокий чин заказчика не могли принудить его взяться за кисть, если человек ему чем-то не понравился. А причуды у него были самые неожиданные. Он отказался сделать портрет признанной красавицы (а больше всего на свете он любил писать красивых женщин) только под предлогом, что в ее лице, как ему показалось, «есть что-то кислое». В лицах людей он искал красоту — свою, брюлловскую, красоту — и переносил ее на холст. Здесь у него были свои правила. «Удержать лучшее в лице и облагородить его — вот настоящее дело портретиста», — говаривал он.

Портреты Брюллова — это рассказ о жизни его души.

Посмотрите на его итальянские портреты двадцатых годов — от них веет радостью бытия, молодым восторгом, восхищением красивой плотью... Ему дела нет до тайников человеческой души, где спрятаны огорчения, печали и заботы, — ему там просто нечего делать. Это портреты

художника, который молод и счастлив и пишет только счастливых людей, живущих не на нашей грешной земле, а в беззаботной идиллической Аркадии...

А теперь всмотримся в петербургские портреты. Брюлов здесь уже другой, и это «другое» отражается в написанных им портретах.

Например, портрет Нестора Кукольника. Подолгу вглядывался я в эту застывшую во внутреннем смятении фигуру, в это лицо с неустойчивым настроением, лицо, в котором отразились и безнадежное сомнение, и едва уловимая горькая насмешка. А эта рука, точно протягивающая вам шляпу — подайте надежду! И все это на фоне глухой, мрачно-серой, облупившейся стены, и только слева — узкий просвет с далеким голубым небом надежды...

Портрет Кукольника явно выпадает из всего, что написал до этого Брюлов. Неужели жизнелюб и весельчак Карл Брюлов создал его? Ведь никогда до этого не изображал он человека в минуты уныния. А теперь написал. И не только Кукольника, но еще и себя, и не только себя, но и образ эпохи с ее горьким привкусом сомнения и раздвоенности.

Кукольника Брюлов знал лучше других петербургских знакомых. И не просто хорошо знал. Именно Нестор Кукольник был самым близким, самым душевным другом и Брюллова и Михаила Глинки. Правда, очень коротко они сблизились позднее; тогда же, осенью 1836 года, когда писался портрет, художник знал Кукольника всего несколько месяцев. Но уже тогда он понял настроение этого человека, может быть, потому, что оно было созвучно его собственному. Именно в эту свою первую петербургскую осень он страшно хандрил — страдал и раздражался от холодной и мокрой здешней погоды и от всего «прочего», как говаривал Пушкин.

И в душе и на палитре исчезли светлые и радостные краски, навалилась тоска и тревога, и он жил в беспокойном душевном смятении.

И поэтому в портрете Кукольника он писал то, что сам глубоко пережил, и именно поэтому на холсте проявилась истинная жизнь, и он получился искренен и правдив.

И все-таки мы не знаем, насколько портрет этот близок к оригиналу. Ведь обычно Брюллов брал в человеке что-то одно, преувеличивал одну черту, отстранив все остальное. Примером может служить блестящий портрет Василия Перовского, тоже близкого знакомого художника. Он изобразил на полотне героическую личность, человека сильной воли и решительных поступков. Брюллов как бы любит и гордится своим персонажем. Но Василий Перовский был не только таким, каким предстает перед нами на портрете, он был и олицетворением худших сторон николаевского времени. Недаром Лев Толстой называл его «крупной фигурой», «вполне выражавшей свое время», «тенью Николая Павловича».

Так что наверняка и в портрете Кукольника Брюллов отразил только настрой, свойственный строкам «Сомнения». Но ведь Кукольник — автор главным образом трескучих, фальшивых патриотических драм и романов, которые уже тогда вызывали чувство омерзения у лучших людей России.

Для нас Нестор Кукольник — символ верноподданного холода, поэта и человека, которого терпеть не мог Пушкин. История определила ему в литературе и в общественной жизни отнюдь не почетное место. И этот человек был наилучшим другом Карла Брюллова и Михаила Глинки...

Это было странное содружество. Вересаев ядовито писал по этому поводу: «Триада, с теперешней точки зрения, была курьезная: гениальный, для всякого времени нужный Глинка, талантливый, нужный для своего времени Брюллов и ни для какого времени не нужный Кукольник»²⁶.

Но ведь что-то сближало их, если они так часто собирались вместе. Может быть, просто не стоит усложнять понимание этой связи? В доме Кукольника Брюллова не стесняли условности светских салонов, царила атмосфера

радушия, здесь можно расслабиться, быть самим собой, забыться, отрешиться от душевных невзгод, встретить дружеское участие. Хозяин квартиры, как говорят современники, в быту был мягок и добродушен, весел и остроумен, с ним никогда не скучно. Правда, болезненно честолюбив, воображал о себе бог весть что. Но Брюллову понятно желание видеть себя первым в литературе, ведь он и сам считал себя вершиной в живописи. Даже забавно смотреть, как Нестор пыжится, слушая высокопарные восхваления Булгарина и Греча, сравнивавшие его с Шекспиром и Гете. А тут еще, как вспоминал Струговщиков, «Сенковский, понимавший поэзию столько же, сколько я санскритские письма, воскликнул как-то неосторожно: «Великий Кукольник!» Кукольник поверил ему и окончательно сбился с толку». И даже иногда в пьяном угаре сам торжественно провозглашал:

— Кукольник велик!

— Кукольника потомство оценит!

В эти минуты — тоже хмельному! — Брюллову начало казаться, что это не его друг, а он сам выкрикивает хвалебные слова о самом себе, чтобы заглушить сомнения... Но сам он об этом молчал. Не умея сдерживать раздражение и гнев, он научился держать на привязи многие свои истинные мысли...

Если Кукольник был распорядителем «братии», то ее душой являлся Глинка и его музыка. Он, может быть, больше других нуждался в «милой и талантливой братии», как он сам выражался, ибо как раз в это время был очень одинок.

Как и Брюллов, Глинка несколько лет провел за границей, побывал в Берлине, Вене, изъездил Италию, где, кстати, они и познакомились в 1831 году. Как и Брюллов, он много учился, осваивая музыкальную культуру Европы. И, вобрав ее в себя, не бросился сочинять, а стал размышлять. «В то время, — писал Глинка о 1833 годе, — я не писал, но много соображал. Все написанные мною в

угождение жителей Милана пьесы убедили меня только в том, что я шел не своим путем и что я искренно не мог быть итальянцем. Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски...»²⁷

И он вернулся в Россию, ибо только здесь, в русском окружении, он мог создать первую русскую оперу. И он создал ее, став Колумбом русской музыки...

Но это поняли уже позднее, а тогда кроме похвал Глинке пришлось выслушать и пошлые мнения. И, мучаясь неопределенностью своего положения, неустроенностью личного быта, он бежал к своей «братии», чтобы рассеять сомнения, найти сочувствие и поддержку, услышать дружеское слово. И находил его. Имея посредственный поэтический слух, Кукольник обладал на редкость тонким «чудесным музыкальным ухом» и даже проникал в «сухие таинства контрапункта». Он нужен был композитору как чуткий слушатель, как тонкий критик.

Глинка иногда неделями жил в доме братьев Кукольников и работал, работал, работал... «Вальс-фантазия», «Руслан и Людмила»... Сколько музыкальных шедевров создал он здесь!

Свои главные вещи Глинка вынашивал в одиночестве, но когда выходил на «широкое приволье между доброй, милой и талантливой братией», то и здесь не расставался с музыкой. Он редко играл в обществе, знакомые люди раздражали его, он держал себя скованно, неловко (за чрезмерную чувствительность сам себя называл мимозой). Даже в начале вечеров с «братией» не сразу расходился. Но дружеское общение и вино снимали напряжение, он оживал, садился за фортепьяно, играл и пел часами.

А как он спел свою «Прощальную песню» перед отъездом из Петербурга, главные мысли которой сам же подсказал Кукольнику.

Прощайте, добрые друзья,
Нас жизнь раскинет враспынную...

Даже мелодраматические слова звучали у Глинки необычайно проникновенно.

А слава, бог когда-то мой!
Возьми назад венец лавровый.
Возьми, из терний он; — долой
Твои почетные оковы:

Другого им слепца обвей!
Вели ему на чуждом пире
Гостям в потеху у дверей
Играть на раскаленной лире...

И с какой сердечностью прорывалась мелодия в слова:

Есть неизменная семья!
Мир лучших дум и ощущений!
Кружок ваш, добрые друзья,
Покрытый небом вдохновений.

И той семьи не разлюблю,
На детский сон не променяю!
Ей песнь последнюю пою —
И струны лиры разрываю.

Даже самый сдержанный, самый не сентиментальный среди «братии» Карл Брюллов и тот пускал слезу, когда слушал музыку и пение Глинки. Художник часто сравнивал музыкальные находки композитора со своими любимыми живописными произведениями: «Это смело, как поворот головы микеланджелова Моисея» или «Это такая же красота, как голова гвидоновской Магдалины».

И все-таки не стоит идеализировать их отношения, что-то в них было неладно. Настораживает уже хотя бы такой факт. Из двенадцати песен и романсов цикла «Прощание с Петербургом» «Прощальную песню» композитор посвятил сразу всем своим друзьям, остальные одиннадцать — конкретным лицам. Карла Брюллова среди них нет.

«Странные были отношения Брюллова и Глинки,— пишет в воспоминаниях А. Струговщиков,— по-видимому, они были очень дружны, не только не избегали, но искали друг друга. Брюллов восторгался музыкой Глинки, этот благоговел перед живописью первого, но в душе они не любили друг друга. Глинка, вообще не любивший злословить, иногда с горечью отзывался о характере и нравственных недостатках Брюллова, этот в свою очередь не упускал случая зло посмеяться над Глинкой, конечно, больше заглазно, но иногда под веселый час и в глаза. Не была же это зависть, это невозможно, они шли разными путями, столкновений между ними никаких не было, где же причины? Полагаю, что в психическом их устройстве. У обоих горел огонь гениальности, но между ними была существенная разница: Брюллов жил воображением, умом и расчетом; Глинка жил воображением и чувством.

Глинка весь высказывался, его думы и чувства не были затаенными для друзей; Брюллов не всегда говорил то, что думал и чувствовал; Глинка был, как он сам говорил, мимоза, Брюллова трудно было расшевелить. Часто видел я у Глинки слезы на глазах, у Брюллова же один только раз в жизни видел я, как слеза покатилась из глаз...»²⁸

Кажется странным и то, что Брюллов, запечатлевший на холсте многих своих близких знакомых, всех, кто ему нравился, так и не написал портрета Глинки, за исключением этюда, сделанного еще в 1831 году в Италии, зато оставил несколько десятков злых карикатур с собственноручными ироничными подписями: «Глинка обожаемый», «Глинка, поющий без голоса и без фрака», «Глинка в восторге от своих произведений». Причем, как рассказывают свидетели, Брюллов рисовал эти карикатуры, не смотря на то что они не на шутку раздражали и сердили Глинку.

Не понимал Карл Брюллов Михаила Глинку...

Не менее странными, если повнимательнее взглядеться, окажутся и отношения Брюллова с Пушкиным. Они взаимно потянулись друг к другу еще до первой встречи. Познакомившись с художником в Москве на одном из обедов, друг Пушкина Павел Нащокин сообщал поэту: «Любезный друг Александр Сергеевич, долго я тебе не писал... Теперь пишу тебе вследствие обеда у Окулова, в честь знаменитого Брюллова... Уже давно, т. е. так давно, что даже не припомню, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека... Тебя, т. е. твоё творение, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобой познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного письма...»

Пушкин жаждал этой встречи. Второго мая 1836 года ночью он приехал в Москву, а четвертого сообщал жене, что «уже успел навестить Брюллова... Он очень мне понравился. Он хандрит, боится русского холода, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен. У него видел я несколько начатых рисунков и думал о тебе, моя прелесть. Неужели не будет у меня твоего портрета, им писанного? Невозможно, чтоб он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя...»²⁹

У Пушкина в Москве уйма дел, приехал он всего недели на две, но не упускал случая увидеться с Брюлловым. И они встречались то в мастерской скульптора Витали, то у Нащокина, то на квартире писателя Алексея Перовского, где одно время жил Карл Павлович. Поэт жадно расспрашивал художника, обсуждал его эскизы, старался увлечь сюжетами из русской истории, старался разогнать брюлловскую хандру...

Едва Брюллов появился в столице, как Пушкин посылает ему поздравительную записку, приглашает к себе в дом на ужин, приводит к Петру Вяземскому на прощальный вечер с Жуковским, уезжающим в Дерпт... Но в Пе-

тербурге они встречались редко, и не по вине Пушкина. Самое странное, что в воспоминаниях Брюллова мы почти ничего не найдем об этих встречах, кроме, пожалуй, эпизода, записанного со слов художника Железновым. Но и в этом пересказе, очевидно даже смягченном, мы не чувствуем теплоты Брюллова к Пушкину, скорее же какое-то скрытое раздражение. Вот как рассказывает об этом Железнов.

Осенью вечером Пушкин пришел к Брюллову и звал к себе ужинать. Художник был не в духе, не хотел идти и долго отнекивался, но Пушкин его переупрямил и утащил с собою. Дети его уже спали. Он их будил и выносил к Брюллову поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовало перед Брюлловым картину натянутого семейного счастья. Брюллов не утерпел и спросил:

— На кой черт ты женился?

Пушкин ответил:

— Я хотел ехать за границу, а меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился.

Последний раз они встретились за два дня до трагической дуэли, 25 января 1837 года. Пушкин и Жуковский приехали в мастерскую художника, и тот стал показывать им свои рисунки. «Весело было смотреть, как они любовались и восхищались этими рисунками,— рассказывает в своих воспоминаниях Мокрицкий,— но когда он показал им недавно оконченный рисунок «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то восторг их выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный, забавный рисунок?.. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище; но рисунок принадлежал уже графине Самойловой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой.

Пушкин был безутешен: он с рисунком в руках стал перед Брюлловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай этот»³⁰.

Но Брюллов так и не отдал, хотя после гибели Пушкина очень жалел об этом.

Как мы знаем, последние недели жизни Пушкин находился в ужасном настроении. То был весел какой-то нервной веселостью, то впадал в тревожную тоску и смотрел на окружающих «блуждающим, диким, рассеянным взглядом». Он не жаловался, и только близкие друзья догадывались об его истинном состоянии. Как он нуждался тогда в дружеской поддержке! Брюллов же ничего не видел и не чувствовал, он даже не представлял тогдашних мучений Пушкина. Именно в это время он говорил о поэте: «Какой Пушкин счастливее! Когда он смеется, у него даже кишки видны». Только «кишки» заметил Карл Павлович, а не трагедию поэта.

Не понимал Карл Брюллов Александра Пушкина.

Брюллов явно не стремился к более частым встречам с поэтом, словно опасался, что они принесут какие-то новые беспокойства. Еще раньше, как мы знаем, он пренебрег общением с Александром Ивановым. В России Брюллов уже не ищет встреч с Чаадаевым, которого знал еще по Италии, он отказался познакомиться с Михаилом Лермонтовым, сославшись на то, что «физиономия» поэта «заслоняет его талант», он прекращает начавшиеся контакты с Белинским, не давая перерасти первым взаимным симпатиям в дружбу... Он словно бежит от всех, кто всерьез мучается проклятыми вопросами века, кто старается проникнуть в «тайну времени».

Он бежит от людей в самого себя, в свой идеальный мир красоты, чтобы спрятаться в нем, как в крепости, в которую не могли бы проникнуть горькие истины действительности. Он отгораживается от людей, от их раздумий и страданий.



*Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?*

Федор Тютчев

*Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней —
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.*

Федор Тютчев

В истории создания портрета Авроры Демидовой много белых пятен, и все-таки нам с вами, читатель, повезло необыкновенно. Очень редко при рождении живописного произведения присутствует кто-нибудь посторонний. В мастерской же Брюллова все это время находился его ученик А. Мокрицкий, который внимательно следил за каждым взмахом кисти учителя и все свои наблюдения записывал в дневнике, на основе которого и написал потом воспоминания. В них даже отражены подъемы и спады в творчестве Брюллова. Первую петербургскую осень художник пережил тяжело, депрессия была длительной и изнурительной. Но в начале декабря в дневнике Мокрицкого появилась такая запись:

«5 декабря 1836 года. Он (т. е. Брюллов) был доволен своим произведением (эскиз «Вознесения божьей матери») и с удовольствием сказал: «Ну, батюшка, сегодня я работаю, как после Рима никогда, да и в Риме редко работал с таким усилием»³¹.

Зима была плодотворной. Брюллов писал много и с удовольствием. И портрет Авроры он делал с настроением. Об этом рассказывает и дневник Мокрицкого.

«27 февраля. Сегодня зашел я к Брюллову на минуту, а пробыл у него часа три. Застал его за работой: он оканчивал портрет г-жи Демидовой... Сперва занялся он го-

ловой; интересно и чрезвычайно поучительно было видеть, как приступал он к делу. Пройдя легко столовым ножом по портрету, он согнал с него некоторые неровности красок, потом, промаслив слегка, начал полукорпусно и кое-где лессировкой* проходить голову; с каждым мгновением голова теряла материальность красок и как бы облекалась телом, голубые глаза загорались блеском, на щеках заиграл румянец, и малиновый рот принял какую-то бархатистость — что весьма трудно в механизме живописи; роскошный бюст, тоже облекаясь в красоту прозрачных полутонов, казалось, начал колыхаться под волшебной кистью, вдыхавшей в него жизнь.

При этом труде работал он смело, но осторожно. Когда же начал проходить костюм, то, право, дух захватывало от удивления к этой смелости и самоуверенности, с которой распоряжался гениальный художник: на плечи набросил он соболий палантин, притерев битюмом с баганом, начал мягкой, полуистертой кистью наносить серебристые массы этого пушистого меха, а другой, с темной краскою, кое-где в глубоких складках стал как бы вдавливать его; мех мялся, и нежные волоски то ложились гладко, то на изломах складок торчали по направлению перегиба. Видал я, как и другие пишут мех, но сколько же и труда положено на какой-нибудь воротник шубы, доведенной наконец до того, что шуба лучше лица того, у кого она на плечах. Нет, это не живопись! У Брюллова аксессуар, как бы не был натурален, никогда не пересилит главного. В его портретах прекрасные меха, атлас, бархат и самые металлические вещи при всей своей прелести и блеске всегда уступают первенство голове и рукам, можно сказать, настолько, насколько они ниже человеческого лица в самой натуре...»³².

* Лессировать — проходить по первому слою краски тонкой кистью с жидко разведенной краской другого тона для более тонкой проработки лица и мелких деталей.

Брюллов работал над портретом долго. 3 апреля 1837 года Мокрицкий записал в дневнике: «С утра уже был я в мастерской. Брюллов продолжал портрет Демидовой... Большая картина «Распятие» ждала вдохновения; по временам обращался он к ней, смотрел на нее пристально и опять подходил к портрету, оживавшему более и более от каждого прикосновения его кисти...»³³

— Если в дневнике Мокрицкого не описка и дата поставлена правильно, то работа над портретом Авроры продолжалась и в 1838 году — всего около двух лет. Почему так долго? Ведь, как правило, Брюллов завершал такие холсты за несколько дней, иногда недель. Кроме того, судя по дневнику Мокрицкого, художник писал Аврору охотно и даже с удовольствием. Может быть, и не все время с удовольствием, но по крайней мере в дни, когда его видел ученик.

Брюллов работал долго потому, что пытался разгадать Аврору, но так и не разгадал.

В ее лице было что-то от мадонны, а мадонн он не понимал. Когда через много лет, незадолго до смерти, итальянский друг художника попросит его написать образ мадонны, он с раздражением и горечью закричит на него: «Я просидел всю жизнь по горло в грязи, а ты говоришь мне: пиши идеал чистоты и непорочности! Я его не понимаю! Если тебе нужна кающаяся Магдалина, то я могу написать ее»³⁴.

Бог с ней, с этой непонятной душой! Есть ведь ее чудесный цвет лица, его очаровательный овал, эти роскошные плечи, этот волшебный мех, который он отделает так, что захочется к нему прикоснуться... Он, правда, всегда учил своих учеников, что аксессуары не должны пересиливать и быть «превосходнее» лица. Он и сам это делает, когда чувствует и понимает лицо. Тогда оно становится главным на холсте, тогда все остальное, что окружает лицо, он выписывает лишь настолько, насколько улавливает, если смотрит только на лицо. Но когда оно не под-

дается разгадке, то пусть о нем рассказывают вещи. Он любит писать материальные вещи и когда они связаны с человеком и его привычками, и когда они сами по себе.

Ну а лицо, лицо на этом портрете все же будет похоже на оригинал. И это внешнее сходство подтверждают очевидцы. Тот же Мокрицкий, которому так нравился портрет Авроры Демидовой, вспоминал, как, зайдя однажды вечером в мастерскую Брюллова и не застав его дома, «взял свечу и начал рассматривать одну работу за другой, наконец прильнул к портрету баронессы Шернваль и не мог надивиться необычайному сходству и прелести манеры, с которой был написан этот портрет...»

Что же касается истинных переживаний женщины, то кто же их поймет. Женщина всегда загадка и пусть останется ею. И пусть на портрете будет эта неуловимая затаенная улыбка, пусть будет никуда не устремленный, но что-то видящий взгляд, взгляд, в котором недосказанность и таинственность. И пусть каждый видит в этом лице все, что он видит.

Может быть, в этом главная прелесть портрета?

* * *

И завершить это повествование можно стихотворением Николая Заболоцкого о женском портрете, написанном, правда, совсем по другому поводу.

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

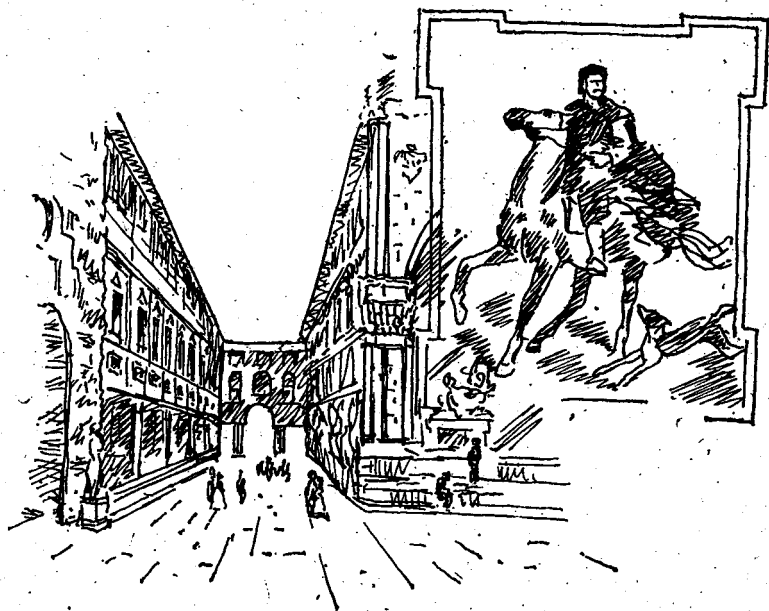
Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,

Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуйспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Судьба портрета



В сентябре 1975 года в газете «Правда» появилась любопытная корреспонденция Н. Прожогина. Во Флоренции при посещении дворца Питти он увидел большую картину, изображающую скачущего на коне охотника. Полотно принадлежало кисти Карла Брюллова и являлось парадным портретом одного из потомков знаменитых уральских горнопромышленников, владельца Нижнетагильских заводов Анатолия Николаевича Демидова¹.

О картине этой упоминалось почти во всех книгах, посвященных творчеству Брюллова, но при этом всегда оговаривалось: «местонахождение картины неизвестно». При характеристике ее искусствоведы обычно ссылались на масляный этюд и рисунок, хранящиеся в Третьяковской галерее, да на эскиз в Русском музее. Правда, репродукция портрета воспроизведена в конце прошлого века в книге «Демидовский лицей в г. Ярославле», но где именно находится оригинал, никто в России не знал...

О судьбе портрета стало известно только в последние годы. Но сначала вспомним историю его создания.

Анатолий Демидов прослыл любителем «изящных искусств» и одним из самых щедрых покровителей художников. Получив в наследство от отца кроме всего прочего дворец-виллу Сан-Донато с уникальной коллекцией произведений искусства, наследник продолжал пополнять ее новыми шедеврами. Он окружал себя художниками и скульпторами, покровительствовал им. Считался он меценатом и Карла Брюллова.

О близких отношениях А. Н. Демидова с Брюлловым писали много. Известно, что в итальянской мастерской художника учились четыре пенсионера из Нижнего Тагила — демидовские крепостные, что именно по заказу Анатолия Демидова написано знаменитое полотно «Последний день Помпеи», которое он приобрел у художника за 40 тысяч франков, вывез в Россию и преподнес в дар императору Николаю I, что Брюллов кроме Анатолия Николаевича писал и других Демидовых, что кроме портрета Авроры Демидовой в Нижнем Тагиле имелись и другие холсты прославленного живописца (например, Д. Н. Мамин-Сибиряк видел в доме у тагильского старожилы и «большого любителя всякой старины, живописи и минералогии» Д. П. Шорина «недоконченный образ Христа» работы Брюллова) ²...

Казалось бы, факты говорят о близких, даже дружеских отношениях Брюллова и А. Н. Демидова. Сохранилась многолетняя переписка между ними. И всё-таки едва ли можно говорить о дружбе столь разных, столь по духу чуждых друг другу людей.

Когда они в 1827 году впервые встретились, Брюллов был уже зрелым человеком и художником, Демидову же исполнилось всего пятнадцать лет. Но сын уральского магната уже тогда разыгрывал роль мецената. Биографы рода Демидовых замечают, что Анатолий с юных лет «подавал надежды» и отличался самостоятельностью. Но это была, пожалуй, самостоятельность избалованного подростка, который мог позволить себе самые неожиданные выходки. Даже Н. Н. Демидов как-то сказал о своем младшем сыне, что из него «выйдет или негодяй, или замечательный человек». Один из мемуаристов пришел однако к такому выводу: «кажется ни того, ни другого из него не вышло» ³.

Об одной из первых встреч Брюллова с Анатолием Демидовым художник М. Железнов вспоминает так:

«Анатолий Николаевич Демидов съехался с Брюлло-

вым в Неаполе и повез его с собой в Помпею. Во время осмотра этого города в голове Брюллова блеснула мысль написать большую картину и представить на ней гибель Помпеи. Он тогда же сообщил свою мысль Демидову и, надо думать, что сообщил ее, по обыкновению с одушевлением, красноречиво и увлекательно, потому что Демидов, выслушав его, дал ему слово купить задуманную им картину, если он ее напишет...»

Казалось бы, все говорит о взаимопонимании между художником и его юным меценатом. Но послушаем Железнова дальше.

«Из того, вероятно, ничего бы не вышло, но какая-то дама, имя которой осталось мне неизвестно, после того как эскиз для «Помпеи» был уже написан, за обедом, на котором присутствовали Демидов и Брюллов, завела с Демидовым разговор о его поездке в Помпею и сумела поставить его в такое положение, что он из угождения своей собеседнице заказал Брюллову написать «Последний день Помпеи»⁴.

Итак, не столько понимание Демидовым замысла художника, сколько каприз миллионера привел к заключению контракта на будущую картину.

Почувствовав себя хозяином еще не написанной картины, Демидов пытается подгонять художника, торопить его. Но не тут-то было. Один из русских, живших тогда в Италии, писал брату Карла Павловича — Александру.

«Слышал от одного художника... что твой брат Карл портрет для великого князя делать отказался. Демидову картину... которую он ему заказал (слово неразборчиво), не хочет делать и, несмотря на письменное условие, которое он ему дал, делать оную отказался... Хочет быть вне зависимости. Вот что я слышал. Не знаю, хорошо ли это...»⁵

Строптивость художника чуть было не привела к разрыву контракта. Однако Демидов уступил и, заключив с Брюлловым новые условия, продолжал нетерпеливо ждать.

Но общался и переписывался художник со своим «меценатом» без особого желания. 18 января 1833 года Демидов писал Карлу Павловичу из Парижа: «Письмо ваше от 4 января я имел удовольствие получить и сердечно благодарю за оное, тем более что этого удовольствия не всегда от вас иметь можно, ибо вы на переписку как-то довольно скупы...»⁶

После конфликта 1830 года и взаимного примирения Брюллову было уже неудобно отказать Демидову в новой просьбе, и в 1831 году художник начал работать над большим портретом уральского заводчика.

Сохранилось несколько эскизов и рисунков к этому портрету. Брюллов ищет общую композицию, тщательно разрабатывает отдельные куски картины — то заднюю ногу лошади, то часть туловища собаки, то застежку на боярском костюме Демидова. Но вот что стоит заметить: художник не сделал ни одного эскиза или наброска лица портретируемого, по крайней мере среди сохранившихся рисунков мы их не находим. Очевидно, самое главное в портрете — лицо А. Н. Демидова — его не особенно интересовало.

Портрет этот в 30-е годы Брюллов так и не закончил. Завершенными оказались лишь фигура всадника да голова и грудь лошади.

В дальнейшем художник уже избегал работать по заказам своего «мецената». Так, в марте 1837 года Анатолий Николаевич объявил в русской Академии художеств конкурс на тему «Петр Великий» и назначил две премии, каждую по восемь тысяч рублей. Брюллов не принял участия в конкурсе даже после того, как Демидов запросил Академию: почему в списке художников, записавшихся на конкурс, нет имени Брюллова.

В мае 1844 года, уже не надеясь на завершение своего портрета, Анатолий Демидов писал Карлу Павловичу из Флоренции в Петербург: «Вы, без сомнения, помните, что около десяти лет тому назад, во время пребывания моего

в Италии, вы начали рисовать мой портрет, на котором я был изображен верхом, в боярском костюме; мой отъезд (за которым последовал и ваш) не дал возможности его закончить. Узнав, что этот эскиз находится в числе вещей, переданных вами при отъезде из Рима на хранение А. Иванову, я недавно писал ему и просил прислать мне этот эскиз во Флоренцию, но он мне ответил, что может передать его мне только с вашего разрешения. Ввиду этого я прошу вас, дорогой Брюллов, будьте любезны дать ему возможно скорее это разрешение, потому что этот эскиз в том положении, в каком он находится в настоящее время, может представлять интерес только для меня»⁷.

Ответил ли художник что-нибудь Демидову — неизвестно, но эскиза он так и не получил. Уже в 1850 году, едва узнав о приезде Брюллова в Рим, Анатолий Николаевич писал ему из Сан-Донатто: «Не имея возможности ни вернуть прошлого, ни требовать от вас (новой) великой страсти в истории, я хотел бы лишь воспользоваться вашим пребыванием здесь (т. е. в Риме), чтобы попросить вас об одном одолжении, которое меня весьма тронуло бы. Почти четверть века прошло с тех пор, как вы сделали с меня один набросок: как сейчас вижу себя верхом, в лесном уголку, в сопровождении борзой собаки. Вы можете себе представить, с каким удовольствием увидел бы я этот портрет законченным, понятно, с помощью ваших воспоминаний. Ведь никакое чудо не в состоянии возвратить нам хотя бы лишь на четверть часа признаков молодости, бывшей у нас 22 года тому назад.

Итак, скажите мне, мой милый Брюллов, согласны ли вы закончить этот набросок и дать мне мой портрет (в моем далеком прошлом), на котором я изображен в национальном костюме; последний, конечно, не изменился. Если бы вас посетило на то благое вдохновение, то я попросил бы вас удержать его на мгновение, ибо я уже делаю все необходимые приготовления к своему скорому

отъезду на родину, а затем в Сибирь. Было бы нерассудно начинать другой портрет, относящийся к эпохе, бывшей 20 лет назад»⁸.

Но Брюллов не спешил приняться за портрет. Через год А. Н. Демидов опять повторяет свою просьбу, безбожно лстя при этом художнику: «Спешу просить вас не оставить без исполнения этого намерения вашего: я наполнен нетерпением увидеть окончательно это произведение ваше, которое, кажется, займет такое важное место в ряду всего того, что вами сделано. По получении от вас этого портрета он останется несколько времени у меня в Сан-Дonato, а потом я намерен послать его на Парижскую выставку, которая скоро откроется, а потом на постоянную Венскую, после чего я предложу Иордану сделать с него большую гравюру. Мне кажется, что ни с одной из ваших картин не сделано еще гравюр: есть несколько более или менее дурных литографий — вот и все, а давно бы, кажется, пора было позаботиться о том, чтоб ваши вещи были у всех в руках...»⁹

После таких настойчивых просьб Брюллов взялся было за продолжение портрета, но так и не закончил его. Смерть, наступившая в июне 1852 года, помешала ему завершить и многие другие замыслы.

В 1851 году А. Н. Демидов пригласил тогда еще молодого искусствоведа В. В. Стасова привести в порядок библиотеку и картинную галерею во дворце Сан-Дonato. Узнав о смерти Брюллова, Стасов выехал из Сан-Дonato в Рим, чтобы посетить мастерскую умершего художника и составить опись оставшихся после смерти произведений. О незавершенном портрете А. Н. Демидова молодой искусствовед писал так:

«Во всей картине немного кончено: соболей мех, которым подложен опошень его с развевающимися по ветру длинными рукавами, наброшенный свех кафтана, местами некоторые другие части костюма и больше всего голова и грудь лошади — вот все, что кончено. «Я начал этот

портрет тогда, когда мало еще знал лошадей,—говорил в последнее свое время Брюллов,—и от этого сделал тут большие ошибки; теперь надобно было бы многое переменить: всю голову и грудь лошади передвинуть на целых четыре пальца вперед, а теперь мне уже больше не написать так эту грудь и голову». Потом он находил, что надобно опустить гораздо ниже главную фигуру, а он больше не хотел приниматься за такую долгую работу — значило бы весь портрет начинать с самого начала. Но каков и теперь портрет (так у В. Стасова.— *И. Ш.*), нельзя не остановиться перед этой лошадью, с ее огненными глазами, широко пышащими ноздрями и грудью, выдающейся из картины точно живая и блистающая под пробившимся сквозь деревья солнечным лучом. Эта грудь лошади так написана, как писал в своих портретах живые лица Рембрандт, один из великих и самых главных учителей Брюллова»¹⁰.

Как видим, Стасов восторгается в картине всем кроме самого главного — образа портретируемого. Собственно, человеческого образа на картине и нет — лицо Анатолия Демидова художник так и не закончил, а только эскизно наметил. А ведь в портрете Брюллов, если человек ему нравился и он понимал его, обращал главное внимание именно на лицо. Здесь же, на этой картине, лицо всадника менее всего привлекало его внимание. Не свидетельствует ли это о том, что Анатолий Демидов как личность мало интересовал живописца?

Последние годы советские журналисты и историки Юлия Глушакова и Иван Бочаров занимались в Италии поисками новых материалов по истории русской культуры. Эти поиски привели к новым интересным открытиям, в том числе и в творчестве Карла Брюллова, и прибавили несколько новых страниц к судьбе интересующего нас портрета.

Князь Сан-Донато А. Н. Демидов умер в 1870 году бездетным. Нижнетагильские заводы и все его состояние

вместе с великолепной виллой Сан-Донатто, с ее уникальными коллекциями живописи, скульптуры и прикладного искусства перешли к племяннику Анатолия Николаевича — Павлу Павловичу. В 1872 году П. П. Демидов приобрел новую виллу в Протолино. Новую — в смысле еще одну, ибо вилла в Протолино была одной из самых старинных в Италии. Она построена в XVI веке великим герцогом Тосканским Франческо Первым Медичи для своей возлюбленной, а затем жены Бьянки Капелло, любовь к которой кончилась для герцога трагически. К моменту демидовской покупки роскошная прежде вилла пришла в запустение, ее дворцы и фонтаны разрушились. П. П. Демидов перестроил виллу и перевез в нее из Сан-Донатто фамильную библиотеку и художественные коллекции. Сюда же переехал и знакомый нам портрет А. Н. Демидова.

От Павла Павловича вилла в Протолино отошла к его дочери Марии, а после ее смерти (она умерла не так уж давно — в 1956 году) — к одному из членов югославской королевской семьи Карагеоргиевичей — принцу Павлу, приходившемуся племянником дочери П. П. Демидова.

В 1969 году принц продал виллу Протолино с молотка, а художественные произведения из старинной коллекции Демидовых оказались на флорентийском аукционе. Там, в частности, были проданы картина П. Верещагина «Вид Нижнего Тагила», бюст Анатолия Демидова работы итальянского скульптора П. Трискорниа, много лет прожившего в России, живописный портрет П. Г. Демидова кисти Ф. С. Рокотова, два мраморных бюста, созданных русским ваятелем Федотом Шубиным, парные портреты Никиты Акинфиевича Демидова и его жены и другие произведения русских и европейских мастеров. Все они разошлись по частным коллекциям в разные страны мира.

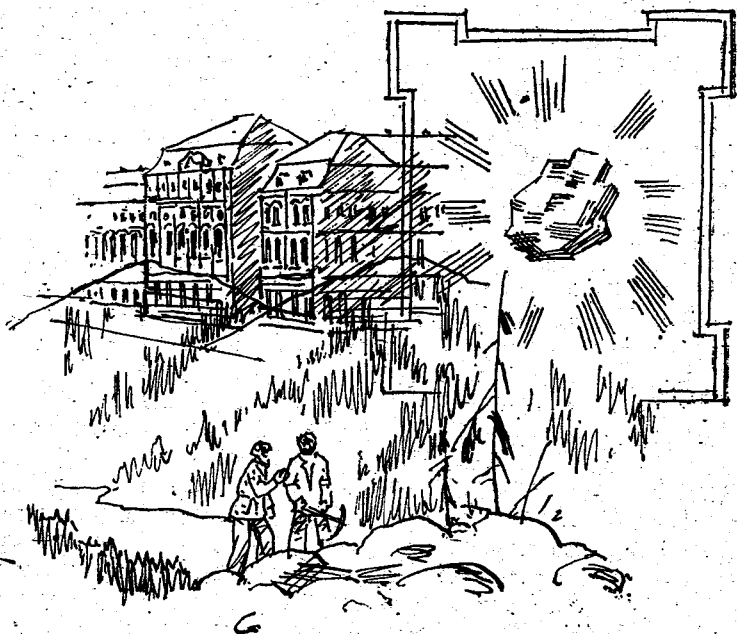
Портрет А. Н. Демидова избежал этой участи — он был передан Карагеоргиевичем в дар городу Флоренции

и помещен во дворце Питти. Здесь-то его и увидели советские журналисты. Но вот что их удивило: состояние портрета не совсем соответствовало описанию В. В. Стасова. Ведь он видел после смерти Брюллова во многом еще не законченное полотно, а во флорентийском музее висела почти законченная картина — лишь слегка недописан фон в нижней части холста. И еще заметили Ю. Глушакова и И. Бочаров.

«Диссонансом в общем строе настоящей живописной симфонии, которую представил нам в этой работе Брюлов, служит лицо всадника. В глаза сразу бросается иная манера наложения мазков, в какой написано лицо, — она совсем не совпадает с манерой позднего Брюллова. Но главное — посредственность исполнения этой части полотна по сравнению со всей живописью картины. Лицо написано без какой бы то ни было попытки раскрыть довольно сложный и во многом противоречивый характер заказчика портрета.... Ясно, что картину по смерти Брюллова дописывал какой-то другой, не очень одаренный художник.

Подтверждение своей догадки мы получили в Риме от Марии-Джулли и Джулио Титтони, потомков братьев Титтони, участников революции 1848 года, с которыми был дружен Брюлов и в чьем доме он умер в июне 1852 года... Когда мы разговорились с Джулио Титтони о демидовском портрете Брюллова, он сообщил, что располагает данными из семейного архива о том, что эта работа была закончена другим художником. По словам Джулио Титтони, незавершенный портрет Демидова попал в руки банкира Мариэтти, знакомого с Брюлловым. Потом, когда Мариэтти разорился, портрет Демидова был выкуплен у него самим уральским заводчиком, поручившим после смерти Брюллова закончить его какому-то другому художнику. Такова, оказывается, была многотрудная судьба последней большой работы великого русского мастера, украшающей сейчас музей Питти во Флоренции»¹¹.

Загадка уральского изумруда



Среди великого множества драгоценных самоцветных камней есть такие, что называются историческими, ибо кроме материальной ценности они имеют свою судьбу, свою историю, которая измеряется порой веками. О таких камнях пишут подробные «биографии», складывают легенды. Эти самоцветы согласно возложенным на них надеждам и суевериям должны дарить людям разные благополучия и защищать их от печалей и несчастий, но «поступают» такие камни часто совсем наоборот.

Не являлся исключением и так называемый «изумруд Коковина», известный минералагам всего мира. Знаменитый кристалл назван именем одного из знатоков и художников камня...

Помните Эрмитаж? Еще в просторном вестибюле встречают вас величественные вазы из яшмы, порфира, орлеца. Трудно пройти мимо и не восхититься шедеврами камнерезного искусства. На некоторых изделиях стоит надпись: «Мастер Яков Коковин».

На вазе, высеченной из огромного монолита благородной серо-зеленой яшмы, его имени нет. А ведь именно она является лучшим творением уральского художника-камнереза. Именно об этом каменном чуде современники отзывались так: «Это изящное изделие, стоящее многолетних трудов и соразмерных расходов, можно назвать единственным в своем роде как по необыкновенной твердости и величине камня, так и по отличной работе; она заслуживает особого внимания в особенности и потому, что ни-

когда и нигде подобного изделия приготовлено не было...»

И тем не менее главный автор удивительного произведения не указан: на этикетке стоит только имя ученика Я. В. Коковина — Гаврилы Налимова, завершившего вазу, да фамилия директора Екатеринбургской гранильной фабрики.

Почему?

Это только один из многих вопросов, которые возникают, когда знакомишься со странной и трагической жизнью Якова Коковина.

Я. В. Коковин как один из крупнейших мастеров камерезного искусства известен сравнительно узкому кругу искусствоведов. О нем упоминают только в специальных монографиях и статьях. Но зато Коковина как похитителя уникального изумруда знают миллионы читателей. Имя его стало почти символом преступного корыстолюбия.

Небольшой очерк академика А. Е. Ферсмана «Изумруд Коковина» * общеизвестен. Он десятки раз публиковался и пересказывался в различных книгах, журналах и газетах. Но, поскольку все началось именно с него и нам придется не раз к нему обращаться, пусть мне будет позволена эта пространная цитата:

«Судьба одного из крупнейших в мире кристаллов изумруда, о котором я хочу рассказать, интересна потому, что в длинной истории этого камня известны и начало ее и конец.

В 1831 году командир Екатеринбургской гранильной фабрики обер-гиттенфервальтер Яков Иванович** Каковин сообщил, что он открыл месторождение изумрудов на Урале.

* В литературе и архивных документах встречается двойное написание фамилии: Каковин и Коковин. В автографах везде — Коковин.

** Здесь описка: не «Иванович», а «Васильевич». В работах Ферсмана 20-х годов отчество Коковина дается правильно.

В 1834 году был найден огромный уникальный изумруд, вес которого составлял более пяти фунтов, а по нынешнему весу — 2226 г. Среди блестящего слюдяного сланца красиво расположился темно-зеленый кристалл. Одна грань была отшлифована как бы самой природой, местами он был прозрачен и чист, как настоящий дорогой самоцвет.

Но не только этот камень понравился Я. И. Каковину. Еще много других камней решил он не отправлять с «серебряными» караванами в Петербург. Много прекрасных изумрудов накопил он в своей квартире. Запыленными и грязными держал он их в ящиках у себя в комнате под кроватью и за иконами и, как скряга, накапливал богатства, не зная, для чего они и для кого.

Ходили легенды, что он начал тайные переговоры с продавцами из немецкой стороны...

Но слухи о злоупотреблении дошли до Петербурга, был прислан строгий контролер, который скоро убедился в неправильном ведении учета камней, а какие-то «друзья» Я. И. Каковина подсказали, где надо искать утаенные камни. В донесениях императорскому двору и Управлению уделов мы читаем подробный доклад этого чиновника, который с гордостью сообщал, что он нашел драгоценные камни под кроватью и в шкафах спальни директора и «в сем числе один самого лучшего достоинства, весьма травяного цвета... по мнению моему, есть самый драгоценный и едва не превосходящий достоинством изумруд, бывший в короне Юлия Цезаря...».

Отобранные из утаенных Каковиным камни были записаны, уложены в ящики и на специальной тройке отправлены в Петербург.

Самого Каковина допрашивают с пристрастием, сажают в Екатеринбургскую тюрьму, снова допрашивают, но через несколько дней находят его повесившимся в камере...

Дальше А. Е. Ферсман рассказывает о том, что уникальный изумруд попал в коллекцию «директора Депар-

тамент а уделов Л. А. Перовского, гофмейстера, придворного магната, мецената и страстного любителя камня». Затем изумруд оказался у князя Кочубея. Во время крестьянского восстания коллекция князя была разбросана по саду, потом часть ее, в том числе и уральский изумруд, собрана и увезена в Вену. По поручению Академии наук А. Е. Ферсман и В. И. Вернадский ездили за границу и за колоссальные деньги выкупили изумруд, составлявший национальную гордость России. «В Минералогический музей Академии наук был принят самый большой в мире русский изумруд, весом 2226 граммов.

История этого камня закончена...»¹

Так завершает А. Е. Ферсман один из вариантов своего очерка.

Очерк этот заинтересовал меня и «приключениями» изумруда и странной судьбой Якова Коковина...

С тех пор, бывая в Эрмитаже и любуясь каменными творениями уральского мастера, задавал себе вопрос: неужели все же совместны «гений и злодейство»? Да и не злодейство даже, а элементарное воровство...

Стал собирать материалы. Рылся в архивах Свердловска, Москвы, Ленинграда. И поиски мои оказались не напрасными. Удалось наткнуться и на подлинное судебное дело Коковина... Так на моем рабочем столе несколько лет назад появилась папка с надписью: «Изумруд».

Первоначально моя цель заключалась в том, чтобы только «развить» А. Е. Ферсмана, прокомментировать его очерк, так сказать, детализировать историю изумруда Коковина. И такое намерение понятно — трудно назвать более авторитетного ученого в истории камня вообще и русского в особенности, чем Александр Евгеньевич.

Поэтому и оправдано было мое стремление пройти в истории уникального изумруда только по следам этого ученого-гиганта. Тем более что сам он категорически заявил: «...в длинной истории этого камня известны и начало и ее конец», «история этого камня закончена».

И вот я собираю из своих «находок» более конкретную, более детальную (хотя и далеко еще не полную) картину судьбы Коковина и начальных «приключений» изумруда. Но как моя картина не похожа на ту, которую нарисовал Ферсман.

И изумруд оказался совсем не тот — другой! И Яков Коковин, как показало исследование судебного дела, не скрывал и не крал никакого изумруда! И Лев Перовский был не только поклонником камнерезного искусства...

Дело в том, что А. Е. Ферсману попались в архиве документы, которые клеветали на Коковина. Клевета же была сделана добротнo и настолько хитро и искусно перемешана с правдой, что отделить одно от другого было не так-то просто. Тем более что клевета отражена не в одной, а в многочисленных официальных бумагах Департамента уделов и Кабинета его императорского величества.

Позднее А. Е. Ферсман и сам выразил сомнение в своей оценке Якова Коковина. В рукописных заметках последних лет жизни ученого имеется такая запись: «Необходимо осветить более правильно эту незаурядную фигуру уральца, сыгравшего, несомненно, большую роль в развитии камнерезной промышленности»². Но сделать это Александр Евгеньевич, занятый большой научной работой, так и не успел.

И теперь, когда удалось обнаружить новые архивные документы, настала пора снять с талантливого художника-камнереза позорное клеймо, несправедливо лежащее на нем более века.

ЯКОВ КОКОВИН

Яков Коковин родился и вырос в царстве камня. С колыбели его окружали люди, которые знали, понимали и любили камень. По мрамору работал еще его дед — Ефстафий Коковин. С шестнадцати лет пошел «каменотесным

учеником» на Горнощитский мраморный завод и отец Якова — Василий Ефстафьевич. Через несколько лет его «по знанию гранильного художества» перевели в Екатеринбург на гранильную фабрику. Здесь Василий Коковин стал подмастерьем, а затем и мастером. При нем в первые годы XIX века «каменодельное искусство на фабрике приведено было «в самое цветущее состояние». А за исполнение четырех яшмовых ваз его наградили «золотыми часами с такою же цепочкою»³.

Василий Ефстафьевич и сына Якова с малых лет приобщал и к камню, и к «художествам».

Уральскому подростку — крепостному и сыну крепостного — повезло.

Случай забросил одаренного двенадцатилетнего мальчика из далекого Екатеринбурга в самый центр художественной жизни России: среди восьми счастливых, принятых в петербургскую Академию художеств в 1799 году, значится и сын уральского мастерового — Яков Васильевич Коковин.

В январе 1800 года президентом Академии художеств стал граф Александр Сергеевич Строганов и ранее бывший ее почетным членом. Представитель династии богатейших уральских магнатов, он издавна покровительствовал искусству. А. С. Строганов был не просто щедрым меценатом — русские и советские искусствоведы справедливо считают его крупным знатоком и тонким ценителем искусства. Сотни шедевров европейской живописи и скульптуры были собраны в роскошном строгановском дворце, построенном знаменитым Растрелли на углу Невского и Мойки. Этот дворец называли «храмом, посвященным музам», «средоточием истинного вкуса». Здесь разместились одно из крупнейших в мире частных собраний картин и скульптур, лучшая в России библиотека, уникальные коллекции камней, медалей, монет, богатейший минералогический кабинет. Дворец Строганова притягивал к себе цвет русской культуры. Здесь бывали художники Ле-

вицкий, Иванов, Егоров, Щукин, скульпторы Мартос, Гальберг, поэты Державин, Гнедич, Крылов, композитор Болтянский, архитектор Воронихин, математик Эйлер, академик Паллас.

Александр Строганов имел чутье на одаренных людей. Президент Академии художеств одновременно являлся директором и главным начальником Экспедиции мраморной ломки и приисков цветных камней в Пермской губернии, в его подчинении находилась и Екатеринбургская гранильная фабрика.

Величественное здание на набережной Васильевского острова, над входом которого поблескивала надпись «Свободным художествам», на семь лет стало домом для Якова Коковина.

Академия переживала тогда лучшее свое время. Недаром искусствоведы называют первое десятилетие прошлого столетия ее «золотым веком»: атмосфера творческих исканий, талантливые учителя и талантливые ученики...

Искусство окружало Якова Коковина не только в Академии, но и за ее стенами. В ту пору возводились многие из зданий, определившие неповторимый архитектурный облик северной столицы. Город сам напоминал художественную мастерскую.

На Стрелке Васильевского острова вырастало похожее на древнегреческий храм здание биржи, украшенное скульптурными группами, и буро-красные ростральные колонны. Готовилось к замене Адмиралтейство. На Невском проспекте возвышались строительные леса Казанского собора, сквозь которые уже виделись величие и изящество будущего сооружения. И камень — он в Петербурге окружал Якова всюду: холодный блеск полированных колонн и скульптур, грубо тесанный, шероховатый, с искрами кристаллов камень набережных и пристаней.

Учился уралец с усердием, осваивая программу сразу двух классов — модельерного и скульптурного. В сентябре 1804 года он удостоен на конкурсе второй серебряной

медали «за лепление с натуры», через год — первой серебряной медали. На выпускном экзамене в 1806 году Коковин получил золотую медаль. «Удостоен первой степени аттестатом, жалован шпагою и чином 14-го класса и назначен в чужие края»,⁴ — говорится в документах.

Каким заманчивым представлял тогда свое будущее Яков Коковин! Несколько лет в красочной Италии с ее древней, но вечно прекрасной античной культурой... Он вернется оттуда уже зрелым скульптором, выполнит в Академии программу на звание академика и будет иметь возможность занять должность адъюнкт-профессора, а со временем и профессора — высшего тогда академического звания...

Но с заграничной поездкой Коковину не повезло: именно с 1806 года из-за наполеоновских войн в Европе временно прекратили выезд за границу выпускников Академии художеств. Строганов, приметивший одаренного уральца, определил его на бронзовую фабрику при Академии. Кажется, у него там неплохо получалось, некоторые коковинские работы названы «значительными» и взяты в «императорский Эрмитаж».

Уехать за границу не удалось и на следующий год: обстановка в Европе продолжала оставаться напряженной. В августе 1807 года Строганов отпустил Коковина в Екатеринбург «для свидания с родственниками». Кроме того, ему поручалось «осмотреть производящиеся на гранильной фабрике орнаментные и гладкие вещи, дать им надлежащее направление и преподать правила рисования и лепления из воска и глины и высекания из мрамора способным к таковому занятию мастеровым»⁵.

Поездка эта намечалась, очевидно, как временная. Но сначала Якова задержала в Екатеринбурге болезнь отца, потом смерть покровителя — графа Строганова. А потом началась война с Наполеоном... Вернуться в Академию и тем более совершить заграничную поездку для совершенствования художественного мастерства так и не удалось...

Но, может быть, фортуна распорядилась правильно? Едва ли Коковин стал бы скульптором первой величины. А здесь, на родине, подобно Антею, коснувшись отчей земли, он стал первым художником камня.

В Екатеринбурге для Коковина как для художника-камнереза открывались уникальные возможности. В те годы именно Екатеринбург был главным центром камнерезного искусства. Существовала, правда, Петергофская гранильная фабрика, созданная еще Петром I. Но в первые десятилетия XIX века она представляла «зрелище, достойное сожаления».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЯШМОВОЙ ВАЗЫ

У каждого вида искусства своя специфика, свои тайны. У камнереза и гранильщика — это особое чувство, особое понимание камня. Здесь мало быть хорошим рисовальщиком и скульптором. Нужно еще чувствовать скрытые возможности камня, его «характер» и капризы. И только тогда сольются фантазия и вкус художника с фантазией и красотой природного камня.

А где же можно так близко узнать камень, как не на Урале? Именно здесь еще с детских лет Яков Коковин перенимал опыт предков. Русская «культура камня» началась с XVIII века, но подлинная зрелость камнерезного искусства приходится на следующее столетие. Цветной русский камень стал популярен — началась полоса увлечения им. Каменные вазы, чаши, канделябры, торшеры, столы, каминные стали излюбленным убранством царских дворцов и особняков вельмож. Под камень стилизовали даже стекло и фарфор — столь велика была мода на него. Императорский двор отпускал для гранильных фабрик не-

малые деньги, давал большие заказы. Спрос на изделия из цветного камня первые три десятилетия XIX века прежде всего удовлетворяли Екатеринбург и Колывань.

После смерти отца в 1818 году Яков Коковин занял его место и стал главным мастером, а вскоре и командиром Екатеринбургской гранильной фабрики. Правда, формально он так и не был утвержден в последнем звании. Почти тридцать лет посвятил Коковин камню и вырос в первоклассного мастера своего дела. Его имя связывают с «периодом яркого расцвета камнерезного искусства, его высших достижений»⁶. Такова оценка современных искусствоведов.

Секрет его успеха был не только в том, что Коковин был талантливым художником. Он тонко понимал природу камня. Хорошо знал уральские месторождения. В поисках цветного и драгоценного камня исколесил почти весь Урал, побывал в киргизских степях. Как отличного знатока камня, его посылали в 1827 году в Финляндию для «осмотра и разведки цветных камней», о чем он сделал доклад в Петербурге.

На Урале кроме новых месторождений яшм и родонита он открыл первое месторождение какого-то особого наждака. Казалось бы — ну и что в этом особенного. Но екатеринбургские камнерезы придавали этой находке особое значение: наждак — нужнейший материал для художественной обработки камня. Без него нельзя ни пилить, ни сверлить, ни шлифовать, ни полировать камень. Раньше подобный наждак привозили из Германии и Англии. Коковинский наждак (он официально получил такое название) превосходил «силой и действием иностранный и мог заменить даже алмазный порошок»⁷.

Якова Коковина ценили как в Екатеринбурге, так и в столице. Заказы из Петербурга он выполнял с отменным мастерством и вкусом, за что его повышали в чинах, награждали золотыми часами, бриллиантовыми перстнями и даже орденом.

В сентябре 1824 года Екатеринбург посетил Александр I. Император был в восторге от гранильной фабрики. Вернувшись в Петербург, он сказал вице-президенту Кабинета е. и. в., в ведении которого находилась гранильная фабрика: «Там в Екатеринбурге мастер фабрики — гений, и я им совершенно доволен».

Был у Якова Коковина еще один талант — тоже очень нужный для камнерезного искусства, и его он унаследовал от своего отца, который славился как механик и изобретатель. Еще в 1798 году Василий Ефстафьевич доложил начальнику Уральской экспедиции о создании им модели машины «для резки и проточки разных камней», которую он создал «своими руками, в свободное время и своим коштом». По этой модели В. Е. Коковин вместе с известным уральским механиком Собакиным сделал машину, которую установили на Екатеринбургской гранильной фабрике. Василий Коковин изобрел также станок «для изъятия из ваз пустоты и ополировки кривых сторон внутренности ваз»⁸.

Яков Васильевич продолжил изобретательскую работу отца и создал станки, на которых можно «обрабатывать на огромных всякой тяжести крепких пород камней самые мелкие и тонкие порезки всякого рода, чего ни у египтян, ни у греков, ни у римлян и вообще как в древних, так и в новейших просвещенных государствах никогда делано не было»⁹. Эти станки Коковина установили не только на Екатеринбургской, но и на Петергофской и Колыванской фабриках.

Несмотря на лучшую для тех времен камнерезную технику, уральским мастерам камня приходилось туго во многих отношениях, в том числе и в творческом. Императорский двор, в подчинении которого находились фабрики, вводил на них такую регламентацию, которая убивала творчество, заставляла мастеров вопреки их вкусу насиловать камень. При Николае I эта регламентация достигла своего апогея. Император, идеалом которого была казарма, не от-

личался высоким эстетическим вкусом. В это время в изделиях из камня исчезает строгая простота форм, появляется вычурный, замысловатый орнамент. Нагромождение деталей, пустое украшательство заглушает природную красоту камня.

Зачастую только художественное чутье мастера-камне-реза не давало усложненной орнаментике перебить или убить природный узор камня. Для большинства изделий со сложной формой и орнаментом обычно подбирался одноцветный или мелкопестрый камень, но почти никогда, скажем, многоцветная яшма...

Нельзя без удивления смотреть на эти сложные каменные изделия. И мы восхищаемся, конечно, красотой прекрасно отполированного камня. Но, пожалуй, еще больше удивимся тонкому мастерству, виртуозности обработки твердого камня, терпеливой победе человека над неподатливостью и хрупкостью материала... Но только в самых удачных вещах природная красота камня и мастерство сливаются в единое целое. Там же, где чутье хоть немного подвело мастера, все пропало — камень противится насилию, гармония пропадает. Поэтому даже в отличных изделиях усложненной формы и пышной орнаментики чувствуется какая-то искусственность...

Яков Коковин находился в лучшем положении. Как выпускнику Академии художеств, ему разрешалось самому делать рисунки (которые, впрочем, тоже утверждали выше). Он сам выбирал для изделия камень прямо из месторождения. Он был творцом от замысла и подбора материала до воплощения.

В жизни почти каждого человека бывает что-то самое главное, то, что он отделяет от других забот и суеты. Таким главным для Якова Коковина была работа над яшмовой вазой, о которой уже упоминалось. В нее он вложил все — свою честолюбивую мечту, свою страсть и опыт художника. Он видел в ней лучшее творение своей жизни. Он надеялся, что это его творение будет вечным. Может

быть, поэтому и выбрал Яков Коковин для своей вазы калканскую яшму.

Нет цветного камня прочнее и тверже, чем яшма.

И нет более разнообразной и яркой палитры, чем у яшмы. К тому же яшмовые краски не выцветают, как у бирюзы, и не бледнеют, как у топаза, — они тоже вечны.

Калканская яшма — самая скромная из многочисленных сестер в семействе яшм. У нее однотонно серо-зеленый цвет. Но она неброска и скучновата только на первый взгляд — стоит всмотреться, и вас покорит ее густой и благородный тон. И кроме того, — что очень важно — она наиболее «послушна» замыслу художника: ведь на ровном спокойном фоне калканской яшмы великолепно смотрится самый сложный орнамент, самый филигранный рисунок.

Еще отец оставил Якову Коковину «в наследство» огромный монолит калканской яшмы, привезенный в Екатеринбург в 1817 году.

Яков Васильевич долго вынашивал рисунок своей главной вазы. Закончил его только через четыре года после смерти отца — в 1822-м. На эскиз обратили «особое внимание» в Петербурге.

Началась обработка яшмового монолита. И первое разочарование — камень оказался с внутренним пороком.

Целое лето 1825 года ездил Яков Коковин по Южному Уралу и наконец нашел подходящую яшмовую скалу — камень нужного цвета, без трещин и других изъянов. Сам наметил линию раскола. На скале разожгли костры, чтобы накалить камень. Потом горячую скалу поливали водой и обрушивали на нее удары тяжелых молотов. И она сдалась — расступилась там, где хотели люди. В трещину забили деревянные клинья, но монолит еще крепко держался за материнскую основу. Пришлось обильно поливать клинья водой — разбухая, они расширяли трещину. Почти два года ушло на то, чтобы отделить монолит и доставить в Екатеринбург. Много терпения и сме-

калки понадобилось уральским мужикам, чтобы протащить каменную громадину сотни верст через степи, горы, тайгу.

Началась первичная обработка камня. И новая неудача для творца — тонкая трещина прошла по монолиту. Правда, по краю глыбы, но задуманная ваза уже не вписывалась.

И снова сидит Яков Коковин над рисунком. Ведет длительную переписку с Петербургом и наконец добивается утверждения нового эскиза. Можно заново приступить к обработке камня.

Как ни сложно было вырубить и привезти монолит, но главные трудности впереди. Нет камня упрямее для обработки, чем яшма, — ни один обычный инструмент не берет ее. Здесь-то и пригодился знаменитый коковинский наждак.

Яшмовый монолит скалывали очень осторожно, один неверный удар — и погибли все труды. Калканская яшма, несмотря на большую твердость, самая хрупкая, а потому требует особого, деликатного обращения. Сначала, приближаясь к нужной форме, каменную глыбу обсекали стальными зубилами, потом стали обделявать разрезными машинками с ребровыми медными кругами, обтачивали на «обшарном стане», а потом наступила очередь шкивов-качалок.

В тончайшие рельефные украшения Яков Васильевич собирался вложить все свое искусство художника-камнереза. Ажурные рельефы на твердом цветном камне — дело чрезвычайно трудное. Еще никто и никогда не наносил их на такое большое изделие из яшмы. Но для того он и изобрел новую так называемую «надносную машину», которая сможет покрыть тело вазы волшебным орнаментом.

Годы ушли на то, чтобы только приблизиться к форме будущей вазы. К концу 1835 года успели произвести об-резку камня, грубую обточку и «выемку внутренностей»...

Якову Коковину не удалось закончить своей вазы — роковые события прервали его работу... Но об этом речь впереди.

Через шесть лет прерванную работу над вазой продолжил ученик Якова Коковина — мастер Гаврила Налимов. Через десять лет — в 1851 году — ваза была готова.

Более четверти века создавался этот шедевр камнерезного искусства. Вот как описывает вазу искусствовед Б. В. Павловский.

«Высота ее равняется 178 сантиметрам, большой диаметр — 167, а ширина — 100 сантиметров. Ваза сплошь покрыта рельефными украшениями. Создается впечатление, что на нее наброшено прозрачное ажурное кружево.

Тело чаши, покрытое рельефными листьями аканта и винограда, как цветок, вырастает из выступающих выпуклых ложек. Борт чаши украшен простым жемчужником. Простота и четкость этих форм еще больше подчеркивают великолепную декорировку центра и ножки, увитой виноградной лозой. Лоза спирально поднимается по изящной ножке, увлекая глаз к самой чаше, как бы подготавливая зрелище того богатства форм, которое там сосредоточено.

Украшение ножки виноградной лозой очень продумано. Чаша массивна. При короткой ножке ваза производила бы впечатление тяжеловесности, высокая же ножка легко, даже стремительно, поднимает овальную чашу, и вся ваза в целом приобретает легкую грациозность, высокая ножка, следовательно, необходима. Но если бы ее поверхность, довольно значительная, осталась гладкой, она могла бы прийти в противоречие с пышной декорацией чаши. Отсюда вытекала необходимость орнамента ножки.

Резьба вазы совершенна, изумительна по мастерству и характеру, по богатому различию рельефа. Отдельные точеные формы, например листья аканта на пояске тела вазы, выдаются за борт и приобретают скульптурный

объем. Резьба доходит до очень тонкого рисунка, например спираль усов. Усики иногда переплетают виноградную ветвь, также покрытую резьбой.

Ножка вазы имеет валик, покрытый плетенкой низкого рельефа; он является как бы границей, отделяющей ножку и всю вазу от простого ступенчатого пьедестала. Блики полированной плетенки сливаются в общую массу переливов света на вазе»¹⁰.

Сейчас каждый, кто приходит в Эрмитаж, может любоваться этим каменным чудом. На музейной этикетке посетитель читает: «Екатеринбургская фабрика. 1851 год. Работа мастера Г. Налимова». Но, наверное, было бы справедливо, если бы рядом с этим именем (а вернее — впереди) стояло и имя Якова Коковина...

КАК ОТКРЫЛИ УРАЛЬСКИЕ ИЗУМРУДЫ

Открытие изумрудных копей на Урале стало одним из самых сенсационных событий в девятнадцатом веке. Но сначала сделаем небольшой экскурс в историю изумрудов.

Люди издавна испытывали особую привязанность к зеленому камню. Среди зеленых самоцветов самый яркий, благородный и редкий — изумруд, или, как его еще называли, смарагд. Лучшие его разновидности ценились дороже алмаза. По классификации Ферсмана, изумруд относится к самоцветным камням первого порядка, куда, как известно, входят алмаз, сапфир, рубин, хризоберилл, александрит, благородная шпинель и эвклаз.

Изумрудом минералоги называют разновидность берилла, окрашенного примесью окислов хрома в травянисто-зеленый цвет. Берилл — силикат редкого элемента бе-

рилла. Буроватый непрозрачный берилл имеет непривлекательный вид. Но зато его прозрачные кристаллы чудесны. Это — и меняющий цвета аквамарин, и золотисто-желтый гелиодор, и нежно-розовый воробьевит... Но красивейший в этой семье самоцветов — изумруд.

Секреты окраски изумруда, как и некоторых других самоцветов, долгое время не открывались людям. Да и сейчас в великолепии и цветовом богатстве камня еще много таинственного и необъяснимого...

Позднее других начал человек создавать искусственный зеленый изумруд. Но пока соперничество с природой, которая «изготовила» изумруды с их бездонной бархатисто-зеленой глубиной и ласкающим взор мягким блеском, проиграно человеком. Природный смарагд и до сих пор остается неподражаемым драгоценным камнем.

С давних пор изумруд, как и другие самоцветы, был и украшением, и талисманом. Он олицетворял весну и юность, плодородие и жизнь. С ним связывали радость надежды и тепло воспоминаний. Его наделяли даром предвидения, утверждая, что в кристалле изумруда, как в зеркале, отражается все тайное и открывается будущее. Ему приписывали силу исцеления недугов, силу, дарующую счастье.

Изумруд воспет в поэтических легендах и окутан суевериями. Вспомним «Суламифь» Куприна:

«Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная... Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение сердца и отводит черные мысли...»¹¹

Камни имеют свою историю. История изумруда — одна из древнейших: она теряется во мгле тысячелетий. Первые сведения об изумрудах относятся к временам Древнего Египта. Первые изумрудные копи обнаружены

к северу от Нубийской пустыни, близ Красного моря, около горы Джабар-забара. Они разрабатывались еще в 1650 году до нашей эры.

Греческий историк Аппиан писал, что в Египте была огромная статуя Серраписа, выточенная из изумруда. Но это, скорее всего, преувеличение. Иногда на изумруде даже гравировали. Известна, например, изумрудная гравюра, изображающая душу, увлеченную страстями.

«Новая эра в истории зеленого камня,— писал А. Е. Ферсман,— началась с открытием Америки, где испанцы неожиданно наткнулись на целую культуру с особым поклонением этому камню. Здесь был прекрасный изумруд, который ценился выше других камней, и большому кристаллу в форме страусового яйца поклонялись, как божеству.

Испанцы прежде всего завладели несметными богатствами изумруда в Перу и Мексике. Разграбив могилы, жилища и храмы, они нашли там такие огромные количества зеленого самоцвета, что в конце XVI века сотни килограммов дорогого камня отправили на судах в Испанию. Европа вдруг была наводнена зеленым камнем. (Им украшали не только платья, но и сапоги, шляпы и трости.) Трещиноватые, изумруды Египта были обесценены, ценился только «испанский смарагд...»

Испанцы долго не могли найти самих месторождений. Лишь после овладения Колумбией и упорной борьбы с племенем музо около 1555 года удалось обнаружить старые копи. С этого времени вплоть до 1831 года изумруды Колумбии преобладали на рынках Европы. Сначала цены на них сильно упали; но затем, уже в XVII веке, снова начали расти. К концу столетия колумбийские копи истощились, и изумруд стал одним из самых редчайших и ценнейших камней.

Изумруд совершает свое победоносное шествие через новые века. Когда любовь к твердому камню эпохи Возрождения сменилась увлечением деревом, лаком, корал-

лом, перламутром, никакой другой зеленый камень не проникал в декоративное искусство Европы»¹².

Считается, что третий этап в истории изумруда начался в 1831 году — с открытия изумрудных копей Урала. Но первая ли это находка уральского смарагда? Еще Плиний Старший писал: «Смарагдов есть 12 сортов. Знатнейшие из них скифские, названные так по тому народу, у коего находятся». Вполне возможно, что скифские и есть уральские. Ведь продавали же скифы грекам золото, приобретенное где-то в районе современных Уральских гор. «Может быть, наш Урал,— писал А. Е. Ферсман,— давал в это время (первые века нашей эры.— И. Ш.) немного зеленого камня, может быть, из золотых россыпей загадочной Биармии проникали на юг демантоиды, амазонские камни и даже изумруд. Но глубокой тайной покрыто до сих пор прошлое нашего уральского камня».

Древняя история Урала во многом еще остается загадкой. Все еще таинственным народом является для нас «чужд», добывавшая железо и медь именно там, где много веков спустя открыты крупнейшие месторождения Каменного Пояса. Нет, не случайно рассказывали скандинавские саги о самоцветах и драгоценных металлах Биармии, не случайны легенды о сказочных богатствах, в том числе и самоцветных, Рифейских гор*. Значит, известны были древним людям уральские сокровища.

Но потом на много веков словно закрыл Урал двери своих кладовых.

XVIII век для Урала был в основном железным и медным. Правда, уже тогда попадались «знаки» золота во многих местах, случались находки драгоценных и цветных камней. Но это были только намеки на несметные сокровища, а сами они в руки не давались.

XIX век начался щедро — одна за другой открывают-

* Так назывались в древности Уральские горы.

ся двери уральских кладовых. В 1819 году впервые обнаружили «новый сибирский металл», а через несколько лет выяснилось, что Россия владеет запасами платины. В 1823 году найдены первые уральские сапфиры, в 1828-м — уникальные месторождения аметиста и аквамарина, в 1829-м — первые алмазы и наконец в 1831-м — первые уральские изумруды.

Известный немецкий ученый и путешественник Александр Гумбольдт, посетивший Россию в 1829 году, писал: «Урал — настоящее Эльдorado!»

Каменный Пояс и в самом деле напоминал эту легендарную страну золота и драгоценных камней, страну, которую разыскивали уже много веков.

В глухом месте, верстах в тридцати от Сибирского тракта, там, где речка Токовая впадает в Рефт, крестьянин-смолокур Максим Кожевников «нашел между корнями вывороченного дерева несколько больших кристаллов и обломков зеленого камня, которые и самое место нахождения показал двоим своим товарищам. Все они копались в корнях и под корнями и нашли еще несколько кусочков, из которых поцветнее взяли с собой в деревню, а потом привозили для продажи в Екатеринбург»¹³.

Так описывал Яков Коковин это историческое для Урала событие в своем донесении в Петербург. Произошло это не в январе 1831 года, как обычно указывается в литературных источниках, а летом или осенью 1830 года.

Как определил потом Коковин, первые изумруды, найденные Кожевниковым, были плохого качества. Они находились в разрушившейся жиле, потеряли цвет и покрылись трещинами. Поэтому скупщики самоцветов в Екатеринбурге приняли их за «худые аквамарины» и купили «по самой малой цене».

Когда командиру гранитной фабрики сообщили, что в городе появились странные камни, то он попросил достать

для него образец. Превосходный знаток камней, Яков Васильевич сразу же понял, что это не аквамарин, ибо, как сообщал он в Петербург, «тяжесть и крепость несравненно превышают оный, отлом чище и стекловитея... а при сравнительных пробах оказался крепче иностранного изумруда»¹⁴.

Коковин ожидал подобной находки. Еще в 1828 году он нашел гигантский берилл, «какового нигде и никогда еще не было, да и едва ли можно надеяться, что когда-либо подобный мог найтись». Уникальный берилл в Петербурге оценили в 150 тысяч рублей и «пожаловали» музею горного института, где он и хранится до сих пор. Яков Коковин знал, что там, где обнаружили берилл, можно найти и его лучшую разновидность — изумруд. Но дальнейшие поиски успехом не увенчались...

И вот теперь Яков Васильевич держал в руках настоящий изумруд и, конечно, оценил значение этого факта. Командир фабрики восстановил цепочку, по которой пришел к нему обломок изумруда, и добрался до Кожевникова. Дотошно расспросив смолокура, Коковин сразу же начал энергично действовать. Несмотря на январскую стужу, он вместе с рабочими 21 января 1831 года (документы зафиксировали эту дату!) выезжает на речку Токтовую — на место, указанное Кожевниковым. В мерзлой земле бьют один шурф за другим и — о удача! — попадают на жилу изумрудов!

Удивительно удачно пробиты первые шурфы — в центре самой богатой изумрудной жилы. И первые же изумруды были великолепного цвета и высокого достоинства. А потому Яков Коковин, приказав продолжать работу на новых коях, заспешил с первыми кристаллами в Екатеринбург. Здесь он огранил один из изумрудов и вместе с другими кристаллами и своим донесением самым спешным порядком отослал в столицу.

Донесение Коковина произвело в Петербурге сенсацию. Столичные ювелиры после тщательных проб под-

твердили: это изумруды! Первые русские изумруды — и превосходного качества!

Уже 26 февраля 1831 года министр императорского двора князь Волконский подал Николаю I докладную записку об открытии в России нового драгоценного камня. Сделав экскурс в мировую историю изумрудов и отметив, что они «доселе были находимы только в Перу и Египте», министр вспомнил и о берилле-гиганте, найденном Коковинным «года пред сим два». «Величина и прозрачность сибирского * берилла, — говорилось в докладной записке, — служат надежным удостоверением, что сибирские изумруды, найденные ныне в близком расстоянии от месторождения берилла, по красоте своей и ценности займут не последнее место между камнями сего рода, находимыми в других частях света. После прошлогоднего открытия графом Полье алмазов нынешнее открытие в Уральских горах настоящих изумрудов есть событие весьма достопримечательное и сколько в отношении к науке и, следовательно, к отечественной славе, столько и потому, что сии драгоценные камни представляют новый источник государственного богатства».¹⁵

За открытие изумрудов крестьянина Максима Кожевникова наградили денежной премией, а командира Екатеринбургской фабрики Якова Коковина — орденом. Было даже предложено «в ознаменование заслуги первого открывателя изумрудов крестьянина Кожевникова, покуда еще находится в живых, бюст его изваять из мрамора и пьедестал поставить на месте открытия с обозначением года»¹⁶. Памятник Кожевникову, однако, так и не поставили.

Петербург потребовал от командира Екатеринбургской фабрики немедленно продолжить добычу изумрудов. И с наступлением весны Коковин развернул работы на коях.

* Урал в то время считался частью Сибири.

Первый прииск, названный Сретенским, оказался самым счастливым. Он дал много прекрасных изумрудов, там же нашли и единственную в своем роде друзу изумрудных кристаллов, оцененную столичными ювелирами в сто тысяч рублей. Превосходный штупф изумруда послали в Берлин в подарок знаменитому Гумбольдту. Русский император подарил прусскому принцу Вильгельму семь изумрудов для коле и четыре — для серег. Изумруд в виде груши весом в 101 карат преподнесли самой императрице.

Мода на уральские изумруды буквально захлестнула придворные круги. Заполучить новый самоцвет жаждали самые сановитые вельможи. О драгоценном минерале говорили в аристократических салонах, о нем писали научные журналы. Горный журнал сообщал: «Твердостью своею уральский изумруд превосходит изумруд восточный и блеском оному не уступает»¹⁷. Своим цветом — то густым, почти черным, с таинственной глубиной, то сверкающим яркой ослепительной зеленью, с особыми оттенками, не похожими ни на какие другие зеленые самоцветы мира, уральские изумруды вызывали восторг и восхищение знатоков и любителей камня.

Уральские изумрудные копи оказались на редкость богатыми. За первые двадцать лет здесь добыли 142 пуда зеленого самоцвета. А по подсчетам А. Е. Ферсмана, все добытые к 1925 году изумруды весили 12—16 тонн.

Но как в первые годы, так и спустя десятилетия копи вели себя чрезвычайно капризно: то они были по-царски щедры — тогда задаривали огромным количеством превосходных изумрудов, то вдруг становились непомерным скрягой — и многолетние раскопки шли совсем впустую. Копи несколько раз забрасывали — считали их уже выработанными и вновь начинали разработку. Даже в начале XX века геологи не могли понять закономерности залегания изумрудных кристаллов.

Именно эта загадочная капризность изумрудных копей и привела к трагедии Якова Коковина.

А пока все складывалось прекрасно у Якова Васильевича. Увлекательная работа. Удачные — еще какие удачные! — открытия новых месторождений самоцветов. Прочное положение в Екатеринбурге и столице — его оценят в Кабинете е. и. в., которому подчинена гранильная фабрика. Благополучие в семье, детей у них с женой, правда, нет, но растят девочку — сироту-родственницу. Наконец-то начал строить новый дом — каменный, красивый — по проекту своего хорошего приятеля, талантливого архитектора Малахова. Оклад командира фабрики не велик, но после открытия изумрудов Кабинет е.и.в. выдал для постройки дома ссуду, разрешил использовать казенный кирпич, деньги за который можно будет заплатить через несколько лет...

Удачно, прочно складывалась жизнь Якова Коковина. Что может грозить ему — талантливому, трудолюбивому, порядочному человеку без порочных страстей?

Но недаром судьбу называют еще и роком. Неожиданно в жизнь Коковина ворвалась злая воля другого человека — вице-президента Департамента уделов, гофмейстера и сенатора Льва Перовского.

ЛЕВ ПЕРОВСКИЙ И ЕГО СТРАСТИ

Несколько лет назад в пантеоне Александро-Невской лавры мне попала на глаза могила Л. А. Перовского, выложенная чудесной мозаикой из великолепных цветных камней. В надгробии после перечисления всех чинов и титулов усопшего выбит девиз его графского герба: «Не слыть, а быть».

— Какой превосходный девиз! — восхитился я тогда.

Позднее, когда я уже кое-что узнал о Перовском, мне показалось, что для него в девизе стоило бы поменять местами глаголы. А впрочем, в девиз можно вкладывать са-

мый разный смысл. Предполагают, что девиз этот придумал для Перовского служивший под его началом Владимир Иванович Даль, который выразил в афоризме скорее пожелание, надежду, чем реальность.

Лев Алексеевич Перовский был одним человеком, а слыл... Кем только он не слыл! Даже такой беспринципный приспособленец тех времен, как Н. Греч, разразился эпиграммой.

Вот Перовский.—Беспрестанно
Он коверкает лицо:
Кошкой, волком, обезьяной,
То свернется весь в кольцо...

Лев Перовский оставил у современников самые противоречивые впечатления. И не только у современников.

А. Е. Ферсман, который интересовался Перовским как любителем и знатоком минералов и покровителем гранильного и камнерезного искусства, был от него в совершенном восторге. Именно энергии Перовского ученый приписывал подъем и расцвет «культуры камня» в России во второй четверти XIX века и называл этот период камнерезного искусства «эпохой Перовского».

Этой заслуги Перовского отрицать нельзя, хотя А. Е. Ферсман, возможно, несколько увлекся в своих оценках.

Но присмотримся к этому человеку и с другой стороны.

Один из пяти внебрачных сыновей екатерининского вельможи графа А. К. Разумовского — Лев Алексеевич Перовский, как и его братья, получил блестящее образование и широкие возможности для карьеры. В Московском университете он занялся было изящной словесностью (были изданы его переводы с французского), но вскоре понял, что это не его стихия. Позднее В. И. Панаев говорил о нем как о человеке, «плохо и мало писавшем, но умевшем очень хорошо оценивать достоинства и недостат-

ки в редакции других». Впрочем, это замечание относилось к деловым бумагам.

После окончания университета в 1811 году девятнадцатилетний Лев Перовский, как и большинство молодых людей его круга, пожелал пойти по военной службе и после школы колонновожатых был зачислен в свиту императора. Участвовал в войне 1812 года и в заграничном походе; умудрился если не участвовать в главных военных событиях, то быть при них. В двадцать семь лет Перовский уже полковник «по квартирмейстерской части».

В молодые годы проявляется какая-то двойственность в его поведении. Он уверенно и успешно идет по дороге придворной карьеры. И в то же время — он участник первых тайных обществ. Трудно сказать, насколько это соответствовало его тогдашним внутренним убеждениям — участие в тайных обществах было модным среди высшей дворянской молодежи. А очаги декабризма историки находят как раз в Московском университете и в Московской школе колонновожатых, где учился Лев Перовский. Окружение не могло не влиять на него. Еще в 1811 году он в «Юношеском собрании» слушал горячие слова о свободе, равенстве и правах человека. Тогда же вместе с братом Василием он дал согласие участвовать в создании республики на острове Сахалине... В 1817 году братья Перовские стали членами тайного Военного общества, или «Общества благомыслящих», а затем и «Союза благоденствия»...

В 1820 году Лев Перовский, женившись, уехал за границу и вернулся в Россию уже вскоре после восстания декабристов, как раз к коронации Николая I. Льву и Василию Перовским пришлось давать показания по делу декабристов — их имена мелькают в бумагах следственной комиссии. Но братья оказались среди тех, кто был освобожден от суда лично императором, «ибо заслужили при милостивом прощении его величества совершенное забвение кратковременного заблуждения, извиняемого их отменной молодостью».

Император не ошибся в Льве Перовском — забвение заблуждений молодости и в самом деле было «совершенным». Через четверть века, в 1849 году Л. А. Перовский — тогда уже сенатор, граф и министр внутренних дел — в усердии сыска превзошел даже профессионалов III отделения его императорского величества: он гораздо раньше выследил кружок Петрашевского и первым «имел честь» доложить об этом императору, чем очень обидел шефа жандармов. А его брат, уже генерал-адъютант В. А. Перовский, возглавил следственную комиссию над петрашевцами. Поистине пути господни неисповедимы!

Летом же 1826 года, когда повесили пятерых, сто двадцать его бывших товарищей и знакомых фельдъегерские тройки увозили в Нерчинские рудники и Читинский острог, именно в это время Льва Перовского назначили членом Департамента уделов — ведомства, занимающегося имуществом, землями и крестьянами императора и его семьи.

Лев Алексеевич начал новый этап своей карьеры. Для этого нужно было научиться дышать в душном климате николаевской России, приспособиться к атмосфере лжи, двуличия и подлости... И у Льва Перовского это отлично получалось.

В России появилась мода на посредственных людей. Николай I не любил и боялся одаренных людей — никогда не знаешь, что от них можно ожидать. А император во всем любил определенность и окружил себя бездумными исполнителями.

Лев Перовский был умным человеком, по крайней мере одним из самых умных среди крупных николаевских чиновников. Но этот ум работал в нужном для Николая I направлении.

Поскольку программа нового императора заключалась в том, чтобы «ничего не менять, а только поддерживать существующий порядок», то Перовский удивительно ловко и эффектно ставил пышные заплатки на трещащий по

всем швам кафтан. Не меняя по существу положение удельных крестьян, он сумел с помощью отдельных мер «сделать немаловажное приращение доходов» (разумеется, не крестьян, а царской семьи). При Перовском впервые за всю историю удельного ведомства не было крестьянских недоимок. Император был доволен, а удельные крестьяне ответили на «реформу» Перовского новыми восстаниями...

«За особое усердие» в сборах налогов с удельных крестьян Перовский получал одну награду за другой. В 1829 году он стал гофмейстером, т. е. получил один из высших придворных чинов, в 1831-м он уже сенатор, а затем получил титул графа. Почти ежегодно на его мундире появлялись новые ордена, в том числе самые высшие — Белого Орла и Александра Невского. Регулярно получал он новые земли «в аренду» и крупные денежные награды. Николай I умел ценить верноподданных слуг.

С отменным упорством и ловкостью шел Лев Перовский вверх по служебной лестнице, шел стремительно, без оглядки...

«Характер имел твердый, настойчивый, готов был прошибить каменную стену, лишь бы достигнуть своей цели», — писал о нем В. И. Панаев, работавший вместе с Перовским в Департаменте уделов.

«Честолюбивый до ненасытности и устремлявший к тому все свои действия», «Непомерное честолюбие и немоллимая жестокость», «Неугомонное честолюбие». Такими эпитетами не раз награждал своего начальника Панаев на страницах своих воспоминаний¹⁸.

В огне этого честолюбия словно сгорали все остальные чувства и эмоции Льва Алексеевича. Он отлично понимал, как опасны и вредны для карьеры живые человеческие чувства. И он выполол в своей душе не только слабые ростки декабристских идей, но задушил или накрепко запер в себе «ненужные» душевные движения. Пройтись к его душе невозможно. Он стал образцовым николаевским чиновником.

«Первое впечатление делает Перовский неприятное — весьма. При среднем росте, худощавости движения вялы, походка деланная, продолговатое лицо кажется изношенным, цвет кожи без жизни, с желтоватым отливом, выражение лица кажется застывшим. Глаза, обращенные куда-то, но никогда на человека, с которым говорит, — производят полное недоверие. Вскоре, после разговора с Перовским, разговора, переполненного льстивых похвал мне, я вынес тяжелое впечатление, как о человеке недобром, и избегал случая увидеть его в другой раз».

Такую характеристику сделал не враг Перовского, а человек, случайно встретивший его впервые, человек, которого Лев Алексеевич очень хвалил за какие-то услуги, оказанные Департаменту уделов.

«Гордец, который, кажется, на свете никого не любит», — это говорит уже хорошо знакомый с Перовским Н. И. Греч.

Но, пожалуй, самый злой отзыв о Льве Перовском дал человек одной с ним породы, сам ловкий царедворец и один из николаевских министров граф Блудов: «Это всегда животное, но иногда это хищный зверь».

Таким был Лев Алексеевич Перовский на службе — в мундире, застегнутом на все пуговицы, автомат, не позволяющий ни себе, ни другим проявлять «лишние» мысли и чувства.

Но был еще и другой Лев Перовский.

У этого хладнокровного честолюбца, казалось задушившего всякие эмоции, была своя страсть. Страсть неистовая, болезненная, доходящая до слабости, до глупости, до преступления...

Это была страсть коллекционера.

Лев Перовский не любил жену, с которой прожил недолго, ибо она рано умерла. Он не имел детей. Братьев, сестер и других родственников недолюбливал и старался с ними встречаться как можно реже. К женщинам был довольно равнодушен. Воздержан в еде и в винах, на зва-

ные обеды почти не ездил. Мало двигался, избегая длительных прогулок...

После службы часами, а иногда и целыми днями просиживал он на бархатной подушке своего кресла, разбирая свои огромные коллекции — ботанические, зоологические, археологические... Имелся у него уникальный подбор старинного серебра...

Но главной его слабостью были минералы и драгоценные камни. Всю свою жизнь Лев Перовский вел неистовую погоню за уникальными минералами.

Этой страстью и объясняется его покровительство камнерезному делу. По долгу службы он вовсе не был обязан заниматься Петергофской гранильной фабрикой, однако уделял ей необыкновенное внимание. Используя свою близость к императору, он добился передачи Петергофской фабрики Департаменту уделов. Именно энергия Перовского оживила умершее было предприятие. Для восстановления фабрики вице-президент Департамента уделов добился огромных средств, поставил во главе ее хозяйственного и энергичного Д. Н. Казина, пригласил опытного в художественной обработке камня итальянца Улиса Анжело, положив ему три тысячи рублей жалованья (раз в десять больше, чем оклад командира Екатеринбургской гранильной фабрики Я. В. Коковина).

Перовский блестяще организовал снабжение Петергофской фабрики природным камнем. Привозили яшму и белый мрамор из Италии, лазурит из Афганистана, сердолик из Индии, черный мрамор из Бельгии, алмазы и аметисты из Бразилии... По его инициативе началась разработка цветного камня на Волыни, на Урале, в Сибири...

Камнерезное и гранильное дело благодаря Перовскому было поставлено с небывалым размахом. И А. Е. Ферсман не без основания писал: «Не только Петергофская фабрика, но и вся русская наука обязана ему за его почти тридцатилетнюю деятельность тем особым подъемом

внимания к камню, которое характеризует всю первую половину XIX века»¹⁹.

При этом Лев Алексеевич не забывал, конечно, и о пополнении своей личной коллекции. Тот же Ферсман, отмечая, что Перовский «любил камень со всей страстью коллекционера», подчеркивал, что все лучшие камни, поступавшие в Департамент уделов, оседали в коллекции вице-президента. Причем делалось это любыми средствами, часто отнюдь не деликатного свойства. Многие чиновники Департамента уделов были настоящими агентами для пополнения коллекции своего начальника.

Едва на Урале нашли первые алмазы — всего несколько кристаллов, — как два лучших природных двадцатичетырехгранника, не уступавших, по мнению специалистов, игрой и блеском ограненным бриллиантам, уже оказались в минералогической коллекции Перовского. В коллекции, которой была отведена специальная огромная комната в его роскошной квартире на Большой Миллионной, в здании, где размещался и Департамент уделов.

Все же остальные коллекции размещались в его огромном кабинете, три окна которого смотрели на Неву. Но для камней отведен специальный минералогический кабинет, вызывавший восхищение и зависть ученых и любителей. Как скупой рыцарь, впадал Перовский «в жар и трепет», любуясь волшебным блеском самоцветов... Здесь давал он волю своим чувствам, здесь он жил полным накалом страсти, чтобы завтра снова появиться холодным и надменным в канцелярии Департамента.

Подчинив себе Петергофскую фабрику, Перовский пытался прибрать к рукам и уральских камнерезов. Но, несмотря на все его старания, Кабинет е. и. в. не выпустил Екатеринбургскую фабрику из-под своей власти. Вот тогда-то, это было в 1829 году, Перовский решил наладить частные связи с командиром Екатеринбургской фабрики.

И в Екатеринбург идет письмо директора Петергофской фабрики. Казин писал Якову Коковину:

«...В сем случае, равномерно как и на предбудущее время, я прошу Вас вступить со мною по предмету закупки камня в коммерческую совершенно в частном виде спекуляцию. Извещаю Вас, что предложение сие делается мною с ведома вице-президента Департамента уделов его превосходительства Льва Алексеевича Перовского, признавшего сей способ приобретения камня самым верным и поспешнейшим средством к снабжению оными фабрики, а посему я прошу Вас за поручение сие назначить в пользу всем известные в коммерции проценты за комиссию и быть совершенно уверенным, что труды Ваши по сей операции не останутся без особого внимания начальства...»²⁰

На это письмо Коковин ответил:

«Относительно деланной мне доверенности на коммерческих правилах в доставлении здешних цветных камней для минерального собрания и годного на дело малахита и предложении от такой спекуляции выгод мне ничего не остается другого сказать, как принести Вам мою благодарность и за откровенность Вашу объяснитьсь с такой же откровенностью.

Странностью моих правил могут ежели не удивляться, то шутить многие. Я не могу сказать, чтоб был беден, но и не богат. Довольствуюсь ограниченным жалованьем, перенося иногда недостатки с надеждою, что когда-либо начальство взглянет на труды мои, твержу пословицу: за богом молитва, за царем служба не теряется; и пока служу, никаких сторонних выгод желать и искать не могу, да и сама заботливость службы того не позволяет. А чтобы быть полезным вверенной управлению Вашему Петергофской шлифовальной фабрике, с совершенным удовольствием готов служить Вам для выгоды казны без всяких коммерческих видов, при сих доставленных со стороны Вашей средствах»²¹.

Письма эти впервые найдены А. Е. Ферсманом и прокомментированы им довольно странно.

Поскольку официальные пути снабжения камнями Петергофской фабрики,— пишет Александр Евгеньевич,— «не показались Перовскому достаточно гибкой формой», то он решил материально заинтересовать в том Я. В. Коковина. «Весьма вероятно,— продолжал Ферсман,— что в Петербурге уже тогда были известны некоторые черты этого талантливого, но корыстолюбивого человека». Именно поэтому, делает вывод Ферсман, ему и предложили частную сделку. «На это Коковин ответил, хотя и отрицательно, но довольно уклончиво»,— заканчивает свои комментарии ученый.

В комментарии чувствуется уже сложившаяся предвзятость: Коковин — будущий похититель уникального изумруда, человек корыстолюбивый и порочный.

Но письмо Коковина вовсе не свидетельствует об уклончивости. Наоборот, ответ его совершенно ясен: в сомнительной сделке участвовать «не желаю и не могу». Уж наверняка корыстный человек не отказался бы от столь выгодного предложения, тем более что сделано оно от имени крупного столичного чиновника. Коковин же ответил как человек щепетильно честный, предпочитающий выглядеть чудачком, чем быть втянутым в подозрительную аферу...

Надо думать, Перовский, не привыкший к подобным отказам, затаил против командира Екатеринбургской фабрики, по крайней мере, раздражение. Мстительность была одной из черт характера Перовского. Об этом упоминают все, кто его знал.

Но пока Яков Коковин находился вне пределов власти Департамента уделов. Тем не менее Перовский добился предписания министра императорского двора, которое обязывало командира Екатеринбургской фабрики удовлетворять «все требования Департамента уделов относительно добывания цветных камней... а для сокращения переписки прямо сноситься с Департаментом».

Открытие уральских изумрудов не могло оставить Пе-

ровского равнодушным. Едва прослышав об этом, он немедленно обратился в Кабинет е. и. в. с просьбой сделать для него копию донесения Коковина об открытии изумрудных копей и в феврале 1831 года поручил командиру Екатеринбургской фабрики «заложить разведку изумрудов в пользу Департамента уделов».

Но Яков Коковин, видно, не испытывал особого желания иметь дело с Перовским и не спешил выполнить его поручение, а потому на этот раз в самом деле уклончиво ответил, что «для сего нужно особое предписание своего начальства».

Такой ответ еще более взбесил вице-президента Департамента уделов. Он употребил все свое влияние, и уже в августе 1831 года Кабинет е. и. в. подтвердил прежний приказ министра и потребовал от Коковина «неукоснительного исполнения требований Департамента уделов на счет добывания цветных камней... не исключая из оных и изумрудов».

И хотя один из самых первых уральских изумрудов очень скоро оказался в перстне Перовского, упрямство Коковина несколько задержало добычу изумрудов для Департамента уделов и, разумеется, для его вице-президента лично.

Человек, который мешал Льву Перовскому удовлетворять его страсть, становился его личным врагом. И теперь месть Перовского ждала только случая...

В сентябре 1832 года Перовский появляется в Екатеринбурге, а затем, несмотря на отвратительнейшую дорогу, вернее, полное ее отсутствие, добирается до изумрудных копей. Он даже спустился в шахту глубиной 35 аршин...

Его привлекло сюда не только любопытство любителя камня, но и желание увидеть какую-либо промашку командира Екатеринбургской фабрики. Но придраться было не к чему. Шел один из самых удачливых периодов в истории копей — они давали великолепные изумруды и в

большом количестве. Расторопный Коковин успел построить на приисках две казармы для рабочих, конюшню, кузницу, сарай... Для приезжего начальства приготовлена новая изба. Для откачки воды из глубоких шахт устроена отливная конная машина. Одним словом, работа на копях шла полным ходом...

СТОЛИЧНЫЙ РЕВИЗОР

В начале июня 1835 года в Екатеринбурге появился почти инкогнито столичный чиновник. Не отвечая ни на какие вопросы, он потребовал, чтобы его немедленно провели к главному горному начальнику уральских заводов генерал-лейтенанту Дитериксу. Но даже перед «горным царем» столичный гость вел себя с каким-то особым петербургским высокомерием. Прежде всего он предъявил генералу бумагу, которая гласила, что член Департамента уделов статский советник Ярошевицкий послан министром императорского двора для ревизии Екатеринбургской гранильной фабрики и изумрудных копей. А после этого с особой значительностью добавил, что имеет еще и секретное поручение — дознать, не скрывает ли командир фабрики Коковин цветные камни. И посему он намерен произвести в квартире Коковина обыск и предлагает генералу принять в этом участие.

Горного начальника покорила и высокомерный тон, и само предложение заняться не совсем достойным для него делом. Но многолетний опыт общения со столичными чиновниками помог ему ничем не выдать своего возмущения. Сославшись на недомогание, генерал предложил в помощники екатеринбургского полицмейстера.

Прямо от горного начальника Ярошевицкий вместе с полицмейстером и срочно вызванным надзирателем гранильной фабрики отправился к дому Коковина. Путь был недолог — от горного правления нужно было только пе-

рейти плотину, на восточном краю которой стояла гранильная фабрика. Почти сразу же за ней стоял старый деревянный со службами дом, где жил Яков Коковин...

Позднее одним из пунктов обвинения Коковина будет записано: «упорство, оказанное при освидетельствовании квартиры его». Но вот как об этом же рассказывают материалы предварительного следствия.

«Статский советник Ярошевицкий по приходе в квартиру Коковина сказал ему, что он послан по воле начальства, с высочайшего утверждения для обревизования всего, что состоит на ответственности его, Коковина, по службе, предъявил ему открытое предписание, чтобы он, Коковин, при обревизовании исполнял все законные требования его, Ярошевицкого. После того вскоре письмоводитель Ярошевицкого явился туда с полицмейстером. При них Ярошевицкий пошел к кабинету или мастерской его, Коковина, говоря, что имеет причины сделать там обыск.

Он, Коковин, просил Ярошевицкого дозволить ему уведомить об этом горного своего начальника*, но Ярошевицкий с гневом закричал, что по данной ему власти может тотчас сместить и удалить его, Коковина, от должности, поставя военный караул ко всему дому.

В продолжение этих угроз полицмейстер объявил ему, Коковину, что горный начальник по случаю болезни поручил ему быть вместо себя при освидетельствовании.

Затем Ярошевицкий, письмоводитель его, полицмейстер, надзиратель фабрики и несколько человек мастеровых вошли в кабинет его, Коковина, где он, предъявив Ярошевицкому хранившиеся в шкафах и других помещениях изумруды и других пород камни, объяснял, которые из них принадлежат Кабинету его величества и Департаменту уделов...»

* Екатеринбургская гранильная фабрика находилась под двойным началом: Кабинета с. и. в. и главного горного начальника уральских заводов.

Большинство камней уже были подготовлены для отправки в Петербург, и Ярошевицкий решил сам заняться их отправкой.

Пока мастера под наблюдением полицмейстера и помощника столичного ревизора сортировали подготовленные камни, сам ревизор осмотрел гранильную фабрику, побывал на изумрудных коях, расспрашивал мастеровых и рабочих...

Его непосредственный начальник вице-президент Департамента уделов Перовский, инструктируя Ярошевицкого, нарисовал перед ним довольно зловещую картину, которую ему предстояло увидеть. Последнее время резко сократилось количество изумрудов, присылаемых с уральских копей. Причина тому теперь ясна. Перовский показал анонимный донос, присланный из Екатеринбурга: многие изумруды по вине командира фабрики не доходят по назначению...

Ярошевицкий, расспросив десятки людей на коях, убедился, что добыча изумрудов и в самом деле сократилась, слюдяной сланец шел без изумрудных кристаллов...

И разных недочетов в работе командира Екатеринбургской фабрики ревизор обнаружил немало, особенно в хранении камней и ведении книг на них. Правда, хранить их по инструкции и в самом деле было невозможно. Фабрика, несмотря на неоднократные донесения командира, не имела для этого нужного помещения, а потому Коковин вынужден был держать камни в своем служебном кабинете, который находился в том же доме, где он жил...

Вернувшись с копей в Екатеринбург, Ярошевицкий сам стал составлять опись разобраным камням. Теперь уже внимательно рассматривая каждый камень, он диктовал письмоводителю:

«...515 граненых аметистов...

Печатей изумрудных, отделанных шлифовкою — 3...

Искр — 1103...

661 граненых изумрудов разной величины...

115 шурфов изумрудных...

Камней изумрудных хороших — 30, в них весу 8 фунтов.

Самых лучших изумрудных камней — 11, в которых весу 4 фунта, в том числе один...»

Ярошевицкий понимал толк в камнях, немало повидал их на своем веку, но ничего подобного раньше не встречал. Такой крупный кристалл — и ни единое пятнышко не портило чистой глубины его яркой благородной зелени...

«...В том числе один самого лучшего достоинства, весьма травянистого цвета, весом в фунт... самый драгоценный и едва ли не превосходящий достоинством изумруд, бывший в короне Юлия Цезаря...»²²

Все восхищались этим изумрудом. Он казался чудом природы и был им на самом деле... Прав был Плиний Старший, утверждая, что в сравнении с изумрудом «никакая вещь зеленее не зеленеет», что нет цвета более приятного для глаза, чем цвет смарагда.

Ревизор теперь даже понял, почему командир фабрики не торопился отправлять в Петербург этот изумруд, найденный еще в конце прошлого, 1834 года. Как показали материалы следствия, Коковин действительно задержал уникальный изумруд у себя в кабинете, но не только не скрывал его от других, а, наоборот, показывал его многим знатокам самоцветов и сам восторгался им, приговаривая: «Еще раз на этот камень полюбуюсь, ни прежде, ни после такого не было»²³. А потому едва ли корыстные намерения заставили Якова Коковина не торопиться с отправкой уникального изумруда в столицу. Скорее, это была слабость ценителя самоцветного камня...

Наконец ящики с камнями упакованы. Ревизор запечатал их двумя печатями — своей и фабричной — и велел грузить на специальную тройку. Сопровождать ценный

груз он поручил расторопному мастеровому фабрики Григорию Пермикину.

16 июня 1835 года уникальный изумруд отправился в дальнюю дорогу. Продолав путь почти в две тысячи верст, почтовая тройка 11 июля прибыла в столицу и остановилась на Большой Миллионной — около здания Департамента уделов, в котором находилась и квартира Льва Перовского. При вскрытии ящиков, как об этом говорят архивные документы, присутствовали двое: мастеровой Григорий Пермикин и вице-президент Департамента уделов. Целых две недели — с 11 по 25 июля — Пермикин сортировал камни. Затем часть изумрудов отправили в Кабинет е. и. в., другую оставили в распоряжении Департамента уделов.

Вице-президент познакомился с отчетом Ярошевицкого о ревизии Екатеринбургской гранильной фабрики и изумрудных копей. Документ этот был составлен с отменной ловкостью — он позволял сделать любой вывод. Можно было обвинить командира фабрики в злоупотреблениях, а можно и не обвинять — все зависело от точки зрения. Перовский был странно великодушен — он не дал никакого хода отчету Ярошевицкого.

Казалось, гроза пронеслась мимо. Так показалось и главному горному начальнику уральских заводов, который в августе 1835 года ходатайствовал перед Кабинетом е. и. в. «о награде обер-гиттенфервальтера Коковина за беспорочную долговременную его службу, непоколебимую добрую нравственность и знание своего дела по управлению фабрикой следующим чином»²⁴.

Все хорошо должно было получиться у Якова Коковина. Ведь изумруды, которые добывались на открытых им копиях, должны у всех, кто на них смотрит, «отводить черные мысли».

«ДЕЛО... О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ... КОКОВИНА...»

«Дело... о злоупотреблениях обер-гиттенфервальтера Кокovina по должности командира Екатеринбургской гранильной.

Начато 5 декабря 1835 г.

Решено 5 апреля 1839 г.»²⁵

Начато 5 декабря... Именно в этот день Лев Перовский неожиданно появился в Екатеринбурге. Приезду же его предшествовали такие события.

Слухи об удивительном изумруде дошли до придворных кругов столицы. И, естественно, появились желающие полюбоваться чудесным кристаллом. Но... фунтового изумруда не оказалось ни среди камней, переданных Кабинету е. и. в., ни среди самоцветов, оставленных в Департаменте уделов.

Кто-то сообщил об этом министру императорского двора, и тот поручил разобраться в этом деле Ярошевицкому, поскольку Перовский куда-то уехал и его в Петербурге не было.

Ярошевицкий кропотливо сверяет свою опись, составленную в Екатеринбурге, с наличными камнями и не находит среди них не только фунтового изумруда, но и четырех лучших аквамаринов. Но зато такая странность — всех изумрудов уже не 661, как значится в его описи, а 670! — появились лишние! И изумрудных искр не 1103, а 1108 — тоже лишние!

Ярошевицкий пишет об этом рапорт министру, но не успевает его отправить — в столицу возвращается Перовский. Вице-президент забирает неотправленный рапорт у своего подчиненного — он сам разберется в этой странной истории...

Рапорт Ярошевицкого так и не был отправлен министру, а остался в бумагах Льва Перовского, которые сейчас находятся в историческом архиве Ленинграда. При рапорте

сохранилась и объяснительная записка Перовского (к каждой бумаге должна быть резолюция — вице-президент любил порядок): рапорт не отослан потому, что Ярошевицкий выехал из Петербурга по служебным делам?! А на самом рапорте позднейшая приписка: «отношение сие не состоялось». Таким образом, документу, который мог облегчить поиски пропавшего изумруда, ходу не дали, и он затерялся в бумажном океане.

Перовский срочно отослал из столицы и Пермикина. В Петербурге теперь, кроме самого вице-президента, не осталось никого, кто мог дать какие-либо объяснения о пропаже изумруда.

А между тем слухи об исчезновении уникального изумруда уже дошли до придворных кругов. Строились самые фантастические предположения, появлялись невероятные предположения. Поискам уральского изумруда придавали важное значение.

• И едва в начале ноября 1835 года вернулся из заграничной поездки Николай I, ему сообщили о странном происшествии. Император повелел немедленно отыскать столь ценный камень.

Любой, самый неискушенный следователь, если бы ему поручили это дело, понял бы, что все следы ведут к Льву Перовскому: ведь путь изумруда обрывается около него...

Но следователем по делу об исчезнувшем изумруде оказался... сам Перовский! Он срочно встречается с императором и выходит из императорского кабинета со следующим документом:

«Секретно.

Господину Гофмейстеру,

Сенатору Перовскому.

Министр двора довел до моего сведения, что член Департамента уделов статский советник Ярошевицкий при ревизии в июне сего года Екатеринбургской гранильной фабрики нашел в квартире обер-гиттенфервальтера Кокко-

вина значительное количество цветных камней, принадлежавших казне и хранившихся без всякой описи, — в числе оных был изумруд высокого достоинства по цвету и чистоте весом в один фунт. Все сии камни Ярошевицким хотя и были отосланы в С.-Петербург, но по доставлении сюда означенного изумруда не оказалось.

Вследствие сего повелеваю вам: отправясь в Екатеринбург, употребить по ближайшему своему усмотрению, решительные меры к раскрытию обстоятельств, сопровождавших сказанную потерю, и к отысканию самого изумруда. Причем, если будете иметь другие случаи подобной утраты изумрудов с казенных приисков, то также не оставите принять меры к раскрытию оных.

Николай.

В С.-Петербурге
20 ноября 1835 г.» ²⁶

Кто теперь может послушаться Перовского? Любой человек, какого бы чина и звания он ни был, будет теперь исполнять то, что прикажет вице-президент Департамента уделов.

А в начале декабря Перовский уже в Екатеринбурге — наверное, не одна загнанная ямская лошадь была на его совести...

Лев Алексеевич был энергичным человеком. Но 5 декабря 1835 года он превзошел самого себя. Властью, данной ему императором, он в первый же день появления в Екатеринбурге привел в движение множество людей.

«Дело» Коковина открывает такой документ:

«Главному начальнику Горных заводов Уральского хребта господину артиллерии генерал-лейтенанту и кавалеру Дитериксу 2-му.

Поставляя в известность Ваше превосходительство, что исправляющий обязанность командира Екатеринбургской гранильной фабрики Коковин уволен от занимаемой долж-

ности по Высочайшему повелению Его Императорского величества, о чем Вы изволите получить особое уведомление из С.-Петербурга.

На основании Высочайшего повеления... признавая нужным бывшего исправляющего должность командира Екатеринбургской гранильной фабрики Коковина посадить в тюремный замок с тем, чтобы он содержался там в отделении для секретных арестантов и ни под каким предлогом не имел ни с кем из посторонних сообщения без моего дозволения.

Я прошу Ваше Превосходительство приказать немедленно произвести в исполнение сие распоряжение...

Гофмейстер и сенатор Л. Перовский.
5 декабря 1835 года в Екатеринбурге»²⁷.

Горный начальник вынужден тотчас же написать другой документ:

«Господину командиру 13-го Оренбургского Линейного батальона подполковнику Яновскому.

...Заключить в тюремный замок... Коковина с тем, чтобы он содержался там в отделении секретных арестантов, и учредить строжайший караул, дабы он ни под каким предлогом не имел ни с кем из посторонних сообщения без дозволения господина сенатора Перовского...

Генерал-лейтенант Дитерикс.
5 декабря 1835 г.»²⁸

Теперь Яков Коковин изолирован и беспомощен, теперь он в полной власти Льва Перовского...

Этим же днем, 5 декабря, датированы еще несколько документов, находящихся в деле. Какая масса бумаг, доказывающих усердие вице-президента Департамента уделов! С каким рвением, с какой решительностью ищет он пропавшее сокровище. Арест Коковина. Дотошные допросы десятков людей. По Екатеринбургу проползали слухи о

страшных преступлений бывшего командира гранильной фабрики...

За Яковым Коковым надолго захлопнулись двери секретной одиночки Екатеринбургского тюремного замка...

Ежедневно в камеру входил тюремный надзиратель, молча ставил на стол еду и так же молча, не отвечая ни на один вопрос, уходил. На все просьбы и требования заключенного о свидании с кем-нибудь из лиц екатеринбургского начальства — тоже молчание.

Наконец 17 декабря в камере-одиночке появился Лев Перовский. Он задавал странные вопросы об изумрудах.

На следующий день снова Перовский. И снова зловещая фраза, как и в прошлый раз.

— Только признание может вас спасти. Только признание в хищении изумруда.

Еще через день — третий, и последний, допрос, и то же требование: признаться в похищении камня...

Коковин не признал себя виновным.

Перовский выяснил, что с изумрудных копеек и в самом деле пропадают иногда кристаллы самоцветов. Правда, Коковин здесь ни при чем.

Но при каких обстоятельствах исчез фунтовый изумруд, Перовский ничего не выяснил, да и не мог выяснить, ибо об этих обстоятельствах знал только один человек — сам Лев Перовский. И тем не менее в отчете министру двора и императору вице-президент делает самые категорические выводы:

«Не подлежит сомнению, что утраченный большой драгоценный камень... и много других высокого достоинства изумрудов были похищены бывшим командиром Екатеринбургской фабрики Коковым, но где эти камни, проданы ли они, спрятаны ли самим Коковым или переданы кому-нибудь для хранения, об этом в краткое мое пребывание в Екатеринбурге я узнать не смог. Сообщников у Коковина, по-видимому, немного, и действия его так скрытны, что проникнуть в них весьма трудно...»²⁹

Забегая вперед, приведем вывод судебного следствия, сделанный через год после этого отчета Перовского:

«Из вышеуказанного акта, учиненного при вторичном обыске в квартире Коковина, видно, что тот обыск был сделан по случаю похищения, найденного Ярошевицким драгоценного изумрудного камня весом в фунт; но где и когда тот камень похищен и по какому случаю обращено было на Коковина подозрение в похищении, тогда как Ярошевицкий при донесении своем министру императорского двора представил с нарочным в числе прочих и этот камень, показав его по описи, никаких сведений к сему делу не доставлено и по исследованию и судопроизводству виновного в похищении того камня не открылось»³⁰.

Уезжая из Екатеринбурга, Перовский и не надеялся, что вина Коковина в похищении фунтового изумруда будет доказана. Но именно поэтому он сделал перед отъездом строгое распоряжение:

«Начальнику горных заводов Уральского хребта господину артиллерии генерал-лейтенанту и кавалеру Дитериксу 2-му.

По произведенному мною вследствие секретного Высочайшего Указа... розысканию, исправляющий должность командира Екатеринбургской гранильной фабрики и Горнощитского мраморного завода обер-гиттенфервальтер 8-го класса Коковин оказывается виновным в растрате изумрудов, добытых на казенных приисках, и в других злоупотреблениях по должности, а потому и считаю нужным оставить его под арестом в тюремном замке...

Гофмейстер и сенатор Перовский.

21 декабря 1835 года.

Екатеринбург»³¹.

Как только Перовский добрался до Петербурга, он тут же составляет документ с далеко идущими последствиями.

«Его светлости господину министру императорского

двора вице-президента Департамента уделов гофмейстера Перовского рапорт.

...Отъезжая из Екатеринбурга, я оставил Коковина под стражею в тюремном замке, которого, по мнению моему, следует держать под арестом во все продолжение суда.

При сем долгом поставляю присовокупить, что я имею сильное подозрение на подполковника Оренбургского линейного батальона Яновского, непосредственному надзору которого Коковин был поручен во время моего пребывания в Екатеринбурге, в том, что он доставляет ему средства знать о всех моих распоряжениях, несмотря на то что Коковин содержался под секретным арестом.

По сему кажется, что не излишне было бы при открытии военного суда над Коковиным не назначать презусом (председателем суда.—И. Ш.) ни Яновского, ни другого из проживающих в Екатеринбурге штабс-офицеров, а возложить эту обязанность на лицо, которое не было бы в связях с Коковиным.

4 января 1836 года. С.-Петербург» ³².

И Лев Перовский добился своего. Екатеринбургскому военному суду выразили недоверие и по делу Коковина составили судную комиссию из офицеров, находящихся под началом оренбургского военного губернатора генерал-лейтенанта В. А. Перовского — брата Льва Алексеевича. Удивительное совпадение, не правда ли?

Суд.

Весной 1836 года члены военно-судной комиссии, созданной по приказу Василия Перовского, прибыли в Екатеринбург. Но делать им здесь было нечего: в распоряжении суда не оказалось ни одного следственного документа по делу командира Екатеринбургской фабрики. Лев Перовский все материалы дознания запросил в Петербург и не торопился высылать их обратно.

Так прошло несколько месяцев. Только летом суд начал свою работу. Нет, члены суда не были совсем уж бессовестными людьми. Они старались быть объективными.

Из собранного материала они сделали вывод, о котором мы уже упоминали: «...где, когда и кем тот камень похищен, никаких сведений о том к сему делу не доставлено», и осторожно недоумевали: если фунтовый изумруд увезен Яршевицким в Петербург, то почему его нужно искать в Екатеринбург?

Но никто не спросил Льва Перовского: видел ли он тот изумруд, когда вскрывали ящики в июле 1835 года? Если видел, то почему его не ищут в столице? Если же изумруда в ящике не оказалось, то почему уже тогда, в июле, Лев Перовский не поднял тревоги? Не мог же он равнодушно отнестись к исчезновению уникального изумрудного камня?

Этих вопросов вице-президенту Департамента уделов не задавали, а если и задавали, то в следственном деле этого не отражено.

Судьи не могли не чувствовать, что чья-то ловкая и сильная рука не разрешала следствию и суду искать изумруд там, где он потерян, а умело отводила их усердие совсем в другую сторону. И потому все, кто занимался делом бывшего командира Екатеринбургской фабрики, поняли, что их задача состоит не в поисках пропавшего изумруда, а в том, чтобы в чем-нибудь обвинить Якова Коковина.

И вырастали один за другим пункты обвинения. Коковина обвинили в том, что он

«...не исполнил возложенных на него обязанностей как по управлению гранительной фабрикой и мраморным заводом, так и вообще по добычанию в изумрудных приисках цветных камней...» (Попробуй докажи, что делал все идеально!) ³³;

что своевольно остановил строение здания новой фабрики;

что продавал и раздавал материалы для сего строения;

что прекратил добычу наждака;

что беспорядочно и произвольно ценою покупал для фабрики дрова и провиант;

что не по всем правилам хранил камни;

что не все служебные документы велись по форме;

что мастеровые фабрики по разрешению командира выполняли частные заказы и т. д.³⁴

Правда, разобравшись в обстоятельствах дела, суд признал, что по большинству пунктов обвинения «никаких злоупотреблений со стороны подсудимого Коковина не оказалось», а напротив, из дела видно, что дрова и провиант покупали не выше справочной цены; добыча наждака, найденного самим Коковиным, закрыта временно, так как не было потребности; остановка работ на фабрике происходила иногда из-за мелководья; мастеровых на изумрудных приисках употребляли только по назначению; строение новой фабрики остановлено и заготовленные материалы проданы по решению горного начальства...

В сентябре 1836 года суд закончил свою работу. Коковин же по-прежнему находился в одиночке тюремного замка. Еще полтора года придется ему просидеть в тюремной камере, пока судебный приговор медленно продвигался по каналам бюрократической машины: от военно-судной комиссии к оренбургскому губернатору, от губернатора в Военное министерство, из министерства на окончательное утверждение императора...

Коковин же все это время пребывал в полной неизвестности: он не знал ни окончательных обвинений, выдвинутых против него, ни времени, когда закончился над ним суд, ни содержания судебного приговора...

По Екатеринбургу и по столице ходили слухи, что бывший командир гранильной фабрики повесился в тюремной камере и тем признал себя виновным: не будет же безвинный человек кончать самоубийством.

Как появился этот слух — неизвестно, но он как свершившийся факт зафиксирован в бумагах Департамента уделов и Кабинета е. и. в. Именно из этих документов и

перенес А. Е. Ферсман в свой очерк легенду о самоубийстве Коковина.

Но в то время как столичные придворные круги уже считали Якова Коковина мертвым, он все еще томился в тюремной одиночке... Многие, кто его знал в Екатеринбурге, очевидно, сочувствовали ему.

В самом конце 1836 года горный начальник получил от командира батальона, который нес охрану тюремного замка, донесение, где сообщалось, что 28 декабря 1836 года Коковин «по записке, присланной от здешнего полицмейстера, уволен до 6-го часа в свою квартиру, но в назначенное время в замок не явился... по болезни своей».

Перепуганный горный начальник запросил доктора Рульфа, лечившего заключенного: можно ли Коковина перевести «в покойном экипаже» в тюремный замок... 30 декабря доктор «уведомил, что г. Коковин одержим сильною воспалительною горячкою, посему отправление его в тюремный замок в настоящее время считает совершенно невозможным». Тогда горный начальник принял соломоново решение: он приказал поставить в квартире Коковина «надежный воинский караул» и «при первой же возможности отправить в тюремный замок»³⁵.

Очевидно, именно в эти дни женою Якова Коковина и было написано «покорнейшее прошение» министру императорского двора П. М. Волконскому. В прошении сначала перечислялись заслуги бывшего командира Екатеринбургской фабрики во время многолетней его службы:

«Все это, казалось бы,— писала дальше жена Коковина,— должно служить ясным доказательством знания и усердной службы его, быть опорой и покровительством,— но нет! — вышло напротив!

Так лживые и несообразные клеветы и доносы г. Ярошевицкого приняты за справедливые и также без всякого исследования за истинные: муж мой был предан военному суду. Назначенные с линии из Оренбургского корпуса судьи съехались сюда — открыли суд — но несколько меся-

цев не знали, за что судить. А между тем злощастный и невинный мученик, мой муж, страдал уже в тюремном заключении и, как злодей и обличенный уже государственный преступник, наказывался.

Еще в сентябре 1836 года суд кончен (за действия пристрастные да судит их бог правым судом своим), но муж мой остался страдать, и по сие время содержится в тюремном заключении. Судьи же объявили, что на освобождение его они не имеют никакого права и даже им неизвестно о причине виновности и заключения его...»³⁶

Жена Коковина умоляет министра только о правом суде. Ее письмо и сегодня нельзя читать равнодушно. Но князь Волконский ответил на прошение, что «не может входить ни в какое рассмотрение сего дела».

В мае 1837 года в Екатеринбург прибыл со свитой царевич — будущий император Александр II. Его сопровождал воспитатель — поэт В. А. Жуковский. В дневнике поэта есть краткая запись:

«27 (мая. — И. Ш.) Четв. Тюремный замок. Похититель изумрудов в остроге с убийцами... Суд Шемякин»³⁷.

Шемякин суд... Так наверняка думали многие, кто имел хоть небольшое представление о деле Якова Коковина...

Говорят, Жуковский был очень добрым человеком. Видимо, он пытался хлопотать за Коковина перед царевичем. По крайней мере, 31 мая 1837 года поэт записал в дневнике: «...Разговор за обедом о деле Коковина. Без суда да не накажется»³⁸. Но в судьбе Якова Васильевича так ничего и не изменилось.

В январе 1838 года оренбургский военный губернатор В. А. Перовский переслал новому главному горному начальнику генералу Глинке копию приговора, утвержденную Военным министерством:

«Генерал-Аудиториат согласно с мнением Вашего Превосходительства (т. е. В. А. Перовского. — И. Ш.) полагал:

Подсудимого 8-го класса Коковина за все вышеизложенные преступления (среди которых так и не значилось

похищение фунтового изумруда.— И. Ш.) лишить чинов, орденов дворянского достоинства и знака отличия беспорочной службы, но затем не подвергать его ссылке в Сибирь во уважение прежней долговременной и отличной его службы».

А дальше следовала такая приписка:

«С сим заключением поднесен был Государю императору от Генерал-Аудиториата всеподданнейший доклад, на котором в 6 день ноября 1837 года воспоследствовала собственноручная Его Величества конфирмация: «Быть по сему»³⁹.

Объявление высочайшей конфирмации должно было произойти в здании горного правления «при открытых дверях». Однако Коковина «по крайней слабости его сил» доставить на место этой церемонии было невозможно, а потому «конфирмацию привели в исполнение» прямо в тюремной камере. После этого тяжелобольного Якова Васильевича выпустили из тюремной камеры, в которой он незаконно пробыл два года, два месяца и двадцать дней.

Еще дважды — в 1838 и 1839 годах — обращался Коковин с прошениями в Петербург.

«Приводя на память и рассматривая поступки во всей жизни моей,— писал Яков Васильевич,— я совершенно не нахожу ни в чем себя умышленно виноватым пред престолом, Отечеством и начальством. Я принял смелость при совокупить при сем оправдании мои противу судных обвинений, из чего усмотреть изволите, что все обвинения есть более единообразны и произвольны с усиленной склонностью к гибели моей...

9 декабря 1839 г. Екатеринбург»⁴⁰.

Этот документ был последним автографом Якова Коковина, который удалось обнаружить в архиве. О дальнейшей судьбе Коковина больше ничего не известно.

Трагическую судьбу Я. В. Коковина с полным основанием можно вписать в летопись преступлений царизма. Его судьба воспроизводит нам атмосферу николаевской России.

И хотя он не был врагом «трона и порядка», а всего лишь порядочным человеком, не умевшим достаточно усердно пресмыкаться перед сильными мира сего, тем не менее был безжалостно перемолот бюрократической государственной машиной. Талант, жизнь и даже доброе имя Коковина были растоптаны всего лишь потому, что он, сам того не желая, помешал корыстным намерениям николаевского савновника.

* * *

Тайна так называемого «изумруда Коковина» не разгадана. Как помнит читатель, изумруд, из-за которого возникло «дело», весил один фунт. А изумруд, о приключениях которого писал А. Е. Ферсман, — 2226 граммов, то есть более пяти фунтов. Не сходятся и их описания.

В июле 1973 года мне довелось побывать в Минералогическом музее Академии наук СССР. Я попросил ученого секретаря Ю. Л. Орлова показать изумруд-гигант. Юрий Леонидович открыл сейф. Я смог полюбоваться замечательным кристаллом. Ученый секретарь еще раз взвесил его. Да, 2226 граммов точно! В том, что кристалл уральского происхождения, тоже нет никакого сомнения, заверили меня работники музея.

Но фунтовый изумруд был замечательной чистоты и цвета. Пятифунтовый же кристалл интересен главным образом своей небывалой величиной, но отнюдь не другими достоинствами — только часть его имеет хороший изумрудный цвет.

Значит, речь идет о двух разных изумрудах?

Но где тогда фунтовый изумруд? Может, испугавшись, Перовский уничтожил его? Или надежно спрятал? Или сбыл куда-нибудь подальше? Или, разделив на несколько частей, огранил? А откуда появился гигантский кристалл в пять фунтов? И почему его стали называть «изумруд Коковина»?

На эти вопросы пока нет ответа...

ПРИМЕЧАНИЯ

Горный начальник

¹ Центральный государственный архив древних актов (далее ЦГАДА). Кабинет Петра I, отд. II, кн. 32, л. 273.

² Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М., 1950, с. 5.

³ Татищев В. Н. Духовная моему сыну. Спб., 1896, с. 17.

⁴ Русское чтение. Отечественные исторические памятники XVIII и XIX столетий, издаваемые Сергеем Глинкой, ч. 1. Спб., 1842, с. 50.

⁵ Архив Артиллерийского исторического музея, ф. Арсенальный, оп. 9, д. 4, л. 181.

⁶ Там же, ф. 2, оп. 1, д. 165, кн. 4, л. 144.

⁷ Татищев В. Н. История Российская, т. I. М.—Л., с. 87.

⁸ Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник. Челябинск, 1976, с. 254.

⁹ Сборник документов по истории СССР, ч. V, XVIII век. М., 1973, с. 44.

¹⁰ Горный журнал, 1828, кн. I.

¹¹ Сборник статей, касающихся Пермской губернии. Пермь, 1882, кн. 1, с. 51.

¹² Свердловский областной государственный архив (далее СОГА), ф. 24, оп. 1, д. 4а, лл. 86—86 об.

¹³ Там же, д. 6, лл. 56—58.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же, ф. 24, оп. 12, д. 30, л. 85.

¹⁶ Исторические записки, т. 97. М., 1976, с. 137—138.

¹⁷ ЦГАДА, ф. 271, кн. 640. Выписка обстоятельная о деле, что розыскано между Демидовым и капитаном Татищевым и о деле Татищева в Сибире.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ Нечаев Н. В. Школы при горных заводах Урала в первой половине XVIII столетия. М., 1944, с. 5.

²¹ СОГА, ф. 24, оп. 1, д. 512, л. 372 об.

²² Исторические записки, т. 97, 1976, с. 185.

²³ Архипова Н. П. В. Н. Татищев — первый исследователь природы Среднего Урала. В сб.: Материалы к биографии В. Н. Татищева. Свердловск, 1969, с. 92—112.

²⁴ Татищев В. Н. История Российская, т. I, с. 6.

²⁵ Исторические записки, т. 97, с. 137—138.

²⁶ Там же.

²⁷ Голиков И. И. Деяния Петра Великого, т. XIV, с. 246.

²⁸ ЦГАДА, ф. 271, кн. 640.

²⁹ Соловьев С. М. История России. М., 1963, кн. IX, с. 484.

³⁰ Юхт А. И. В. Н. Татищев о реформах Петра I. В сб.: Общество и государство феодальной России. М., 1975, с. 209—218.

³¹ Татищев В. Н. Духовная моему сыну, с. 21—22.

³² Там же, с. 22.

³³ Татищев В. Н. История Российская, т. VII. М., 1968, с. 289.

³⁴ Сборник статей, касающихся Пермской губернии, с. 70.

³⁵ Татищев В. Н. История Российская, т. I, с. 116.

³⁶ ЦГАДА, ф. 271, кн. 640.

³⁷ Сборник статей, касающихся Пермской губернии, с. 71.

³⁸ ЦГАДА, ф. 271, кн. 616, л. 296.

³⁹ Государственный исторический музей. Отдел письменных источников (далее ГИМ, ОПИ), ф. 395, д. 19, лл. 41—41 об.

⁴⁰ Сборник статей, касающихся Пермской губернии, с. 78.

⁴¹ Мамин-Сибиряк Д. Н. Собрание сочинений, т. 12. Свердловск, 1951, с. 240.

⁴² СОГА, ф. 24, оп. 1, д. 21, лл. 233—233 об.

⁴³ ЦГАДА. Кабинет Петра I, отд. II, кн. 62, л. 967—989.

⁴⁴ Сборник статей, касающихся Пермской губернии, с. 76.

⁴⁵ Горный журнал, 1826, кн. 3, л. 442.

⁴⁶ ГИМ, ОПИ, ф. 395, д. 19, лл. 17, 30.

⁴⁷ Сборник статей, касающихся Пермской губернии, с. 81.

⁴⁸ ЦГАДА. Кабинет Петра I, отд. II, кн. 81, л. 36 об.

⁴⁹ Сборник статей, касающихся Пермской губернии, с. 87.

⁵⁰ ЦГАДА, ф. Берг-коллегии, кн. 102, л. 19 об.

⁵¹ ЦГАДА. Кабинет Петра I, отд. II, кн. 81, л. 34.

⁵² Пекарский П. П. Новые известия о В. Н. Татищеве. СПб, 1884, с. 17.

⁵³ Попов Н. А. В. Н. Татищев и его время. М., 1861, с. 56.

⁵⁴ Юхт А. И. Поездка В. Н. Татищева в Швецию. Исторические записки, т. 88. М., 1971, с. 296—334.

⁵⁵ Попов Н. А. Татищев и его время. М., 1861, с. 38, 53.

⁵⁶ Горный журнал, 1828, кн. II, с. 141—142.

⁵⁷ ЦГАДА, ф. Берг-коллегии, кн. 114, лл. 46—47 об.

⁵⁸ Татищев В. Н. История Российская, т. I, с. 8.

⁵⁹ ЦГАДА, ф. 198, д. 568, лл. 11—12.

- 80 Там же, л. 16.
 - 61 ЦГАДА. Кабинет Петра I, отд. II, кн. 81, лл. 38—39 об.
 - 62 Там же.
 - 63 Соловьев С. М. История России, т. IX, с. 587.
 - 64 Там же, с. 587—588.
 - 65 Татищев В. Н. Духовная моему сыну, с. 21.
 - 66 Соловьев С. М. История России. М., 1963, т. XI, с. 324.
- Там же, с. 2.
- 67 Там же, с. 5.
 - 68 ЦГАДА, ф. 248, кн. 1098, лл. 33—38.
 - 69 Полн. собр. законов Российской империи. Спб, 1830, т. IX, № 6559, с. 290—296.
 - 70 ЦГАДА, ф. 248, кн. 1133, лл. 13—14.
 - 71 Герман И. Историческое начертание горного производства в Российской губернии, ч. 1. Екатеринбург, 1810, с. 138 и др.
 - 72 СОГА, ф. 24, оп. 1, д. 518, лл. 38—39.
 - 73 Там же, ф. 129, д. 172, лл. 80—83.
 - 74 Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч., т. 12, с. 248.
 - 75 Там же, с. 253—254.
 - 76 Плеханов Г. В. Сочинения, т. XXI. М.—Л., 1925, с. 77.
 - 77 Материалы к биографии В. Н. Татищева. Свердловск, 1964, с. 13—14.
 - 78 Татищев В. Н. История Российская, т. I, с. 7.
 - 79 Архив Академии наук СССР (Ленинград), ф. 1, оп. 3, д. 17, лл. 118—119.
 - 80 Феодалная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972, с. 177—186.
 - 81 Татищев В. Н. История Российская, т. I, с. 97.
 - 82 Сборник Русского исторического общества, т. 117. Юрьев, 1904, с. 51—52.
 - 83 Русская старина, 1878, т. XXIII, с. 109—110.
 - 84 ЦГАДА, ф. 248, кн. 1133, лл. 271—272 об.
 - 85 Татищев В. Н. Лексикон Российской, ч. 1. Спб, 1793, с. 144—146.
 - 86 Соловьев С. М. История России, т. X, с. 599.
 - 87 Там же, с. 599—601.
 - 88 Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М., 1950, с. 99.
 - 89 ЦГАДА, Госархив, ф. 11, д. 520, л. 10.
 - 90 Советская историческая энциклопедия, т. 14. М., 1973, с. 146.
 - 91 Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа. М., 1976, с. 401.
 - 92 Там же, с. 402.
 - 93 Татищев В. Н. История Российская, т. I, с. 86.
 - 94 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.

**Тайна
невьянских
подземелий**

- ¹ Центральный государственный исторический архив (далее ЦГИА), ф. 468, оп. 18, д. 1, л. 2 об.
- ² Там же, л. 5.
- ³ Новосибирский областной государственный архив (далее НОГА). Копия рукописи И. Веймарна «Гисторическое, критическое и наставительное изъяснение о Колявано-Воскресенских заводах...», 1766, с. 2—5.
- ⁴ ЦГАДА, ф. 11, д. 629, л. 30.
- ⁵ Сборник Русского исторического общества, т. 3. Спб, 1868, с. 415.
- ⁶ Шишонко В. Пермская летопись, V период, ч. 3. Пермь, 1889, с. 335.
- ⁷ Головщиков К. Род дворян Демидовых. Ярославль, 1881, с. 42.
- ⁸ ЦГАДА, ф. Берг-коллегии, кн. 12, лл. 155—160.
- ⁹ Там же. Кабинет Петра I, отд. II, кн. 71.
- ¹⁰ НОГА, копия рукописи И. Веймарна..., лл. 22—23.
- ¹¹ ЦГАДА, ф. 1267, оп. 1, д. 60, л. 2 об.
- ¹² СОГА, ф. 129, д. 152, л. 37.
- ¹³ Шишонко В. Указ. соч., с. 111—113.
- ¹⁴ Бажов П. П. Публицистика. Письма, Дневники. Свердловск, 1955, с. 153.
- ¹⁵ ЦГАДА, ф. 98, д. 568, лл. 1—19.
- ¹⁶ Мамин-Сибиряк Д. Н. Статьи и очерки. Свердловск, 1947, с. 34.
- ¹⁷ Горный журнал, 1828, кн. XII, с. 58.
- ¹⁸ Горный журнал, 1891, т. III, с. 343.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ ЦГАДА, ф. Берг-коллегии, кн. 841, лл. 17—20.
- ²¹ Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в XVIII—XIX вв., т. 1. М.—Л., с. 175.
- ²² СОГА, ф. 129, д. 152, л. 34 и сл.
- ²³ Там же.
- ²⁴ Горный журнал, 1891, т. III, с. 345.
- ²⁵ Полн. собр. законов Российской империи, т. IX, № 6939.
- ²⁶ Гос. биб-ка им. Ленина. Рукоп. отд. собр. Ундольского, № 848, л. 167.
- ²⁷ ЦГИА, ф. 468, оп. 18, д. 5, л. 5.
- ²⁸ Там же, д. 7, л. 1.
- ²⁹ Горный журнал, 1891, т. III, с. 333.

*Портрет
«роковой»
Авроры*

- ¹ Раевский Н. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1974, с. 238.
- ² Там же, с. 239.
- ³ Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Переписка А. И. Тургенева с князем П. А. Вяземским, т. 1, Пг., 1921, с. 105.
- ⁴ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 110.
- ⁵ Раевский Н. Указ. соч., с. 247.
- ⁶ Кварнстрем И. Легендарная жизнь Авроры Карамзиной. Перевод с шведского. Рукоп. (Нижнетагильский краеведческий музей).
- ⁷ Там же.
- ⁸ Там же.
- ⁹ Русский архив, 1906, т. 11, с. 236.
- ¹⁰ Кварнстрем И. Указ. соч.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Пушкин в письмах Карамзиных, с. 60.
- ¹³ Русский архив, 1900, т. 1, с. 395.
- ¹⁴ Там же, с. 398.
- ¹⁵ Мамин-Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч. Пг., 1917, т. XI, с. 547.
- ¹⁶ Кварнстрем И. Указ. соч.
- ¹⁷ Дневник художника А. Н. Мокрицкого. М., 1975, с. 210—211.
- ¹⁸ К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. М., 1961, с. 76.
- ¹⁹ Там же, с. 83.
- ²⁰ Стасов В. В. Избр. соч., т. 2. М., 1952, с. 53.
- ²¹ К. П. Брюллов в письмах, с. 133.
- ²² Там же, с. 111.
- ²³ Пушкин А. С. Собр. соч., т. 10. М., 1978, с. 266.
- ²⁴ Там же, с. 271.
- ²⁵ Там же, с. 272.
- ²⁶ Вересаев В. В. Спутники Пушкина, т. 2. М., 1937, с. 309.
- ²⁷ Стасов В. В. Избр. соч., т. 1. М., 1952, с. 413.
- ²⁸ М. И. Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955, с. 60.
- ²⁹ Пушкин А. С. Собр. соч., т. 10, с. 266.
- ³⁰ Отечественные записки, 1855, XII, с. 465—466.
- ³¹ К. П. Брюллов в письмах, с. 126.
- ³² Дневник художника А. Н. Мокрицкого. М., 1975.
- ³³ Там же.
- ³⁴ Леонтьева Г. Карл Брюллов. М., 1976, с. 319.

Судьба портрета

- ¹ Правда, 1975, 26 сент.
- ² Мамин-Сибиряк Д. Н. Статьи и очерки. Свердловск, 1947, с. 338.
- ³ Русский архив, 1897, т. 1, с. 624.
- ⁴ К. П. Брюллов в письмах, с. 60.
- ⁵ Там же, с. 65.
- ⁶ Там же, с. 66.
- ⁷ Там же, с. 190—191.
- ⁸ Там же, с. 218—219.
- ⁹ Там же, с. 225.
- ¹⁰ Там же, с. 230—231.
- ¹¹ Глушкова Ю., Бочаров И. Вилла на старой болонской дороге. Литературная Россия, № 49, 1977, 2 дек., с. 17.

Загадка уральского изумруда

- ¹ Ферсман А. Е. Очерки по истории камня, т. II. М., 1961, с. 75—77.
- ² Ферсман А. Е. Люди камня. Рукопись, л. 57.
- ³ ГАСО, ф. 86, д. 1413, л. 11 об., д. 476, лл. 6, 7.
- ⁴ ЦГИА, ф. 468, оп. 12, д. 1125, л. 17.
- ⁵ ГАСО, ф. 86, д. 553, л. 45—45 об.
- ⁶ Павловский Б. В. Искусство промышленного Урала. Докторская диссертация, т. 2, 1964, с. 257.
- ⁷ ГАСО, ф. 86, д. 657, л. 13, д. 707, л. 12 об.
- ⁸ Там же. Д. 462, л. 2, д. 544, л. 9.
- ⁹ ЦГИА, ф. 468, оп. 12, д. 1170, л. 260.
- ¹⁰ Павловский Б. В. Камнерезное искусство Урала. Свердловск, 1959, с. 73—75.
- ¹¹ Куприн А. И. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 5. М., 1971, с. 8.
- ¹² Ферсман А. Е. Очерки по истории камня, т. I. М., 1954, с. 235—236.
- ¹³ ГАСО, ф. 86, д. 660, лл. 2926—229ж.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ ЦГИА, ф. 468, оп. 12, д. 1165, л. 8.
- ¹⁶ ГАСО, ф. 86, д. 660, лл. 130—132.
- ¹⁷ Горный журнал, 1832, ч. I, с. 345.
- ¹⁸ Вестник Европы, 1872, кн. 5, с. 79.

- 19 Ферсман А. Е. Очерки по истории камня, т. II, с. 129.
20 Ферсман А. Е. Люди камня, л. 57.
21 Там же.
22 ГАСО, ф. 43, оп. 2, д. 1643, л. 18 об.
23 ЦГИА, ф. 468, оп. 12, д. 1165, л. 19.
24 Там же, л. 24.
25 ГАСО, ф. 43, оп. 2, д. 1643.
26 ЦГИА, ф. 1021, оп. 1, д. 63, л. 107.
27 ГАСО, ф. 43, оп. 2., д. 1643, л. 2.
28 Там же, л. 3.
29 Там же, л. 42.
30 Там же, л. 59.
31 Там же, л. 99 об.
32 ЦГИА, ф. 468, оп. 12, д. 1165.
33 ГАСО, ф. 43, оп. 2, д. 1643, л. 59.
34 Там же, лл. 63—65.
35 Там же, л. 35.
36 ЦГИА, ф. 468, оп. 12, д. 1170, л. 260.
37 Русская старина, 1902, апрель, с. 318.
38 Там же, с. 319.
39 ГАСО, ф. 43, оп. 2, д. 1643, лл. 68 об — 69.
40 ЦГИА, ф. 468, оп. 12, д. 1170, л. 300.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОРНЫЙ НАЧАЛЬНИК

5

ТАЙНА НЕВЬЯНСКИХ ПОДЗЕМЕЛИЙ

133

ПОРТРЕТ «РОКОВОЙ» АВРОРЫ

173

СУДЬБА ПОРТРЕТА

233

ЗАГАДКА УРАЛЬСКОГО ИЗУМРУДА

243

Шакинко И. М.
Ш17 Загадка уральского изумруда. Свердловск, Средне-
Уральское кн. изд-во, 1980.— 304 с.

ИСБН

Книга исторических очерков о прошлом Урала.

Ш 20904—047
М158(03)—80

9(C17)

ИБ № 736

*Игорь Михайлович
Шакинко*

**ЗАГАДКА
УРАЛЬСКОГО
ИЗУМРУДА**

Редактор Л. Г. Золотарева

Художник Р. В. Каптиков

Художественный редактор

О. И. Журавлева

Технический редактор

Т. В. Меньшикова

Корректоры Е. В. Иванова,

И. Ш. Трушникова

Сдано в набор 24.01.80. Подписано в
печать 14.07.80. НС 12484. Формат бумаги
70×108/32. Типографская № 3. Академи-
ческая гарнитура. Высокая печать. Усл.
печ. л. 14,0. Уч.-изд. л. 14,4. Тираж 15 000.
Заказ 72. Цена 65 коп.

Средне-Уральское книжное издательство,
620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева,
24. Типография изд-ва «Уральский рабо-
чий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.
Обложка, форзац и вкладка отпечатаны
в объединении «Полиграфист», 620151,
Свердловск, Тургенева, 20.